

РОД И ДЕТСТВО ПУШКИНА

В последней книжке «Москвитянина» за прошлый 1852 год, между материалами для истории русской словесности, которыми нередко украшается журнал этот, напечатана небольшая статья под заглавием: **Для биографии Пушкина**. Кому дорога память великого поэта, тот прочел ее, конечно, с живейшим любопытством. Она принадлежит Александру Юрьевичу Пушкину, родственнику покойного (со стороны матери). Хотя вся она состоит из подробностей, относящихся более к предкам и родственникам поэта, нежели к нему самому, но тем не уменьшается ее занимательность и важность. Сам Пушкин дорожил древностью своего рода и самыми мелкими известиями о своих предках; и хотя это уважение приекало, быть может, от особенных, частных обстоятельств, тем не менее оно многозначительно. Итак, нельзя не поблагодарить почтеннейшего Александра Юрьевича за сообщенные им сведения¹.

Сведения эти тем более дороги, что до сих пор в нашей литературе очень мало было говорено о роде Пушкиных. Все, что мы о нем знаем, заключается почти исключительно в кратких заметках самого поэта и в немногих указаниях Бантыш-Каменского, который (замечу мимоходом) во втором томе своего «Словаря Достопамятных Людей» (изд. 1847 года) напечатал самую полную в настоящее время биографию Пушкина. Правда, родословная Пушкиных напечатана в известной «Родословной Книге», изданной в 1787 году в Москве, ее можно найти также в «Родословной Книге», напечатанной недавно в десятой книжке «Временника» Общества Истории и Древностей, но это не более как исчисление собственных имен... К тому же эта родословная не идет дальше конца XVII столетия.

Постараемся сказать несколько слов об этом предмете, более определенных.

Прежде всего представляется вопрос о древности рода Пушкиных, об этой древности, которую так дорожил не-

забвенный поэт. Пушкины происходят от прусского* выходца Радши, мужа честна, по выражению летописца**. Этот Радша выселился к нам в княжение св. Александра Невского. Но от него ведут свой род Пушкины вместе со многими другими родами; настоящий же предок их, от которого пошло их имя, был некто Григорий Пушка, потомок Радши, в шестом колене, как передают нам «родословцы». Когда жил этот Григорий Пушка и, следовательно, когда повелись на Руси Пушкины — положительно сказать трудно, потому что о Григории Пушке упоминается только в «родословцах» и нигде не говорится в других исторических памятниках. Мы можем, однако, с вероятностью поместить его в начале XV века и именно на основании следующих данных. В весьма любопытном счетном деле, или местническом споре Пушкина с Плещеевым***, первый говорит, что «прадеда его не стало при Великом Князе Василии Ивановиче, тому больше ста лет». Спор происходил в 1627 году, следовательно, прадед спорщика жил около двадцатых годов XVI-го столетия, а этот прадед, по «родословцам», Иван, приходился правнуком Григорию Пушке, то есть происходил от него в третьем колене. Отсчитывая на три поколения сто лет, мы должны будем отнести Григория Пушку к началу XV века или к концу XIV-го. Это подтверждается еще тем, что праправнуки Пушки, то есть четвертое колено, служили, как замечено в родословной, новгородскому владыке Геннадию, а Геннадий жил в конце XV-го и в начале XVI-го века (+1505).

Итак, Пушкины пользуются почти пятисотлетнею давностью своего существования на Руси, и поэт справедливо, хотя с некоторым преувеличением, хвалился своим шестисотлетним дворянством.

У Григория Пушки было семь сыновей. От них, по разным прозвищам, например, Курч, Рожок, Муса, Кологрив, Шафер, Бобрище**** и проч., пошли многие наши роды, перечисленные в родословных. Пушкины собствен-

* Вероятно, славянского; ибо Пруссия тогда еще не существовала. Когда составлялась родословная, тамошние места уже назывались не иначе, как Пруссия.

** Карамз<ин>, т. IV, прим. III.

*** «Временник», 1852, книга 14-я.

**** Вот еще несколько любопытных прозвищ в роде Пушкиных: Морхиня, Булага, Збужор, Кострец, Слепень, Чесыхо, Шумиха, Брызгало, Лихач, Курица, Черть, Другиня, Неклюд, Суббота, Злоба, Сулемша и пр. и пр.

но, удержавшие прозвище родоначальника, пошли от пятого из этих сыновей — Константина.

Мы не намерены излагать в подробности родословную роспись Пушкиных, тем более, что это чрезвычайно трудно сделать, ибо перечень Пушкиных, занимающий шесть страниц известной «Родословной Книги», весьма перепутан. Наша цель поговорить о Пушкиных, являвшихся в русской истории чем-нибудь замечательным, представить, сколько то возможно, историю Пушкиных.

Но и тут мы должны ограничиться лишь главнейшим. Исчислять всех Пушкиных, записанных в наших исторических памятниках, нет ни возможности, ни, кажется, нужды. Поэт был совершенно прав, сказав, что имена предков его встречаются поминутно в нашей истории. Двадцать один раз говорится о них в «Истории Государства Российского» (откуда по преимуществу узнавал поэт о своем роде). Вдвое, втрое большее число их можно набрать из летописей, разрядов, чиновников, синодиков и пр. Конечно, упоминается часто только одно имя их, без обозначения действий; но самое число упоминаний уж говорит в пользу известности и значения этого старинного рода. Выбираем самое замечательное.

Выше было сказано, что праправнуки Григория Пушки служили новгородскому владыке Геннадию. В Новгороде же встречается первого Пушкина, упоминаемого в «Истории» у Карамзина. В мае 1514 года, при в. к. Василии Ивановиче, возобновлялись у нас сношения с Ганзой, прерванные Иоанном III-м; приехали в Новгород послы 70-ти ганзейских городов и утвердили договорную грамоту; с нашей стороны «за наместников» целовали крест бояре новгородские, Григ. Петр. Валуев, «Иван Иванович Пушкин, купецкий староста Вас. Никит. Тараканов»* и пр. Таким образом в первый раз в истории нашей Пушкины являются уже в сане бояр новгородских. Этот Иван Иванович, без сомнения, тот самый, на которого ссылается вышеупомянутый спорщик. При Василии Ивановиче больше не упоминается ни об одном Пушкине, по крайней мере мы не встретили ни одного ни у Карамзина, ни в других доступных нам источниках.

Надо думать, что при Иоанне IV Пушкины переселились или были переселены в Москву. Во вторую половину этого царствования они уж очень часто являются, и сначала опальные (вероятно, потому, что были новгородцы)

* Карамз., т VII, прим. 503.

выслуживаются и мало-помалу возвышаются. В одном синодике упоминается, в числе детей боярских Великого Новгорода под градом Казанью пострадавших и убиенных, Тихомир Юрьев сын Пушкин*. Во время Опричнины Пушкины принадлежали к людям земским. Они были в опале у Грозного, о чем говорится в вышеупомянутом счетном деле. Пушкин говорит там: «А в 79 году (то есть 1571) была у Государя Опришнина, а родители наши в те поры были в опале в земских, и хотя буде в Государевой не в милости, и были в том году в подрывах». Но вскоре Пушкины начали возвышаться, именно: пять сыновей некоего Михаила Федоровича, прямого потомка Григория Пушки в 6-м колене. Особенно поднял свой род старший из этих пяти братьев, Остафий или Остапей Михайлович**; на него после постоянно ссылаются Пушкины в родословных счетах своих и местных счетах притязаниях. О нем так часто говорится в памятниках того времени, что легко проследить всю его службу и возвышение***. В 1573 году встречаем его рындю у царевича Феодора Ивановича, в поезде на свадьбе Магнуса; на войне он в сторожах. В том же году царь сменил им князя Коркодинова и велел быть у наряду, то есть заведовать артиллерию, что уже показывает его смысленность. В 1575 году он продолжает, вместе с кн. Волконским, заведовать нарядом. В следующем году мы его встречаем воеводою в правой руке, в передовом полку, воеводою в Новосили, воеводою в Старице. В 1581 году он воевода в Смоленске — должность по тому времени важная и предполагающая многие достоинства в ее исполнителе. Вероятно, он умел обратить на себя внимание прозорливого царя, который в том же году употребил его в тогдашних трудных и важных сношениях с Баторием. Он был принят в число думных дворян — новый сан, учрежденный в 1572 году для введения в Думу людей, по выражению Карамзина, отличных умом, хотя и незнатных родом. Вместе с Писемским Остафеем Михайловичем отправился к Баторию. В наказе им было сказано: «...а будет учнуть укорять, или

* Российская Вивлиофика. Ч. VIII. Мы пользовались первым изданием этого драгоценного сборника.

** В «Борисе Годунове», в разговоре с Шуйским, он изображен как живой свидетель грозного Иоаннова царствования. По ошибке самого Пушкина, или по недосмотру издателей, он назван там Афанасием.

*** Подробные ссылки считаем излишними. Мы пользовались, кроме Карамзина, «Др. Росс. Вифлиофикою», изданиями Археогр. Эксп., «Разрядной книгою», изданною Валуевым, «Временником».

безцестовати, или лаяти... ино отвечивати слегка, а не бранитися». Уж овладевший тогда Великими Луками Баторий не захотел говорить с послами нашими; потом, однако, принял их в Вильне*. Смышленость и ловкость Остафья Михайловича доказываются еще поручением, которое ему сделал Иоанн в следующем, 1582 году. Тогда в Москве был знаменитый Антоний Поссевин; происходили любопытные прения с ним нашего царственного диалектика. В первое воскресенье великого поста, в неделю православия, царь беседовал с Антонием и, после богословских споров, захотел показать ему наше богослужение. «И велел Государь с Антоньем итти в церковь О. Пушкину да Ф. Писемскому и приставом его, а наказал, чтоб они подождали Государя пред Пречистою (перед Успенским собором), и Антоней бы то видел, как встретит Государя со кресты Митрополит, и Антоней бы за Государем же... и Антоней хотел итти тотчас в церковь не дожидаясь Государского приходу, и О. Пушкин с товарищи его поуняли, и Антоней почал сердитовати, а хотел ехати к себе на подворье; и они сказали про то Государю, и царь прислал к Антоню дьяка А. Щелкалова, а велел ему говорити, чтоб он не пригожева дела не делал»** и пр. Скоро затем последовавшая смерть царя остановила возвышение Пушкина. В следующее царствование находим его **наместником елатомским**. В этом сане он ездил, в 1592 году, с другими полными великими послами на реку Нарову, для заключения вечного мирного договора со Швециею***. Потом его посылали в Астрахань, где скоропостижно умер изгнанный крымский царевич Мурат, усердствовавший России. Думали, что его испортили подосланные из Крыма злодеи (ведуны). Государь послал в Астрахань «Дворянина своего Остафья Михайловича Пушкина и ведуны попытати велел, по чьему умыслению портили»****. Такое поручение опять показывает в Остафье умного дельца. В 1597 году, во время великолепного приема, который устроили в Москве послу императора Рудольфа, буркграфу Донавскому, в числе знатных лиц, окружавших Бориса Годунова, встречаем дворянина Остафья Мих. Пушкина. Исчислив эти лица, историограф прибавляет: «Вот люди родовые, более или менее знатные,

* Карамз., т. IX, стр. 322, прим. 558.

** Карам., т. IX, прим. 632.

*** Кар., т. X, прим. 290.

**** Там же, прим. 254.

которые после Иоаннова века окружали престол Московский»*.

Надо думать, что Борис Годунов, еще будучи правителем, не доброжелательствовал Пушкину; по крайней мере его удаление от двора о том может свидетельствовать. Эта немилость выказалась явно, вероятно тогда, когда родственник его Гаврила передался Отрепьеву. По доносу дворовых людей своих Остафий Михайлович сослан в Сибирь с **братиею**** . Там впоследствии он воеводствовал в Тобольске, где, вероятно, и умер без потомства; по крайней мере о детях его нигде не упоминается.

Можно думать, что Остафий Михайлович содействовал братьям своим на служебном поприще. Иван Михайлович, в сане ловчего, воеводствовал в начале войны Иоанна с Баторием, в 1578 г., и потом в конце этой войны, в 1583 г., вместе с князем Дмитрием Елецким ездил в Варшаву, чтоб взять в короля присягу в верном соблюдении заключенного договора. При Феодоре он отвозил в Астрахань царевича Мурата. Годунов сослал его в Сибирь за то, что **бил челом в отечестве** на князя Андрея Елецкого. Про третьего брата, Леонтия, известно, что он был также сослан в Сибирь Годуновым, потом воротился и в Смутное время был убит под Кромами. Брат его, тоже Иван Михайлович, убит под Новгородом. Пятый брат, Никита, в Смутное время был окольным, воеводствовал на Волгоде и получил благодарственную грамоту от Шуйского за успешные действия против русских воров и литовских людей. Его сын, Василий Никитич, известен по местническому делу с Андреем Плещеевым, напечатанному в 14-й книжке «Временника». Тут он показал ловкость, ум; он явно превосходит своего соперника хитрым изобретением разных **случаев** в свою пользу, и между прочим ссылается на родственника своего Гаврилу Пушкина, который изменою попал в милость к Отрепьеву; Плещеев возразил ему на это, что тот **случай воровской**. Потом этого Василия Никитича мы встречаем в Сибири, воеводою в Якутске, на **великой реке Лене**; тамошние служилые люди жаловались царю на его корыстолюбие, жестокость и самоуправство***.

В конце Борисова царствования эти Пушкины подверглись явной опале, вероятно, за родственника своего

* Примеч. 315.

** Т. XI, примеч. 161.

*** Дополн. к Акт. Истори., т. III (1649 г.).

Гаврилу, перешедшего к Отрепьеву. Остафий с братъею, как сказано выше, был удален в Сибирь, и после потомки их почти не встречаются на видных местах.

Заметнее становится в XVII веке другая ветвь Пушкиных — сыновья некоего **Григорья**, двоюродные братья тем, о которых мы доселе говорили.

Известно участие Гаврилы Григорьевича Пушкина в истории Отрепьева, который сделал его **великим сокольничим**. Он удержался и после Смутного времени, и в 1613 году, во время венчания царя Михаила Феодоровича, даже не хотел **сказывать боярство** князю Пожарскому, считаясь с ним местами. Царь приказал, для его царского венчанья, быть без мест. Знаменитому освободителю отечества, кроме того, приходилось два раза считаться с Пушкиными: все три раза суд не был вершон. При Шуйском, когда еще Пожарский не совершил своего великого дела, Иван Михайлович Пушкин, воевода коломенский, бил на него челом; в другой раз, в 1628 г., не хотел быть ниже его местом Борис Иванович Пушкин, племянник Гаврилы*. Личные заслуги не признавались упорным местничеством; Михаил Феодорович должен был сам отстаивать освободителя Москвы, и Бориса Пушкина за бесчестье послали в тюрьму.

Не менее Гаврилы известен был в то время брат его **Григорий Григорьевич**. В Смутное время он оставался верен присяге и твердо стоял за Шуйского, подобно родственнику своему **Михаилу Пушкину**, который погиб за царя в Земле Северной, тогдашнем гнезде мятежа**. Посланный против мятежников, в 1607 году, Григорий Гаврилович, вместе с Измайловым, сделал **честно свое дело***** — выражение Карамзина, которое, видимо, льстило родовому самолюбию поэта. Этот Пушкин спас Нижний Новгород, усмирял бунт в Арзамасе, в Ардатове, и разбил мятежников у Серебряных Прудов, действовал в тех самых местах, где некоторое время жил его отдаленный потомок истинно поэтической жизнью (в селе **Болдине** Пушкин прожил осень 1830 года). Потом он был послан из-под Москвы против Лисовского, и в сане **боярина** воеводствовал в **Большом Полку** вместе с князем Куракиным****. Это первый московский боярин из рода Пушкиных. С него начинается значительное возвышение Пуш-

киных, которые являются во всех важных случаях. Стольник **Борис** Пушкин, впоследствии споривший с Пожарским, в 1610 г., был отряжен «из московских чинов» в посольство под Смоленск к Сигизмунду с просьбой дать на царство королевича Владислава. В начале 1613 года **Михаил** Пушкин был членом тогдашнего временного правительства; по крайней мере подпись его встречаем под грамотою, данною князю Трубецкому на отчину Вагу*.

В царствование трех первых государей из дома Романовых, Пушкины были постоянно в чести; из них встречаем и бояр и окольничих. Самой большой почести достиг **Григорий Гаврилович**. На свадьбе царя Михаила Федоровича он упоминается в числе 40 главных стольников и **бояр больших****.

Также между первыми сановниками встречаем его на обеих свадьбах царя Алексея Михайловича (1648 и 1671 годов); тут же, между первыми боярынями, и жена его, Ульяна***. Он **боярин и оружейничий**. В 1650 году он ездил к Яну Казимиру с требованием, чтоб не уменьшались титулы его царского величества. Об этом мы знаем из 4-го тома «Актow Исторических». У Бантыша же Каменского сказано, что он заставил Яна Казимира сжечь на площади в Варшаве все предосудительные книги для России, поставил с ним договор о наказании сочинителей и о ненарушимом содержании поляновского трактата; но автор не рассказывает, откуда почерпнул это любопытное известие. Григорий Гаврилович именуется при этом случае великим и полномочным послом, боярином и оружейничим и наместником Нижнего Новгорода****. Родной его племянник, стольник Матвей Степанович, как видно, участвовал в деле Никона; ибо в «Описи Столбцам Патриаршего Разряда» (напечатанной в 5-м томе «Актow Исторических»), в первом столбце находилась «Сказка Матвея Пушкина о Никоне Патриархе». Что это была за сказка — неизвестно, так как столбцы эти не изданы. Потом встречаем его окольничим и воеводою в Астрахани; наконец он достиг сана боярского. Поэт упоминает о нем в своих записках и иронически ставит ему в упрек, что он подписался под грамотою об уничтожении местничества. Его значение, как одного из первых бояр, продолжалось и при царе Петре. В 1694 году вместе с знатней-

* «Др. Росс. Вивл.», ч. VIII.

** Там же, ч. VII.

*** Там же.

**** Поэт дорожил памятью его и его дяди. В честь их он назвал Григорьем второго своего сына.

* См. Разряд. Книгу, напеч. в «Симбирском Сборнике».

** Карамз., т. XII, примеч. 47.

*** Там же, примеч. 116.

**** Там же, примеч. 213.

шими тогда лицами: Голицыным, Лыковым, Ромодановским, Бутурлиным, он сопровождал царя в походе к Архангельску; тогда же, в потешном кожуховском походе он ехал вместе с Никитою Зотовым в государевой нарядной карете. Брат его, **Яков**, также нередко упоминается в делах того времени.

Все сказанное довольно свидетельствует о древности и знатности Пушкиных. Они участвуют в важнейших государственных делах:

Они и в войске, и в совете,
И в воеводстве, и в ответе,
Служили доблестно царям.

В последних годах XVII века Пушкины утрачивают свое значение; они еще сохраняют родовые связи и богатство, но их не видать больше на заметных местах службы, и только через сто с лишком лет суждено им было вновь прославиться на Руси новою славою в лице знаменитого поэта.

Теперь следует рассмотреть поближе родословную поэта и показать предков его по прямой линии. Скажем наперед, что это дело трудное, именно потому, что в XVIII веке Пушкиных не встретишь в наших исторических памятниках, и источником служат одни записанные семейные предания, в которых есть противоречия. Итак, просим родственников поэта исправить наши ошибки, буде таковые окажутся.

Был при царе Алексее Михайловиче и сыновьях его некто стольник **Петр Петрович Пушкин***. Родной дед его, **Тимофей Семенович****, приходится двоюродным братом тому Остафью, о котором было говорено выше. Это одна из ветвей обширного рода, не достигшая большой известности. Петр Петрович жил в Москве, в Белом Городе, на большом дворе своем, на Рожественке, в приходе, теперь, кажется, уж несуществующей церкви Николая

* Он был в числе поезжан на первой свадьбе Алексея Михайловича (Вивл., ч. II.—Слич. Акты. Истор., т. IV, стр. 29).

** О нем и сыне его Петре Тимофеевиче см. «Временник», кн. 14, стр. 21 и 25.

Чудотворца Божедомского. Дом этот достался вдове его Настасье Афанасьевне, дочери Василисе, вышедшей потом за стольника Собакина, и двум сыновьям, стольникам Федору и Петру Петровичам*. У второго из них, Петра, надо думать, было два брата, Александр и Михаил Петрович, из которых первый приходится родным прадедом Александра Сергеевича, по отцу его, а второй родным прапрадедом по матери**.

Александр Петрович Пушкин служил в гвардии и умер в молодых летах в припадке сумасшествия. Известие о женитьбе его на дочери знаменитого любимца Петрова и первого андреевского кавалера, Ивана Михайловича Головнина (?), помещенное в «Записках» поэта и у Бантыш-Каменского — сомнительно, потому что по «Дневнику» Берхгольца, присутствовавшего и подробно описавшего эту свадьбу, надо полагать, что то был не Пушкин, а Мусин-Пушкин. Единственный сын Александра Петровича, дед поэта, Лев Александрович, был женат два раза: первая жена его, Воейкова, не оставила детей; от второй, Чичериной, родились Сергей и Василий Львовичи и несколько дочерей. Лев Александрович служил в артиллерии подполковником. Владетель 3000 душ, он жил знатным баринном в Москве и деревнях своих (особенно в селе Болдине, Нижегородской губернии, Лукояновского уезда). К чести его относится, что он дал отличное, по тогдашнему времени, воспитание сыновьям своим.

Старший из них, в свое время очень известный, Василий Львович***, родился 27 апреля 1770 года, в Москве. Воспитавшись в доме родительском, он поступил в екатерининскую гвардию и был сослуживцем Дмитриева, с которым оставался до конца жизни приятелем. Это знакомство, вместе с природными стремлениями, образовало из него русского стихотворца... После неудачного брака он до конца вел жизнь одинокую. Независимое состояние, образованность, острота ума, соединенная с любезностью и добродушием, давали ему всегда видное место в обще-

* Все это видно из двух находящихся у меня рукописных бумаг, выписи и купчей на означенный дом.

** См. ниже. Сведения об этих ближайших предках Пушкина заимствуем из собственных его Записок, в том виде, как они были напечатаны в «Сыне Отечества» 1840 года (№ 7, т. II, апрель), из Заметок Александра Юрьевича Пушкина («Москвит.», 1852 г., № 24)¹ и из рукописных воспоминаний о детстве А. С. Пушкина, составленных со слов сестры его.

*** См. «Некролог В. Л. Пушкина», напечатанный другом его М. Макаровым в 70 номере «Московских Ведомостей» 1830 года.

стве. С конца прошлого столетия он сделался почти постоянным москвичом. В одних рукописных воспоминаниях* метко и живо рассказано его пребывание в селе Марфине, в гостях у бывшего московского генерал-губернатора, графа Ивана Петровича Салтыкова (июнь, 1801 г.)². В 1802 и 3-м годах он путешествовал по Европе и обогащался сведениями. В Париже он познакомился со многими литературными знаменитостями, перевел для них несколько старинных русских песен и сказок, и перевод тогда же был напечатан в журнале графа Сегюра: *Archives littéraires*** . Известный Сен-Пьер находил в них много сходства с древностью гомерической. В Париже и Лондоне Василий Львович собрал драгоценную библиотеку, которая, к сожалению, сгорела в 1812 году: в ней многие книги принадлежали французской Королевской Библиотеке. Впоследствии он собрал себе другую библиотеку. Вообще он был горячо предан литературе и просвещению, а его искренность и добросердечие заставляли забывать некоторые странности, к числу которых принадлежали франтовство и излишняя страсть читать вслух стихи. В 1807 году, в Москве, вышло в небольшом числе экземпляров *Путешествие г-на Пушкина в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия*. Эту шутку сочинил Дмитриев и напечатал ее для знакомых (в типографии родственника своего Пл. Бекетова) с фронтисписом, на котором «славный парижский актер Тальма наставляет путешественника в искусстве театральной игры»***. Вот отрывки из этого путешествия:

Друзья! сестрицы! я в Париже.
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать.
Я был в Лицее, Пантеоне,
У Бонапарта на поклоне,
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью моему.
Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамье;
Я видел корпус мамелюков,
Сиеса, Вестриса, Мерсье.

* Тех самых, о которых говорится в биографии Крылова («*Полное Собр. сочин. Крылова*» 1847 г., т. I, стр. XLI)³.

** Литературные архивы (*фр.*).

*** О сношениях его с Тальмою см. «*Московский телеграф*» 1827 года, № 2, стр. 78, в статье о Тальме, принадлежащей, по всей вероятности, кн. Вяземскому.

Я в Лондоне, друзья, и к вам
Уже объехать простираю!
Как всех увидеть вас желаю!
Сегодня на корабль отдаю
Все, все свои приобретенья
В двух знаменитейших странах.

Какой прекрасный выбор книг!
Считайте, я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнелий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Вергилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм;
Журналы Адиссона, Стелля!
(И все Дидота Бакервиля!)
Европы целой собран ум! и проч.

В литературных преданиях сохранилась память о церемониале, с которым Василий Львович был принят в «Арзамас». Как старший из действительных членов этого общества, он назывался **старшиною Арзамаса**. Но, кроме того, подобно прочим членам, он носил имя, заимствованное из баллад секретаря общества, Жуковского. Ему дали название *Вот*.

Приятель Карамзина, Вяземского и Жуковского, он радовался успехам своего гениального племянника, который уверял его, что он ему дядя и на Парнассе, и до конца сохранил к нему родственную привязанность. В 1830 году, когда Василий Львович, страдавший подагрой, лежал уже на одре смерти, Александр Сергеевич заботливо ухаживал за ним. Старый литератор оставался до последней минуты верен себе, продолжал читать и разговаривать о литературе. Тогда в одной газете печатался целый ряд статей К-на об истории словесности. «Как скучны разбор К-на!»⁴ — сказал Василий Львович. «Выйдемте, господа,— обратился к присутствующим Александр Сергеевич, постоянный защитник К-на,— пусть это будет его последнее слово!» Вскоре, 20 августа 1830 года, Василий Львович скончался и похоронен в Донском монастыре. Племянник нес его туда с Басманной, где у покойного был свой дом с знаменитым в Москве поваром Власом или Блезом*. Его каламбуры и записки в стихах были известны всему московскому обществу. Последние изданы в особой книж-

* См. статью М. Макарова в «*Современнике*» 1843 года, № 3.— См. также о Василье Львовиче «*Дневник студента*» под 2-м числом марта, 9-м октября и проч. (*Дневник студента* // Ж и х а р е в С. П. *Записки современника*. I. *Дневник студента*.— Л., 1989.— С. 57, 131.— *Сост.*)

ке приятелем его Шаликовым в 1834 году под заглавием: **Записки в стихах В. Л. Пушкина**. Жизнь и произведения его могут быть предметом особой, любопытной статьи.

Брат его, отец поэта, также служил первоначально в гвардии, в Измайловском полку, потом числился в Комиссариате и по этой службе жил некоторое время в Варшаве. В отставке он имел 5-й класс. Наравне с братом своим он получил блестящее французское образование. Созданный для общества, он умел оживлять его своими неистощимыми остротами и каламбурами. В дамских альбомах осталось от него много прекрасных стихов на французском языке; в одном, принадлежавшем славной в свое время пианистке г-же Шимановской, теще автора «Крымских Сонетов»⁵, написал он послание к ней, прозою и стихами, в котором говорится о тогдашней русской литературе*. Также в высокой степени владел он сценическим искусством и, вместе с братом, игрывал на домашних представлениях. Французская и итальянская словесность ему были близко знакомы; не менее любил он и нашу словесность. Он имел великое несчастье пережить несколькими годами знаменитого своего сына, который в последние годы своей жизни с нежностью заботился о нем и об устройстве его обстоятельств, как видно из одного ненапечатанного письма его⁶. Жена его, Надежда Осиповна Ганнибал, приходилась ему внучатною сестрою⁷.

Поговорим теперь о родственниках поэта со стороны матери.

В первых годах прошлого столетия у турецкого султана, в серале, содержался аманатом ребенок-негр, сын какого-то африканского владетельного князька. Ему было 8 лет, когда русский посланник в Царьграде купил его и, вместе с другими арапчатами, послал в подарок Петру Великому. Государь вместе с польскою королевою, супругою Августа, крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 г. и дал ему фамилию Ганнибал, конечно, в память его соотечественника, знаменитого врага римлян. Старший брат его приезжал в Царьград, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп, но государь, сначала принявший к себе арапчонка, вероятно, только по страсти своей к

редкостям, видно, заметил в нем достоинства; он полюбил крестника и не согласился отдать его брату. Таким образом молодой Ганнибал остался в России. «Но до глубокой старости он помнил свою Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из которых он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с связанными руками за спину, между тем, как он один оставался свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою **Лагань**, пльвшую издали за кораблем, на котором он удалялся»... До 1716 г. Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах. На 18 году своего возраста он был послан для обучения во Францию, где вступил в армию регента, герцога Орлеанского, участвовал в испанской войне и в одном подземном сражении получил рану в голову. Жизнь и отношения его парижские изображены в неоконченном романе Пушкина: **Арап Петра Великого**, равно как и возвращение его в Россию. Дальнейшие о нем подробности можно читать в 11 томе сочинений Пушкина. Прибавляем только то, чего там нет*. Абрам Петрович был личный враг Бирона, который, желая повредить ему, послал с поручением в Сибирь, измерять китайскую стену. Миних ему доброхотствовал. Он был два раза женат. С первою женою, красавицею-гречанкою, которая родила ему дочь Поликсену, он развелся, и женился во второй раз, в бытность свою обер-комендантом в Ревеле, на Христине Регине фон-Шеберх: от нее у него было несколько человек детей. Таким образом закон, в новое время замеченный историками, что великие народы возникают от смешения различных племен, в применении к отдельным лицам, оправдывается над нашим поэтом: кроме русской и африканской крови, в жилах его текла и немецкая кровь. По преданию, сообщенному мне моею теткою, которая помнит еще Державина губернатором в Тамбове и, как дочь липецкого городничего**, была коротко знакома с бабкою и матерью Пушкина, Абрам Петрович слыл суро-

* Все эти сведения о Ганнибале сохранены для потомства гениальным его правнуком, который дорожил малейшею подробностью о своем предке-африканце. Пушкин имел намерение напечатать полную биографию его, о чем говорит сам в одном из примечаний к первому изданию «Евгения Онегина». Для этого он имел, кроме семейных преданий, особенные материалы, погибшие, надо думать, вместе с его Записками, об утрате которых он так жалел. Записки эти были ведены с 1820 года и сгорели осенью 1826 года⁸.

** См. «Москвитянин» 1852 г., № 24; также «Дневник студента» под 16-м июля.

* См. «Телеграф» 1827 года. В альбоме Шимановской, украшенном многими знаменитыми людьми, есть также стихи Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Крылова, Гнедича и др. Она была у нас в 20-х годах.

вым, неумолимым человеком, по крайней мере, в старости: меньший сын его, Осип, женился против его воли, и когда через несколько месяцев молодые явились к нему и на коленях просили прощения, то от его сурового взгляда молодая невестка упала в обморок.

Сам Пушкин говорит о старшем его сыне, Иване Абрамовиче, герое наваринском: ему поставлены два памятника — в Херсоне, которого он был основателем, и в Царском Селе, с надписью: **Победам Ганнибала**⁹. Последний памятник всегда был на глазах молодого поэта,

В те дни, когда в садах Лицея
Он безмятежно расцветал.

Младший сын, Осип Абрамович, также флотский офицер, приехав в 1773 году на липецкие чугунные заводы, женился на дочери тамбовского воеводы, Марье Алексеевне Пушкиной. Соединясь браком по страсти, они вскоре развелись и до конца жизни не сходились. Он оставался в деревнях своих, жена, с единственною дочерью Надеждою Осиповною, сначала жила под покровительством деверя, потом в доме зятя своего.

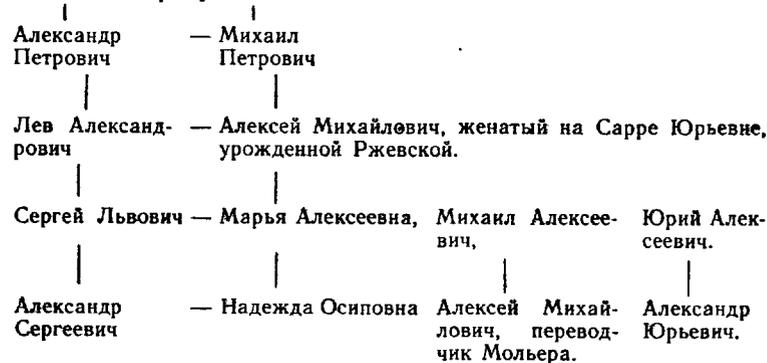
Марья Алексеевна Ганнибал замечательна для нас особенно потому, что была первою воспитательницею поэта. У нее выучился он читать и писать по-русски. Он залезал в ее рабочую корзину, смотрел, как она занималась рукоделем, слушал ее рассказы про старину... От нее, без сомнения, осталось в памяти Пушкина много семейных преданий. Заметить надо, что Марья Алексеевна отлично писала по-русски. Русским слогом ее писем восхищался Дельвиг. Она скончалась в 1818 году, в Михайловском (Псковской губернии, Опочковского уезда), на руках своего внука, тогда только что вышедшего из Лицея, и похоронена подле своего мужа, в Святогорском монастыре. Тут Пушкин в первый раз посетил Михайловское — родовую деревню Ганнибалов, где потом суждено было ему провести два лучшие года, полные поэтической деятельности, с июля 1824 года по конец августа 1826 года (тут писал он «Онегина» и «Бориса Годунова»). Рядом с бабукою в Святогорском монастыре лежит он теперь под белым саркофагом, осеняемый старинными липами, на площадке, перед алтарем церковным...¹⁰

Мать поэта, Надежда Осиповна, с прекрасною наружностью креолки, как называли ее в обществе, отличалась добротою характера и здравым, твердым рассудком. В 1796 году она вышла замуж за своего внучатного дядю,

Сергея Львовича*. Сорок лет продолжалось это супружество. Она скончалась в Санкт-Петербурге, в начале 1836 года. Поэт провез ее тело в Святогорский монастырь, там похоронил подле ее отца и матери, и рядом с ними купил для себя место, куда ровно через год его и положили.

В самом конце прошлого столетия Сергей Львович и Надежда Осиповна переехали из Петербурга на житье в Москву. Здесь, в 1799 году, 26 мая, в день Вознесения**, родился у них сын, Александр. Они жили тогда не в Немецкой слободе, как сказано у почтеннейшего Александра Юрьевича, а на Молчановке. После Пушкины действительно квартировали около Немецкой слободы, подле Яузского моста, как пишет и г. Макаров¹¹ в своих «Воспоминаниях» о детстве Александра Сергеевича, но сам поэт, живший в 1826 и 27 годах на Собачьей площадке, в теперешнем доме Левентая (во флигеле к переулку), часто проезжал по Молчановке, говаривал приятелям, что он родился на этой улице, но дома не мог уж указать¹². Крестил ребенка граф Артемий Иванович Воронцов, женатый на двоюродной сестре Марьи Алексеевны. Лет до семи Пушкин не обнаруживал ничего особенного. Толстый, неповоротливый ребенок, всегдашнюю молчаливостью он даже приводил в отчаяние домашних. Его почти насильно водили гулять и заставляли бегать. Однажды, гуляя с матерью, он отстал и уселся посреди улицы; заметив,

* Для ясности предлагаем таблицу.
Стольник Петр Пушкин.



** Перед смертью Пушкин говаривал, что важные случаи его жизни приходились в Вознесенье и, намереваясь на житье переехать в свое Михайловское, он думал построить там церковь Вознесения.

что одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он под-
нялся, говоря: «Ну, нечего скалить зубы!»* Историче-
ские и семейные предания от бабушки и народные от няни,
Арины Родионовны, которая отлично знала песни, сказки,
поверья и сыпала поговорками и пословицами**, рано за-
ронились в душу будущего поэта и не пропали в ней, не-
смотря на то, что все формальное образование его было
вполне иностранное¹³.

Лет семи он сделался развязнее, и прежняя непово-
ротливость заменилась в нем даже резвостью и шаловли-
востью. Едва ли не с этих пор начал он писать стихи на
французском языке, потому что в доме этот язык господ-
ствовал, да и гувернеры (часто сменявшиеся) были по
большей части французы. Из первых его произведений
в памяти семейной сохранилась поэма *La Toliade*, песнях
в шести, которой содержанием была война между карлами
и карликами короля Дагобера. Эта героико-комическая
поэма была написана после чтения «Генриады» Вольтера.
Ни одного русского стихотворения не сохранилось от этого
времени. Учителя Пушкина были иностранцы. Русскому
языку и Закону Божию учил его священник Мариинского
Института Александр Иванович Беликов, переводчик Мас-
сильёна и в свое время известный проповедями. Учился
Пушкин небрежно и лениво, но зато рано пристрастился
к чтению, любил читать Плутарховы биографии, Илиаду
и Одиссею, в переводе Битобе, и забирался в библиотеку
отца, которая состояла преимущественно из французских
классиков, так что впоследствии он был настоящим знато-
ком французской словесности и истории и усвоил себе тот
прекрасный французский слог, которому в письмах его не
могли удивиться природные французы, в том числе и
известный писатель Сен-При. Страсть к литературе и чте-
нию развивал в нем и отец, любивший читать вслух и осо-
бенно мастерски читавший Мольера, и общество, у них
собиравшееся; кроме Василья Львовича и другого двою-
родного дяди, Алексея Михайловича, очень известного
в московском обществе***, молодой Пушкин беспрестанно

* Из «Воспоминаний» сестры Ольги Сергеевны, ныне действи-
тельной статской советницы Павлищевой. (Об этих воспоминаниях
см. вступ. статью. Впервые полностью опубликованы в «Летописях
Гос. литературного музея». — Кн. I. — С. 443—450. — *Сост.*)

** Она воспета прекрасно Языковым в «Послании к ней» и в стихах
«На смерть ее».

*** Воспитанника Московского университета и переводчика Моль-
ерова «Тартюфа»: Ханжеев или Лицмер, 1809 года.

видал Дмитриева, Карамзина, Жуковского, Батюшкова,
графа Местра* и пр. Все это возбуждало и настраивало
мальчика к самодеятельности. Он начал писать стихи,
которые обратили на него внимание. В «Воспоминаниях»
Макарова читаем любопытный анекдот о застенчивости
отрока-поэта. Уж тогда некоторые знакомые могли предви-
деть в нем что-то особенное. Он справедливо говорил
впоследствии про свою Музу:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой; и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами¹⁴.

К числу обстоятельств, которые могли поддерживать
и питать поэтическое дарование молодого Пушкина, без
сомнения, принадлежит то, что с 1806 года до вступления
в Лицей он ежегодно проводил летнее время в деревне
своей бабушки, сельце Захарьине, лежащем верстах в со-
рока от Москвы, по Можайке¹⁵. Там раздавались русские
песни, устраивались праздники, хороводы, и Пушкин имел
возможность обильно воспринимать впечатления народ-
ные. Он очень любил эту деревню, и в зрелом возрасте
не раз посещал ее, уже перешедшую к другому владельцу.
Вспоминая об этой деревенской жизни, он рассказывал
одному из друзей своих следующий анекдот. В Захарьине
жила с ними одна родственница, молодая девушка,
сумасшедшая. Ее держали в особой комнате. Говорили
и думали, что ее можно вылечить испугом. Раз молодой
Пушкин ушел гулять в рощу. Он любил гулять, расхажи-
вал, воображал себя богатырем и палкою сбивал верхушки
и головки растений. Возвращаясь домой с такой прогулки,
встречает он на дворе свою сумасшедшую родственницу,
в белом платье, растрепанную, взволнованную. «*Mop
fêre, op te prend roug up incendie*»**, — кричит она ему.
Дело в том, что для испуга к ней в окно провели кишку
пожарной трубы. Догадавшись об этом, Пушкин спокойно
и с любезностью стал уверять ее, что она напрасно так
думает, что ее сочли не за пожар, а за цветок, что цветы
тоже поливают из трубы.

В нескольких верстах от Захарьина, в большом селе

* Ксавье, недавно умершего автора известной книги: «*Voyage
autour de ma chambre*. («Путешествие вокруг моей комнаты»).

** Брат мой, меня принимают за пожар (*фр.*).

князей Голицыных, Вязёме, на погосте старинной церкви (в которой, как и в селе, сохранилась память Бориса Годунова)*, похоронен брат Пушкина, Николай (род. 1802, ум. 1807 г.). Ни он, ни другой брат, недавно умерший, Лев Сергеевич, не были настоящими товарищами его детства — первый потому, что скоро умер, второй потому, что был моложе его. Другом детства Пушкина была до конца нежно любимая им сестра (старше его одним годом) Ольга Сергеевна. Она училась с ним вместе, была товарищем его игр, первым и единственным судьёю и ценителем его ребяческих опытов в стихотворстве.

В 1811 году, когда Пушкину минуло двенадцать лет, стали думать об определении его куда-нибудь в заведение для более правильного образования. Тогда заводился Царскосельский Лицей. Директором его назначали друга Сергея Львовича, Василия Федоровича Малиновского, брата известного археолога. Александр Иванович Тургенев, служивший при тогдашнем министре просвещения князе Голицыне, обещал свое содействие; родители предварительно съездили в Петербург осведомиться, и летом 1811 года Василий Львович повез туда двенадцатилетнего поэта. С июня по октябрь шли приготовительные занятия к вступительному экзамену, а 19 октября 1811 года открылся Лицей.

Поступлением в это заведение решила будущая судьба Пушкина. Он становится на свою дорогу. Следить за ним на этой дороге предоставляется его биографу...

*1853 г. июня 11-го.
Село Петрищево*

* См. о Вязёме у Карамзина, т. XI, стр. 265 и еще стр. 248. Везде ссылки на второе издание.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Материалы для его биографии

Глава I. ДЕТСТВО

Александр Сергеевич Пушкин родился 26-го мая 1799 года, в день Вознесения*, в Москве, на Молчановке. Он был второе дитя Сергея Львовича и Надежды Осиповны, которые за год до его рождения оставили Петербург и поселились на житье в Москве**. Таким образом древняя столица наша может внести Пушкина в длинный список славных людей, которых дала она отечеству. В ней Пушкин провел первые, самые важные годы жизни, и оттого впоследствии с такою верностью и с таким чувством говорил о ней в своих произведениях.

Кто же были люди, посреди коих начал жизнь свою поэт, кто были первые его воспитатели?*** Об отце его мы

* Впоследствии Пушкин сам говаривал, что важнейшие случаи жизни его связаны с Вознесением и намеревался в Псковской деревне своей построить церковь Вознесения. Сколько нам известно, он родился в день Вознесения, помолвлен тоже в день Вознесения и венчался в церкви Вознесения (в Москве, на Никитской улице).

** Почтеннейший Александр Юрьевич Пушкин в краткой, но обильной подробностями заметке своей: Для биографии Пушкина (Москвитянин, 1852, № 24, стр. 23), говорит, что Сергей Львович, переселившись в Москву, нанял дом княжен Щербатовых, близ Немецкой слободы, и что в этом доме родился Александр Сергеевич. Действительно Пушкины жили в этом, теперь, кажется, не существующем более, доме (подле самого Яузского моста, не переезжая его к Головинскому дворцу; почти на самой Яузе, полукирпичный и полудеревянный дом), и тут прошли годы младенчества поэта. Об этом свидетельствует М. Н. Макаров. Но родился поэт не там. В 1826 и 27 годах, живя на Собачьей площадке и проезжая часто по Молчановке, он сам не раз говаривал своим приятелям, что родился на этой улице, в приходе Николы на Курьих-Ножках, но дома не мог указать.

*** Подробные сведения о родственниках поэта читатели могут найти в статье Род и детство Пушкина, напечатанной в Отечественных Записках (1853, № 11). Детство поэта в настоящем труде описано подробнее. Здесь кстати сказать, что Москвитянин в своем замечании на вышеприведенную статью (см. 1853, № 22, стр. 125) напрасно обвиняет нас в пропуске семерых Пушкиных, подписавшихся под грамотою о избрании на царство Михаила Федоровича. Смеем уверить г. Погодина, что этот пропуск вместе с другими произошел случайно. В рукописи пропусков не было.

знаем* только то, что он был человек пылкого, несколько раздражительного нрава, отличался светскою любезностью, блестящим по своему времени образованием, сценическим искусством, каламбурами, словом, имел все достоинства и все недостатки того легкого французского воспитания, которое получали достаточные русские дворяне в конце прошедшего столетия. Быстрота в переходе от одних ощущений к другим, пылкость и легкость характера, и острота ума, без сомнения, перешли в наследство сыну. Мать поэта была родная внучка Африканца; самая физиономия обличала ее южное происхождение: ее называли прекрасною креолкою. По преданию, она тоже отличалась живостью нрава и добродушием. Молодые супруги, занимавшие выгодное положение в обществе по родству и связям (поэта крестил дальний родственник — граф Артемий Иванович Воронцов), любили свет и его увеселения. Но в доме у них жила старушка Марья Алексеевна Ганнибал, мать Надежды Осиповны. Женщина старинного воспитания, выросшая в глуши России, дочь Тамбовского воеводы, Марья Алексеевна отличалась здравым, простым образом мыслей. Более или менее чуждая иноземных обычаев, она говорила только по-русски, и впоследствии ее письмами к внуку в Лицей восхищался барон Дельвиг. Она-то, без сомнения, была первою воспитательницею будущего поэта. К ней, в рабочую ее корзинку, залезал малютка Пушкин глядеть на ее рукоделье и слушать ее рассказы. Она любила вспоминать старину, и от нее Пушкин слышал семейных преданий, коими так дорожил впоследствии. Она рассказывала ему о знаменитом арапе Петра Великого и о других родственниках и предках своих и своего мужа. Так, мы знаем, например, что любимый рассказ ее был о дедушке ее Ржевском, к которому ездил Петр Великий**. Эта добрая бабушка была и первым учителем Александра Сергеевича. Она выучила его русскому чтению и письму.

По счастью и няня у Пушкина была настоящей пред-

* Большую часть сведений о детстве Пушкина мы заимствуем из записки, составленной со слов сестры его. Действ. Ст. Советницы Ольги Сергеевны Павлищевой, и приносим ей за то усерднейшую благодарность.

** Ржевский был любимцем Петра. Марья Алексеевна рассказывала, как недруги Ржевского подкупили его повара. Однажды государь заехал к нему поужинать. Подали на стол любимый государев блинчатый пирог. По счастью он не захотел его откусать: на другой день увидели в пироге тараканов, к коим, как известно, Петр чувствовал неодолимое отвращение.

ставительницею русских нянь. Знаменитая, воспетая Языковым, Арина Родионовна мастерски рассказывала сказки, сыпала пословицами, поговорками, знала народные поверья и бесспорно имела большое влияние на своего питомца, не истребленное потом ни иностранцами-гувернерами, ни воспитанием в Царскосельском Лицее. Про нее-то, конечно, говорит Пушкин в одном из лицейских стихотворений (Сон, см. т. IX, стр. 307):

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня,
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы.
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы;
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины¹.

Она была простая дворовая женщина, отпущенная на волю, но не захотевшая покидать прежних господ своих. Пушкин нежно к ней привязался. Впоследствии мы еще будем иметь случай говорить о ней.

Ребенок рос вместе с старшею сестрою своею Ольгою и младшими братьями, Николаем* и Львом; особенно был дружен с первою. По ее свидетельству, он был толстый, молчаливый и неповоротливый мальчик, которого нарочно заставляли гулять и бегать и который лучше любил оставаться дома с бабушкою. Это был будущий богатырь, до времени сидевший сиднем. Вот анекдот из первоначального его детства. Раз Надежда Осиповна взяла его с собою гулять. Он не поспевал за нею, отстал и уселся отдыхать середь улицы; но заметив, что из окошка на него смотрят и смеются, поднялся и сказал: «Ну, нечего скалить зубы!»

На седьмом году Пушкин сделался развязнее и прежняя неповоротливость перешла даже в резвость и шаловливость. Няню и бабушку сменили гувернеры и учителя.

* Этот брат (который был старше Льва Сергеевича) умер младенцем и похоронен в Вязёме, в ограде церковной. Над его могилою памятник, на котором обозначено, что он родился в 1802 г., а умер в 1807. Когда он заболел, Пушкину стало его жаль и он с участием подошел к его кровати: большой малютка все еще хотел подразнить братца и высунул ему язык. Пушкин рассказывал о том одному из своих приятелей.

Кроме Александра Ивановича Беликова* и еще другого священника, обучавших Закону Божию и отчасти другим наукам, все остальные наставники были иностранцы, наполнявшие в то время Россию, благодаря революции и неразборчивости русских дворян. Первым воспитателем был французский эмигрант, граф Монфор, музыкант и живописец; потом некто Русло, хорошо писавший французские стихи; далее Шедель и пр. Немецкому языку, которого сызмала не любил Пушкин, учила какая-то г-жа Лорж, сама плохо знавшая по-немецки; английскому гувернантка Белли. Был и еще учитель немец, по фамилии Шиллер, обучавший и русскому языку. Учение шло довольно беспорядочно, вследствие частой смены преподавателей. Дети, брат и сестра, разумеется, и читали, и писали, и между собою разговаривали по-французски. Французский язык от непрерывного упражнения и в классах, и в гостиной, и в разговорах между собою усвоен был отличным, и впоследствии Пушкин владел им как своим родным. Знаменитый граф Алексей Сен-При говорил, что слог французских писем Пушкина сделал бы честь любому французскому писателю. По-итальянски Пушкин выучился также еще в детстве: отец его и дядя отлично знали этот язык.

Но и во второй период своего детства Пушкин имел возможность питаться впечатлениями родной природы, слышать говор простого народа. Бабушка Марья Алексеевна купила себе, в 1806 году, у генеральши Тиньковой небольшое сельцо Захарово, и вся семья ежегодно стала ездить туда на летнее время. Захарово** лежит верстах в 40 от Москвы, несколько вправо от Можайской дороги. Оно не отличается особенно хорошим местоположением, но в нем можно иметь все удовольствия деревенской жизни. Недалеко от усадьбы березовая роща, в которой обыкновенно при хорошей погоде обедали и пили чай. Дальше сад и пруд с огромною липою, у которой любил играть Пушкин. В сельце раздавались русские песни;

* Священника Маринского Института, недавно умершего. Он был известен в то время своими проповедями. В 1808 году напечатал он Дух Массильёна Епископа Клермонского, пер. с франц. Книга эта была в 1822 году перепечатана. Он же в 1818 году издал Катихизис, или Краткое изложение православного христианского закона.

** О Захарове см. заметку Н. В. Берга в Москвитянине 1851 (№№ 9 и 10). Ныне Захарово принадлежит Н. Н. Орлову

Пушкин имел случай видеть народные праздники, хоро- воды. Как любил он эту деревню, видно из того, что уже в 1830 году, осенью, перед своею свадьбою, он нарочно ездил туда и, как бы прощаясь с молодостью, осматривал все места, ему памятные, и заходил в избу к дочери своей няни. В Захарове нет церкви, и жители его ходят молиться в близлежащее богатое село Вязёму*, вотчину князей Голицыных, замечательную в историческом отношении: тамонная церковь с оригинальною колокольнею выстроена при царе Борисе, и пруд вырыт по его повелению. Имя Бориса Годунова рано могло остановить внимание будущего поэта.— Вспоминая об этой деревенской жизни, Пушкин рассказывал одному из друзей своих** следующий анекдот. В Захарове жила у них в доме одна дальняя родственница, молодая, помешанная девушка, помещавшаяся в особой комнате. Говорили и думали, что ее можно вылечить испугом. Раз ребенок Пушкин ушел в рощу, где любил гулять: расхаживал, воображал себя богатырем, и палкою сбивал верхушки и головки растений. Возвращаясь домой, видит он на дворе свою сумасшедшую родственницу, в белом платье, растрепанную встревоженную. «*Mon frère, on te prend pour un incendie****», — кричит она ему. Дело в том, что для испуга в окно ее комнаты провели кишку пожарной трубы. Тотчас догадавшись, Пушкин спокойно и с любезностью начал уверять ее, что она напрасно так думает, что ее сочли не за пожар, а за цветок, что цветы также из трубы поливают.

В этот ранний период жизни, от 1806 по 1811 год, зачалась в Пушкине его поэзия. Впоследствии он любил вспоминать это первое пробуждение своего таланта. Послушаем его самого и приведем стихотворение Музу:

В младенчестве моем она меня любила
И семистольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой: и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера, в немой тени дубров,
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,

* О Вязёме см. Ист. Госуд. Росс., т. XI, стр. 265 и 248, второго издания. В Вязёме хранится отличная старинная библиотека.

** Павлу Воиновичу Нашокину².

*** Брат мой, меня принимают за пожар (фр.).

Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем,
И сердце наполнял святым очарованьем.
(IV, 203)

Или в Послании к Дельвигу:

О милый друг! и мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья
И тайный указали путь.
Я мирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел,
И лира стала мой удел.

(III, 127)

Без сомнения, это было высшее наитие; ибо Пушкин родился поэтом. Но мы обязаны указать на внешние обстоятельства, которые так рано разбудили в нем поэзию. Вся семья его любила словесность. Отец и мать часто читали детям вслух разные занимательные книги, и первый особенно любил читать комедии Мольера.

Декламация, чтение своих и чужих стихов было страстью его дяди, известного Василия Львовича. Другие родственники также, по тогдашнему выражению, упражнялись в словесности: Алексей Михайлович Пушкин* переводил Мольера. Александр Юрьевич Пушкин писал стихи. В доме Пушкиных чтения и декламация не умолкали. Там постоянно собирались лучшие московские литераторы. Дмитриев**, Карамзин, Жуковский и Батюшковые были связаны с Сергеем Львовичем и братом его узами короткого знакомства и приязни. Образованнейшие французские эмигранты, и в числе их недавно умерший граф Ксаверий Местр***, находили у них самый радушный прием. Одним

словом, это была семья литературная*, и Пушкин впоследствии справедливо писал своему брату: «Если ты в родню, так ты литератор». — С другой стороны, ребенок Пушкин, плохо твердивший уроки и беспорядочно учившийся, рано получил страсть к чтению, и эта страсть нашла себе обильную пищу в прекрасной библиотеке отца, составленной из лучших произведений по преимуществу французской словесности. Он забирался в библиотеку и читал много. Так, он прочел всю Илиаду и Одиссею во французском переводе Битобе, всего Плутарха, множество романов. Прибавим к сему, что беспрестанные домашние спектакли, до которых и отец и дяди были страстные охотники, должны были развивать и воспламенять воображение гениального мальчика. Страсть к подражанию в детях, как известно, очень сильна, и потому немудрено, что он захотел сам заговорить мерною речью, которую беспрестанно слышал вокруг себя. Разумеется, первые попытки его в стихотворстве были на языке французском, и до поступления в Лицей он не писал никаких русских стихов. Но читателям приятнее будет узнать об этой поре его жизни от друга и товарища его детства, сестры его.

«Любимым его упражнением, — говорит она, — сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску: Escamoteur**. Он не обиделся, и сам на себя написал эпиграмму.

В то же время пробовал он сочинять басни, а потом, уже десяти лет от роду, начитавшись порядочно, особенно Генриады, написал целую героическо-комическую поэму, песнях в 6-ти, под названием Toliade, которой героем был один карлик короля Дагоберта, а содержанием война между карлами и карлицами.

Гувернантка подстерегла тетрадку и, отдавая ее гувернеру Шёделю, жаловалась, что м. Alexandre занимается таким вздором, от чего и не знает никогда своего урока. Шёдель, прочитав первые стихи, расхохотался. Тогда маленький автор расплакался и, в пылу оскорбленного самолюбия, бросил свою поэму в печь. И в самом деле, полагаясь на свою счастливую память, он никогда не твердил

* Почтенный библиограф наш С. Д. Полторацкий насчитывает до восьми Пушкиных-писателей.

** Похититель (фр.).

* Алексей Михайлович Пушкин, питомец Московского университета, переводчик некоторых французских комедий.

** И. И. Дмитриев был в самых дружеских сношениях с Пушкиными. Известна его литературная шутка с Василием Львовичем. Он искал руки Анны Львовны, столь известной по стихам на смерть ее. Она решила остаться в девицах и, получив отказ, Дмитриев написал к ней послание, начинающееся так:

Прелеста, веселись, мой рок уже решился,

Внимай и торжествуй, я с ревностью простился.

(См. сочин. И. И. Дмитриева, изд. 5-е, 1818 года, часть 2-я, стр. 80. Послание его называется: О выгодах быть любимицею стихотворца).

*** Автор книги: Voyage autour de ma chambre («Путешествие вокруг моей комнаты». — фр.), брат известного Иосифа Местра, который также находился с Пушкиными в коротком знакомстве.

уроков, а повторял их вслед за сестрою, когда ее спрашивали. Нередко учитель спрашивал его первого, и таким образом ставил его в тупик. Арифметика казалась для него недоступною, и он часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался горькими слезами».

Вот и другое свидетельство о детстве Пушкина. М. Н. Макаров, часто посещавший вместе с другими литераторами дом Пушкиных, сохранил нам в своих воспоминаниях* следующие черты ребенка-поэта. «Молодой Пушкин,— говорит он,— как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок; он очень понимал себя, но никогда не вмешивался в дела больших, и почти вечно сживал как-то в уголочке, а иногда стаявал прижавшись к тому стулу, на котором угораздился какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграмматист и проч... Однажды, когда один поэт-моряк провозглашал торжественно свои стихи и где как-то пришлись:

И этот кортик,
И этот чортик!

Александр Сергеевич так громко захохотал, что Надежда Осиповна подала ему знак — и он нас оставил». — Пушкины жили в соседстве и в коротком знакомстве с семьею графа Д. П. Бутурлина**, тоже весьма образованною и любившею литературные беседы. Обе семьи часто виделись***, и вот «в один майский вечер,— рассказывает г. Макаров,— собралось несколько человек в Московском саду графа Бутурлина. Молодой Пушкин был тут же и резвился, как дитя с детьми. Известный граф П... упомянул о даре стихотворства в Александре Сергеевиче. Графиня Анна Артемьевна Бутурлина, чтоб как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть, нескромным словом о его пи-

* См. Современник 1843 г. № 3-й, статью Макарова: Александр Сергеевич Пушкин в детстве.

** Граф Д. П. Бутурлин, служивший адъютантом у Потемкина, по иностранной корреспонденции, и потом вместе с графом Александром Романовичем Воронцовым, объездивший более 11 наших губерний (так называемая комиссия для обозрения государства, 1786—1787) около того времени, о коем идет речь, был одним из четырех управляющих Московским Архивом Иностранных Дел. Знаменитая библиотека его сгорела в 1812 году; впоследствии он собрал другую, тоже весьма известную библиотеку.

*** Кроме Бутурлиных, маленький Пушкин часто бывал у Трубецких (князя Ивана Дмитриевича) и у Сушковых (Николая Михайловича, тоже литератора), а по четвергам его возили на знаменитые, недавно только прекратившиеся детские балы танцмейстера Йогеля.

тическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам свои стихи; зато множество живших у нее молодых девушек иностранок и русских почти тут же окружили Пушкина и стали просить, чтоб он написал им что-нибудь в альбомы. Поэт-дитя смешался. Некто NN. прочел детский катрен его и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на о. Александр Сергеевич успел только сказать: Ah! mon Dieu* — и выбежал. Я нашел его в огромной библиотеке графа Дмитрия Петровича; он разглядывал затылки сафьянных фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: поверите ли, этот NN. так меня озадачил, что я не понимаю даже и книжных затылков».

Уже спорили о ребенке, уже одни восхищались его ребяческими опытами, другие качали головою. К сожалению, все эти первые поэтические опыты его не дошли до нас и, вероятно, совсем утратились.

Эти краткие сведения о младенчестве и первом отрочестве Пушкина заключим описанием его детской физиономии. По свидетельству Макарова, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завивались, что однажды И. И. Дмитриев сказал Макарову: «Посмотрите, ведь это настоящий арапчик», на что Пушкин проворно и очень смело проговорил: «По крайней мере не рябчик»**. Заметим также, что лет до 17 он был белокур.

Глава 2. ЛИЦЕЯ

В предыдущей главе, излагая первые годы жизни Пушкина, мы упомянули о том, что переходя из младенчества в отроческий возраст, он уже сделался предметом толков и споров в небольшом кругу родных и знакомых, обнаруживая высокие способности, быструю понятливость, удивительную память, остроту ума, наконец талант стихотворческий.

Понятно, что родители и родственники стали заботливее думать о воспитании такого ребенка и, недовольные воспитанием домашним, которое при упомянутой смене

* Ah! мой Бог (фр.).

** Как известно, И. И. Дмитриев был рябой.

учителей и гувернеров не могло быть удовлетворительно, решились отдать его в общественное учебное заведение. В то время, т. е. около 1811 года, еще славился своим устройством и воспитанниками благородный пансион при Московском университете, состоявший под ведением А. А. Прокоповича-Антонского. Мы не знаем, отчего Сергей Львович не отдал сына в этот пансион. Может быть, направление пансиона не совсем согласовалось с образом его мыслей. Родители Пушкина нарочно поехали в Петербург, чтобы разведать, куда бы лучше поместить сына*. В Петербурге уже несколько лет пользовался известностью благородный иезуитский институт**;

но в высшем обществе, к которому принадлежал Сергей Львович, особенно славился один частный пансион, учрежденный и прекрасно устроенный аббатом Никодем, впоследствии устроителем Ришельевского лицея, и в то время находившийся в ведении некоего аббата Макара. Там воспитывались дети из лучших семейств. Туда же намеревались отдать и Пушкина***. Невольно подумаешь о том, что стало бы с ним, какое бы получил он направление под руководством аббата. Кажется, не ошибемся, если скажем, что, к счастью его, в то время открывался Лицей в Царском Селе.

Лицей, прекрасный памятник заботливости Государя Александра Павловича о просвещении России, имел на Пушкина влияние решительное. Не говорим уже о том, что постоянная жизнь в царскосельском уединении, посреди прекрасных тамошних садов, питала в нем чувство изящного и любовь к природе;— Лицей подействовал и на ум его, сообщив его мыслям определенное направление, и на сердце, дав возможность рано развиться нежным склонностям дружбы, чувствам чести и товарищества, одним словом, он вполне раскрыл все его способности. Пушкин вспоминал о Лицее, как об отеческом крове, как о родимой обители. В 1827 году, посетив Царское Село в первый раз после семилетней отлучки, он обращался к садам его с такими стихами:

* Из записки Ольги Сергеевны Павлищевой.

** Институт этот учрежден и открыт был в январе 1803 года, состоял из 5 классов и воспитывал более 60 мальчиков. Все преподаватели, кроме священника, обучавшего Закону Божию воспитанников Грекороссийского исповедания, были из иезуитского ордена. См. «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения», 1814 года, № XXXVIII.

*** Об этом говорится в записке О. С. Павлищевой.

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии — безумный расточитель —
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал...!

Во многих других стихотворениях видна та же нежная привязанность. Итак мы обязаны поговорить о Лицее сколько возможно подробнее.

Мысль об основании его возникла в первой половине 1810 года. Кто сочинял устав или постановление о Лицее, неизвестно². Тогдашний министр народного просвещения, граф Алексей Кириллович Разумовский сообщал проект этого постановления знаменитому французскому писателю графу Иосифу Местру, проживавшему в то время в Петербурге, где он находился прежде в качестве Сардинского посланника. Граф Местр написал к Разумовскому несколько писем, в которых с своей католической точки зрения и как бы радея иезуитам, решительно отказывал этому проекту в своем одобрении*. Но, видно, мнение его не имело силы. 12-го августа того же года постановление о Лицее было Высочайше утверждено.

Из этого постановления**, излагающего в 149 параграфах все подробности административной и учебной части заведения, узнаем, что «учреждение Лицея имело целью образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной», что в нем «преподавались предметы учения, важным частям государственной службы приличные и для благовоспитанного юноши необходимо нужные», что «Лицей и члены его приняты были под особенное Его Императорского Величества покровительство и состояли под непосредственным ведением министра народного просвещения», который в конце каждой недели получал от директора подробную ведомость о состоянии Лицея.

Августа 19-го именным указом, данным министру народного просвещения, предписано было привести в действие постановление о Лицее. В конце этого указа читаем: «Я питаю твердое упование, что заведение сие вско-

* Всех писем 5; они писаны летом 1810 года; последнее письмо от 18 июля.

** Оно напечатано в Полном Собрании Законов Российской империи, см. Том XXXI, № 24, 325.

ре процветет под управлением начальства, коему оно е веряется»*.

Государь подарил Лицею собственную библиотеку, в которой некоторые книги находились прежде в личном употреблении и сохраняли драгоценные собственноручные его замечания и отметки**. Но высокое покровительство Августейшего Учредителя выразилось особенно в том, что для помещения Лицея отведена была часть царскосельского дворца***. Главнначальствовавший над интендантскою конторою, граф Литта, получил 3-го февраля 1811 года именной указ об отдаче царскосельских строений, назначенных для Лицея, в ведение министра народного просвещения. Невозможно было сделать лучшего выбора. Лицей таким образом пользовался и необходимым в течение большей части года уединением, и близостью столицы, открывавшею доступ ко всем учебным средствам и пособиям. Дворцовые здания Царского Села****, построенные еще при Елисавете Петровне (1744) славным художником Растрелли, особенно украшены и возвеличены были во дни Екатерины, коей память еще так свежо сохранялась в то время. Слава Ее имени и царствования одушевляла лицеистов. Как сильны были эти впечатления, видно из одного раннего стихотворения Пушкина, Воспоминания в Царском Селе, и особенно из следующих неизданных стихов его, написанных, если мы не ошибаемся, около 1827 г., т. е. лет чрез 10 по выходе из Лицея:

И славных дел передо мною
Являлись вечные следы.
Еще исполнены великою женою
Ее любимые сады.

* См. Период. соч. об успехах народн. просв., 1810 г. № XXVIII

** См. Отчет о состоянии Лицея, читанный на акте Лицея, июня 12-го, 1850 года профессором Я. В. Ханьковым (ныне Оренбургским гражданским губернатором) и напечатанный в «Памятной книжке Императорского Александровского Лицея на 1850—51 год», стр. 22. Из этого отчета узнаем, что в 1850—51 году библиотека Лицея состояла из 5.758 сочинений.

*** Та, в коей ныне имеют свои комнаты приезжающие с докладами министры и статс-секретари.

**** Пушкин писал иногда Царское, иногда Сарское Село. Последнее правильнее и древнее. Место это первоначально называлось Сарскою мызою, от слова сари или саари, которое на финском языке означает возвышенность, холм, остров и соответствует шведскому гольму: Кексгольм прежде назывался Кексаари. Царское Село лежит выше окружающих его местностей. См. «Историю Села Царскаго», Ильи Яковкина. Спб., 1829 г., ч. I, стр. 31—34.

Стоят — населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов!

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов!
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев,
Перун Кагульских берегов,
Вот, вот могучий вождь полуночного флага,
Пред кем морей пожар и плавал и летал,
Вот верный брат его, герой Архипелага,
Вот Наваринский Ганнибал*³.

2-го июня 1811 года именным указом, данным сенату, статский советник Малиновский, находившийся при государственной коллегии иностранных дел, назначен был директором Лицея. Василий Федорович Малиновский**, брат известного Алексея Федоровича, управлявшего Московским архивом иностранных дел, издавна был приятелем Пушкиных. Уже это одно должно было расположить Сергея Львовича к помещению сына в Лицей. Сверх того, Лицей, как заведение вновь открываемое и при такой благоприятной обстановке, внушал родителям доверие. Наконец нельзя упустить из виду и того обстоятельства, что лицеисты воспитывались бесplatно***.

Летом 1811 года молодой Пушкин в первый раз оставил родной свой город, Москву. Дядя, Василий Львович, повез его в Петербург****. Еще и теперь некоторые

* Как известно, Екатерина воздвигла в Царском Селе памятники Румянцеву, Орлову-Чесменскому, брату его, Федору Григорьевичу и Ивану Абрамовичу Ганнибалу. Последний был дед Пушкина по матери, что, без сомнения, возвышало в молодом лицеисте чувство чести и собственного достоинства.

** О В. Ф. Малиновском мы не могли собрать сведений. Но самое избрание его в директора Лицея уже свидетельствует о высоких нравственных его качествах, наследованных от отца, известного старинному московскому обществу, протоиерея Федора Авксентьевича.— Василий Федорович Малиновский издавал в 1803 году в Спб. Осенние вечера; но это еженедельное издание остановилось на 8 номерах.— Сын его Иван Васильевич был в Лицее одним из лучших друзей Пушкина.

*** Известно по преданию. В постановлении ничего об этом не сказано.

**** Об этом, равно как о приязни Пушкиных с Малиновским, говорится в часто упоминаемой нами краткой, но драгоценной записке О. С. Павлишевой.— В эту поездку Василий Львович напечатал особую брошюрою (Спб. в типографии Шнора, 1811) свои Два послания (к В. А. Жуковскому и Д. В. Дашкову); в последнем он защищается от нападок А. С. Шишкова, который печатно отозвался о нем, что он научился благочестию в Кандиде, а благонравию и знаниям в парижских переулках.

помнят, как он, вместе с двенадцатилетним племянником, посещал московского приятеля своего, тогдашнего министра юстиции Ивана Ивановича Дмитриева; раз собираясь читать стихи свои, вероятно, в роде Опасного Соседа, он велел племяннику выйти из комнаты: резвый, белокурый мальчик, уходя, говорил со смехом: «Зачем вы меня прогоняете, я все знаю, я все уже слышал»*.

До половины августа он готовился ко вступительному экзамену. Доступ в Лицей был довольно затруднителен: в постановлении сказано, что «на первый случай полагалось принять в Лицей не менее 20 и не более 30 воспитанников, а в последствии времени по соображению с хозяйственным состоянием Лицея»**. Многие родители приехали в Петербург для определения детей своих***, но только 38 человек были допущены к экзамену, и в это число Василию Львовичу удалось включить племянника своего, благодаря советам и ходатайству Александра Ивановича Тургенева, в то время служившего при министре духовных дел, князе А. Н. Голицыне. Мог ли Тургенев думать, что этот мальчик, которому по доброте своей он открывал доступ в Лицей, сделается знаменитым поэтом, и что чрез 26 лет он окажет ему другую услугу: отвезет его тело на последнее жилище!

* Сообщено одним очевидцем. О том, что Пушкин в детстве имел светло-русые волосы, см. французские стихи его *Mon portrait* (т. IX, стр. 429):

*J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tête bouclée
Мой портрет
У меня свежий цвет лица, белокурые волосы
Кудрявая голова (фр.).*

** На содержание Лицея определено было отпускать ежегодно 96.545 руб. Лицей вообще содержался богато⁴.

*** Дети, не поступившие в Лицей, разместились пансионерами у профессоров, и один из последних, Гауеншильд, образовал у себя довольно значительное заведение, которое вскоре, именно в начале 1813 года, было причислено к Лицею, под названием благородного лицейского пансиона (См. в Полном Собрании Законов, под № 25.509, постановление об этом пансионе). Из него воспитанники поступали в Лицей, так что лицеисты составляли высший курс, а пансионеры низший. Но и в пансионе был высший курс. Пансион помещался в здании прямо против Дворцового сада. Лицеисты и пансионеры беспрестанно виделись между собою. Последних было более 150 человек, в том числе брат Пушкина, Лев Сергеевич (потом перешедший в Благородный пансион при педагогическом институте), Николай Иванович Павлицев, впоследствии зять Пушкина, и Павел Воинович Нашокин, еще в то время подружившийся с Пушкиным. За пансионеров брали по 1.000 р. в год.

Августа 12-го, 38 мальчиков подвергнуты были предварительному испытанию, и 30 из них, в том числе Пушкин, удостоены принятия в Лицей*, на что и последовало высочайшее утверждение, испрошенное директором Лицея**.

Лицей торжественно открылся 19-го октября 1811 года,— день, незабвенный для Пушкина и его товарищей, день, в который они потом ежегодно праздновали, и памяти которого Пушкин посвятил несколько лучших стихотворений своих***.

Вы помните: когда возник лицей,
Как Царь для нас открыл чертог Царицын.
И мы пришли, и встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.

С утра все члены Августейшей фамилии (кроме младших Великих князей и Великой княгини Екатерины Павловны, которая тогда жила в Твери), первые чины двора, министры, члены государственного совета и проч., собрались в придворную Царскосельскую церковь, которая вместе была и лицейскою церковью, находясь в середине здания и соединяя комнаты Лицея с Государевыми покоем⁵. Директор Лицея привел в церковь всех воспитанников, профессоров и чиновников открываемого заведения. Отслушана была литургия, и потом все собрание прошло по комнатам Лицея, в предшествии придворных певчих и духовенства, которое освятило их кроплением святой воды. Затем все собрались в залу, где прочитаны были некоторые места из Высочайше пожалованной Лицею грамоты. Министр просвещения передал эту грамоту директору для хранения⁶. За речью, которую произнес директор****, профессор Кошанский

* См. первую статью В. П. Гаевского о Дельвиге, в февральской книжке Современника, 1853 года, стр. 63.

** См. постановление о Лицее.

*** Сюда мы относим стихотворение 19-е октября 1825 года (том III, стр. 16), 19-е октября 1827 года (там же, стр. 104), две Лицейские годовщины, из коих одна (том IX, стр. 157), начинающаяся стихом: «Чем чаще празднует лицей», написана, вероятно, в 1831 году, в год смерти Дельвига; а другая (том IX, стр. 235), из коей приведены нижеследующие стихи в 1836 году. Сюда же, может быть, относится столь замечательное по глубокому чувству стихотворение: Безумных лет угасшее веселье (том III, стр. 201).— Открытие Лицея описано в «Период. соч. об успехах народн. просв.», 1812 г., № XXXII. См. также вышеуказанную статью Гаевского (стр. 63, 64), который пользовался архивом Лицея.

**** См. «Период. соч. об успехах нар. просв.», 1812, № XXXII.

прочел список чиновников-Лицея и принятых в оный воспитанников. Наконец к сим последним обратился с речью профессор Куницын. Впечатление, произведенное этой речью, сохранялось в памяти Пушкина через 25 лет, как видно из вышеприведенных стихов, написанных в 1836 году. В этой речи, за которую Куницын получил орден, между прочим читаем: «Познания ваши должны быть обширны, ибо вы будете иметь непосредственное влияние на благо целого общества. Государственный человек должен знать все, что только прикасается к кругу его действия... Государственный человек, будучи возвышен над прочими, обращает на себя взоры своих сограждан; его слова и поступки служат для них примером. Если нравы его беспорочны, то он может образовать народную нравственность более собственным примером, нежели властью... Благонастроенный воздух, безмолвное уединение, воспоминание о великой в женах и о воспитании в сем месте Августейшаго Внука Ея, воскриляет младые таланты... Вы ли не устращитесь быть последними в вашем роде? Вы ли захотите смешаться с толпою людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет! да не развратит мысль сия вашего воображения. Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководителем!»* По окончании речи Государь осмотрел помещение воспитанников** и удостоил своего присутствия обеденный стол их. Торжество заключилось иллюминацією.

Это происходило в четверг. Через четыре дня, в понедельник, 23-го октября, началось в Лицее учение***.

Преподавание наук в Лицее, как и все внутреннее устройство его, имело особенный характер. Уравненный

в правах с русскими университетами*, он не ходил на сии последние уже по самому возрасту своих питомцев, которые при поступлении имели от 10 до 12 лет**, но, с другой стороны, в высшем, четвертом курсе Лицея преподавалось учение, обыкновенно излагаемое только с университетских кафедр. Таким образом, он соединял в себе характеры так называемых высших и средних учебных заведений. Лицеист в течение шести лет узнавал науки от первых начатков до философических обозрений.

В «Постановлении о лицее» подробно изложены предметы, способ и распределение преподавания. Там сказано, что «самое большое число часов в неделю должно посвящать обучению грамматики, наук исторических и словесности, особливо языкам иностранным, которые должны быть преподаваемы ежедневно не менее 4 часов». Директору менялось в обязанность стараться о том, чтобы воспитанники разговаривали между собою на французском и немецком языках по-дневно. Языкам греческому, английскому и итальянскому вовсе не учили. Латинскому языку дано было второстепенное место; его причислили к кафедре русской словесности, которую занимал профессор Николай Федорович Кошанский***. Он учил также и языку церковно-славянскому. В § 45 постановления читаем: «Учение Славянской грамматики для коренного позна-

* См. постановление. Лицей даже превышает университеты: воспитанники его могут получать в гражданской службе от 14 до 9-го класса, а в военную поступают наравне с воспитанниками Пажеского корпуса.

** Там же.

*** Кошанский приобрел общую известность своими общою и частною реториками, которые лишь в недавнее время вышли из употребления. Пушкин не учился по этим руководствам: *Общая реторика* (имевшая 9 изданий) появилась в первый раз в 1829 году, а *частная* (5 изданий) в 1832 году. Кроме того, Кошанский известен своею латинскою грамматикою, составленною по Бредеру, имевшею 11 изданий (уже в 1823 году 3-е издание), Корнелием Непотом и баснями Федра. Он напечатал также несколько переводов. Кошанский по смерти Малиновского несколько времени исправлял должность директора Лицея (см. памятную книжку Лицея на 1852—1853 год, стр. 66). Г. Гаевский, на 68 стр. первой статьи своей о Дельвиге, говорит, что в последний год пребывания в Лицее Пушкина Кошанского заменил профессор П. Г. Георгиевский. Кажется, это не так: при описании выпускного акта 1817 года Кошанский упоминается в числе профессоров; про него сказано, что он получил орден Св. Владимира 4-й степени. (См. *Сын Отеч.* 1817 года, № 26, стр. 277). Заимствуем у г. Гаевского следующее любопытное и характеристическое известие. П. А. Плетнев сочинил послание к Дельвигу, начинавшееся вопросом: «Дельвиг, где ты учился языку богов?» — «У Кошанского», — отвечал Дельвиг.

* Речь эта, названная Наставлением о цели и пользе воспитания их (т. е. лицейцев), напечатана в вышеупомянутом «Периодическом сочинении», № XXXII, 1812 года. Вместе с речью директора Малиновского она отгиснута была в числе 300 экземпляров, которые розданы были посетителям в день открытия Лицея и разосланы по ученым и учебным заведениям. См. у г. Гаевского, стр. 64.

** Собственное помещение лицейцев состояло из отдельных комнат, которые шли в два ряда, разделяемые коридором. По концам коридора стояли две огромные умывальницы. Каждый воспитанник имел особую комнату, с кроватью и всеми необходимыми принадлежностями. В одной из этих комнат помещался надзиратель. Проволочные решетки в верхних половинах дверей давали возможность из коридора видеть, что делалось в комнатах.

*** См. у г. Гаевского, стр. 65.

ния Российского слова необходимо; а потому и должно быть обращено на часть сию особенное внимание». На последнем курсе лицеисты слушали историю изящных искусств по Винкельману. Вообще в преподавании словесности или «изящных письмен», как названа она в постановлении, главным почиталось чтение образцов. Рядом с ним деятельно шли практические упражнения, и ученики подавали Кошанскому свои сочинения не только в прозе, но и в стихах, обычай, может быть, перенесенный из Московского университетского пансиона, в котором Кошанский учился и, кажется, некоторое время был преподавателем. Об этих стихотворных упражнениях в классе сохранился забавный анекдот. Профессор задал в классе написать сочинение на тему: Восход солнца. Все ученики написали, кто как умел, и подали профессору свои листки и тетрадки. Остановка была за одним учеником, который никак не мог совладеть с трудною темою; у него была написана только одна фраза: «Грядет с заката царь природы». Он стал просить Пушкина помочь ему. «Изволь»,— отвечал Пушкин, и, в одну минуту прибавив к приведенному началу следующие три стиха:

И изумленные народы
Не знают, что начать,
Ложиться спать или встать,

подал листок профессору*.

Об истории, которую преподавал столь известный впоследствии профессор Иван Козмич Кайданов**, сказано в постановлении: «Во втором курсе история должна быть делом разума. Предмет ее есть представить в разных превращениях государств шествие нравственности, успехи разума и падение его в разных гражданских постановлениях». В четвертом курсе лицеисты слушали философическое обозрение знатнейших эпох всемирной Истории по Боссюэту и Феррану. Кайданов преподавал также и географию.

Что касается до способа преподавания, то профессорам вменялось в обязанность «не затемнять ум детей простран- ным изъяснением, но возбуждать собственное его

* См. Москвитянин, 1853, № 4, стр. 107, в Смеси; неверно перепечатано из Лучей.

** В 1814 году в Спб. вышли его «Основания Всеобщей Политической Истории. Часть 1-я Древняя История». По этой книжке должен был учиться Пушкин.— «Краткое начертание Всеобщей Истории, соч. Ивана Кайданова» имело 13 изданий.

действие», «не диктовать уроков» и «избегать высокопарности». «Все пышное, высокопарное, школьное, совершенно удаляемо было от понятия и слуха воспитанников»*.

В какой степени и каким образом все это применялось к самому делу, остается неизвестным. Но нет сомнения в том, что лицейское преподавание было плодотворно. Лицеисты получили, и многие из них навсегда сохранили, любовь к науке и просвещению.

Выше назвали мы двух профессоров Лицея. Следует упомянуть и об остальных. Законоучителем сначала был священник Николай Васильевич Музовской, в 1816 г. уехавший в Берлин для преподавания православного закона Ее Величеству нынешней Государыне Императрице. Место его в Лицее заступил временно священник Гавриил Полянский, а потом один из учнейших членов нашего духовенства Герасим Петрович Павский**. Психологию, логику, нравственную философию, науки политические преподавал Александр Петрович Куницын***, самый заметный из всех лицейских профессоров, по талантам, дару слова и по новости идей, которые он излагал в статьях и, без сомнения, в лекциях своих. Он получил образование в Геттингенском университете и был в близких отношениях к А. И. Тургеневу. О лекциях Куницына Пушкин вспоминал всегда с восхищением, и лично к нему до смерти своей сохранил неизменное уважение****. Мы уверены, что в утраченных записках Пушкина много о нем говорилось.— Кафедру философии и эстетики занимал Александр Иванович Галич; об отношениях к нему лицейств можно судить по двум посланиям Пуш-

* См. в Постановлении § 36 и след.

** См. Памятную Книжку лицея на 1852—1853 г. стр. 66. Здесь кстати заметим, что дома, в Москве, Пушкина учил закону Божию, кроме названного нами Александра Ивановича Беликова, священник Алексей Иванович Богданов (доселе живущий), брат того Петра Ивановича Богданова, который учил князя П. А. Вяземского и о котором так часто упоминается в Дневнике Студента (С. П. Жихарева.— Сост.).

*** Куницын, переживший Пушкина, известен следующими сочинениями: Изображение взаимной связи Государственных сведений. (Спб. 1817; Право естественное, 2 части, Спб. 1819, 1820. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. Спб. 1843 г.— По первым двум книгам, вероятно, учился Пушкин. Кроме того в некоторых повременных изданиях находятся весьма замечательные статьи Куницына.

**** См. Современник, 1838, № 2, статью П. А. Плетнева; Александр Сергеевич Пушкин.

кина*.— Преподавателем наук математических был Яков Иванович Карцов.

Большое влияние, уже вследствие частого обращения, вероятно, имели на лицеистов преподаватели обоих иностранных языков. Немецкому языку учил директор лицейского пансиона, Федор Матвеевич фон Гауеншильд, который по смерти Малиновского, последовавшей в начале 1814 года, около двух лет исправлял должность директора Лицея**. Он хорошо знал по-русски и впоследствии по желанию государственного канцлера, графа Н. И. Румянцева перевел на немецкий язык первые 6 томов истории Карамзина***. Но немецкий язык не полюбился Пушкину. Несмотря на то, что лицеистов обязывали говорить по-немецки, несмотря на пример и внушения Дельвига, он почти вовсе не знал этого языка.— Всех занимательнее и веселее были уроки профессора французского языка, человека пожилых лет, эмигранта, уже давно жившего в России, оставившего, с соизволения Екатерины II, свое настоящее имя Марата, столь страшно прославленное родным его братом и назвавшегося Бури****. Давид Иванович де Бури***** учил во всех женских заведениях Петербурга и всюду был любим за живой и веселый характер. Он между прочим переводил с лицеистами на французский язык Недоросля фон Визина*****.

* Вот сочинения Галича: История философских систем, по иностранному руководству составленная, 2 части, СПб. 1818—1819; Опыт науки изящного, СПб. 1825; Логика, выбранная из Клейна, СПб. 1831 г.; Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания, для всех образованных сословий начертанный, СПб. 1834 г.; Лексикон философских предметов, Том 1-й, СПб. 1845 г. Кроме того Галич перевел Науку нравов Герлаха. (СПб. 1833 г.) и вместе с В. Плаксиным издал: Летопись факультетов на 1835 год, в двух книгах. Послания к нему Пушкина находятся одно в IX томе сочинений последнего (стр. 400), другое в Российском музее, 1815 года ч. IV, стр. 3. О том, что Галич был профессором в Лицее, говорит г. Гаевский (стр. 80); так ли это, не ручаемся.

** См. Гаевского, стр. 71.

*** С седьмого тома перевод этот продолжал под смотрением самого Карамзина доктор философии Эртель. См. памятную книжку Императорского Александровского лицея, на 1850 и 1851 год.

**** Лицо его напоминало портреты брата. Сообщено П. В. Нащокиным.

***** Бури или Будри издал: Первые основания французского языка или новую грамматику, в пользу Российского юношества 2 части, СПб. 1811—1812 и Сокращение французской грамматики СПб. 1819.

***** Сообщено П. В. Нащокиным.

При исчислении людей, имевших влияние на лицеистов*, нельзя пройти молчанием их неразлучного собеседника, учителя рисования и гувернера, Сергея Гавриловича Чирикова, который занимал эту должность в течение многих лет. Лицеисты любили его. У него бывали литературные собрания. В его гостиной, над диваном, долго сохранялось несколько шуточных стихов, написанных на стене Пушкиным**.— Чистописанию учил Фотий Петрович Калиныч.

Все эти люди, посреди которых протекло отрочество Пушкина, имели или по крайней мере могли иметь на него всякого рода влияние. Прямых, положительных сведений о пребывании его в Лицее, несмотря на все наше старание, мы не могли собрать много. Собственные его записки, в которых, без сомнения, он говорил подробно о лицейской своей жизни, сожжены; из его товарищей до сих пор еще никто не поделился с публикою воспоминаниями о том времени. Мы принуждены довольствоваться указаниями, рассеянными в сочинениях Пушкина и немногими собранными сведениями.

Едва только возник Лицей, едва устроилось в нем правильное преподавание (затрудняемое сначала неравенством в познаниях воспитанников***), как внешние политические события отвлекли от него внимание высшего правительства. Но гроза двенадцатого года плодотворно

* В «Списке чиновникам Императорского лицея, кои получили Всемиловнейшие награждения», в 1817 г., упомянуты еще: инженер-полковник барон Эльснер, учитель фехтования Вальвиль, учитель музыки капельмейстер Теппель де Фергюзон, учитель танцевания Эбергард, доктор Пешель (он был и придворным доктором) и эконом Роттаст. См. Сын Отеч. 1817, № 26, от 26-го июня, стр. 277. В памятной книжке Лицея на 1852—1853 год в списке служивших с 1811 года в разных должностях при Лицее (65—75), ко времени пребывания Пушкина относятся еще следующие лица: инспектор подполковник Ст. Ст. Фролов (с 1816 г.; прежде он был надзирателем, а в 1816 г. исправлял должность директора); надзиратели Март. Степ. Пилецкий-Урбанович (1811—13) и Вас. Вас. Чачков (1813—14); учителя латин., нем. и франц. словесности Ал. Яков. Ренненкампф (1812—1813), физико-математ. наук Вас. Мих. Архангельский (с 1815 г.), франц. языка Кар. Егор. Кюкюэль (1814—1815) и Ив. Ив. Трико (1816), немец. барон Ал. Фед. фон-дер-Остен Сакен (1817) и Вас. Андр. Эртель (1817); танцевания Гоар (1814—15) и Билье (1815—1816); гувернер Алексей Никол. Иконников (1811—12); помощники гувернеров Алексан. Павл. Зернов (1811—13), Фед. Фед. Селецкий-Дзюрдзь (1813—1814).

** В этих стихах говорилось о литературных собраниях бывших у Чирикова. Сообщено одним из позднейших лицеистов г-ном Унковским.

*** См. Гаевского, стр. 66.

подействовала и на молодых лицейстов. Она оживляла и питала в них высокое чувство патриотизма, и конечно в это время пробудилась в душе Пушкина его горячая любовь к родине.

Вы помните: текла за ратью рать;
Со старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...*

С каким чувством говорит пятнадцатилетний поэт о пожаре Москвы:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны,
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщение вам и жизни...
Вотще лишь гневом дух пылал**!

Блистательный конец Отечественной войны, кровавые славные битвы 1813 года, наконец взятие Парижа, все эти чудные события подымали дух народный, волновали всех и каждого. В 1814 году лицейсты были ближайшими свидетелями народного торжества. В 20-х числах июля Государь возвратился из-за границы. В Павловске устроен был праздник в честь гвардии. В Царском Селе воздвиглись триумфальные ворота***.

Вы помните, как ваш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред Ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен Он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните, как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он главный свой досуг****!

То было время всеобщего одушевления. Такое время, плодотворное для всех, пробуждает в отдельных лицах душевные силы, вызывает к деятельности при-

* См. сочин. Пушкина, т. IX, стр. 237. («Была пора: наш праздник молодой...», 1836 г.— *Сост.*)

** Там же, стр. 442 («Воспоминания в Царском Селе», 1814 г.— *Сост.*)

*** Эти празднества памятны многим очевидцам.

**** См. сочин. Пушкина, т. IX, стр. 237.

родою данные способности. Мы, не обинуясь, приписываем влиянию тогдашних славных событий быстрое развитие поэтического таланта Пушкина; конечно вместе с тем признавая, что влияние это не было единственным, что сему развитию способствовали и лицейское уединение, и счастливое дружество даровитых отроков, и поощрения просвещенных наставников. Муза, любившая Пушкина в младенчестве, не забыла его и в отрочестве.

Переходя к рассказу о поэтической деятельности Пушкина в Лицее, не можем отказать себе в удовольствии напомнить читателям те пленительные выражения, в которых сам он говорит о ней.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась. Муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны*.

В 1820 г. в Кишиневе писал он:

Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись;
Цевницы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звук меня обрадовал: и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявшие меня в младенческие леты,
В те дни, когда еще незнаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,
Я пеньем оглашал приют забав и лени
И Царскосельские хранительные сени**.

Или обращаясь к музе своей:

Младенчество прошло, как легкий сон...
Ты отрока беспечного любила.

* Евгений Онегин, первая строфа последн. главы.

** См. сочин. Пушкина, т. III, стр. 149, послание к Ч<аадаеву>

Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его такселько посетила*.

В одном из уцелевших отрывков его записок читаем: «Я начал писать с 13-летнего возраста**. Такое раннее начало отчасти становится для нас понятным, когда мы вспомним, что Пушкин, по свидетельству брата своего, будучи ребенком, проводил бессонные ночи в кабинете отца и тайком пожирал книги одну за другой***, что он необыкновенно рано начал развивать свои способности и рано усвоил себе известный запас сведений.

Как в Московском университетском пансионе около Жуковского образовалось дружеское литературное общество, так и в Лицее любовь к стихотворству,

Охота смертная на рифмах лепетать

собирали около Пушкина талантливых отроков. Но направление и судьба этих детских литературных обществ были различны. В Московском пансионе собрания молодых любителей словесности, под председательством Антонского и других наставников, наследственно продолжались в течение многих лет. В Лицее они скоро были остановлены затем, что стихи мешали лицеистам учиться. — Литературный лицейский кружок образовался очень рано, едва ли не тотчас по открытии Лицея. Главное участие и первенство конечно принадлежали Пушкину. Другими участниками были: Дельвиг, Илличевский, Корсаков, князь А. М. Горчаков, барон М. А. Корф, С. Г. Ломоносов, Д. Н. Маслов, П. Г. Ржевский, В. К. К<юхельбекер>, М. Л. Яковлев. Вместе с некоторыми другими товарищами они издумали издавать журналы, т. е. собирать свои произведения, переписывать, разрисовывать, переплетать и проч. Таких журналов было четыре. К сожалению, мы ничего не можем сказать о содержании их. Один журнал: Лицейский Мудрец, остался во Флоренции вместе с бумагами умершего там Николая Корсакова; остальные три: Для удовольствия и пользы, Неопытное перо и Пловец, в 1825 году были отданы брату

* Из одного неизданного стихотворения («Наперсники волшебной старины», 1822 г.— *Сост.*)

** См. Сочин. Пушкина, т. XI, стр. 225.

*** См. Москвит. 1853, № X, стр. 50. (Л. С. Пушкин. «Биографическое известие об А. С. Пушкине до 1826 года». — *Сост.*.)

одного из лицейцев и недоступны любопытству биографа*.

По преданию, за достоверность которого нельзя, впрочем, ручаться, первые русские стихи Пушкин написал к лучшему другу своего детства, к сестре. Стихи эти доселе ходят в рукописи³. Надо заметить, что родители Пушкина, поместив младшего сына своего в пансион Гауеншильда, переселились на житье в Петербург**. Пушкин, во все пребывание свое в Лицее, кажется, ни разу не ездил в Москву***. Вышеупомянутые стихи к сестре писаны из Лицея в Петербург. Они начинаются так:

Ты хочешь, друг бесценной,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой
И с лирою забвенной.

Далее поэт переносится мечтою из уединения своего под отчий кров.

Тайком вошел в диванну,
Хоть помощью пера,
О как тебя застаю,
Любезная сестра!
Чем сердце занимаешь
Вечернюю порой?
Жан Жака ли читаешь,
Жанлис ли пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
Смеешься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
Вдоль вест ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчитя величавый
С вершины гор поток?
Но вот уж я с тобой,
И в радости немой

* Все сии сведения заимствованы из статьи г. Гаевского, стр. 69—71. По преданию, был еще лицейский журнал Сверчок⁷.

** В последние годы пребывания Пушкина в Лицее и в первые по выпуске Сергей Львович с семейством жил на Фонтанке, у Каликина моста, в доме Клокачева, ныне сенатора Третьякова. (От П. А. Плетнева.) (Ныне Набережная Фонтанки, 185.— *Сост.*.)

*** На отъезд из Лицея, может быть кратковременный, в Петербург указывает начало одной его лицейской элегии:

Опять я ваш, о юные друзья!
Туманные сокрылись дни разлуки.

См. т. IX, стр. 314.

Твой друг расцвел душой,
 Как ясный вешний день.
 Забыты дни разлуки,
 Дни горести и скуки,
 Исчезла грусти тень!
 Но это лишь мечтанье!
 Увы! в монастыре,
 При бледном свеч сияньи,
 Один, пишу к сестре.
 Все тихо в мрачной келье,
 Защелка на дверях,
 Молчанье, враг веселья,
 И скука на часах.
 Стул ветхий, необитый
 И шаткая постель,
 Сосуд, водой налитый,
 Соломенна свирель:
 Вот все, что пред собою
 Я вижу пробужден.
 Фантазия! тобою
 Одной я награжден!
 Тобою пренесенный
 К волшебной Ипокрене
 И в келье я блажен!
 Что было бы со мною,
 Богиня, без тебя? и проч.

Это, вероятно, первые звуки Пушкинской поэзии. Вскоре и публика услышала гармоническое пение, раздавшееся в тиши лицейской. В первый раз стихи Пушкина появились в печати в 1814 году*, в лучшем повременном издании того времени, **Вестнике Европы**, коим заведывал тогда Владимир Васильевич Измайлов. Дельвиг предупредил друга своего: ода его на взятие Парижа появилась в июньской (12-й) книжке **Вестника Европы** 1814 года; в следующей книжке находим первое печатное стихотворение Пушкина. Оно называется: **К другу стихотворцу**. Пятнадцатилетний поэт, изображая перед Дельвигом опасности того поприща, на которое он выступил, между прочим говорит:

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет,
 И перьями скрыва, бумаги не жалеет.
 Хорошие стихи не так легко писать,
 Как Витгенштейну Французов побеждать.

* В 1813 году, в майской книжке **Вестника Европы** находим осмистишие На смерть Кутузова, с подписью А. Пушкин. Но оно принадлежит не нашему поэту, а двоюродному дяде его, переводчику Мольерова Гартюфа, Алексею Михайловичу Пушкину: так утверждает почтенный библиограф С. Д. Полторацкий. Раньше 1814 года мы не находим нигде печатных стихотворений Пушкина.

Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
 Певцы бессмертные, и честь и слава Россов,
 Питают здравый ум и вместе учат нас,
 Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
 Творенья громкие Рифматова, Графова,
 С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
 Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
 И Фебова на них проклятия печать.

Поэтов хвалят все, читают лишь журналы;
 Катится мимо их фортуны колесо;
 Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
 Камюэнс с нищими постелю разделяет;
 Костров на чердаке безвестно умирает,
 Руками чуждыми могиле предан он:
 Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Конечно, многие наши стихотворцы охотно подписали бы свое имя под такими стихами. В следующей книжке **Вестника Европы** напечатано было второе стихотворение Пушкина: **Кольна** (подражание Оссиану); далее в остальных книжках 1814 года находим еще три довольно слабые пиесы его: **Венере от Лансы** при посвящении ей зеркала, **Опытность**, **Блаженство**. Все эти стихотворения, под коими Пушкин подписывался разными псевдонимами, доселе не вошли в собрание его сочинений. В принадлежности их ему удостоверяет рукопись под названием: **Собрание лицейских стихотворений**. Часть I. Напечатанные пиесы. В этой рукописи, принадлежащей лицейскому товарищу Пушкина, барону М. А. Корфу и сообщенной им В. П. Гаевскому, находятся все вышеуказанные стихотворения*.

Талант молодого любимца богов зрел не по дням, а по часам. С каждым новым произведением заметно росла сила стиха, прелесть выражения, смелость мысли, одним словом, те качества, которые впоследствии сделались всегдашним, неотъемлемым его достоинством. Пушкин неудержимо предавался обаятельному искусству. Поэтические мечтания овладевали им совершенно.

Все волновало нежный ум:
 Цветущий луг, луны блистанье,
 В часовне ветхой бури шум,
 Старушки чудное преданье.
 Какой-то демон обладал
 Моими играми, досугом;

См. Гаевского, стр. 76.

За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.

Стихи грезилась ему во сне. Так, в Послании к Лицинию*, которое умышленно названо переводом с латинского, два следующие стиха:

Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая,

сочинены во сне**.

Послание к Лицинию относится уже к 1815 году. Год этот, конечно, был памятен Пушкину. С него начинается литературная известность и слава его, до того ограниченная тесным царскосельским кружком. В этом году под стихами его уже находим полное его имя. О нем заговорили...

4-го и 8-го чисел января в первый раз происходило в Лицее торжественное публичное испытание. Государь не мог удостоить его своего присутствия: Он был тогда в Вене. Тем не менее посетителей собралось множество. Несмотря на расстояние, друзья просвещенные и важные государственные лица нарочно приехали из Петербурга посмотреть вблизи на этот новый рассадник наук, столь любимый Его Величеством. Во время экзамена по предмету Русской словесности вызвали Пушкина, и он прочел перед многочисленным собранием свои Воспоминания в Царском Селе, во многих местах истинно-прекрасные***. Все слушатели почувствовали, что это не были обыкновенные, сочиненные на заданную тему стихи. Но, без сомнения, немногие внимали им с таким участием, как семидесятилетний Державин, почетным гос-

* См. сочин. Пушкина, т. III, стр. 117—120. Вышеприведенные стихи см. в Разговоре книгопродавца с поэтом.

** Сообщено П. А. Плетневым.

*** Воспоминания в Царском Селе, под коими Пушкин в первый раз подписал полное имя свое, напечатаны в 1815 году, в Российском Музее, прекрасном по тому времени журнале, которым заведывал В. В. Измайлов, передавший Вестник Европы прежнему его издателю М. Т. Каченовскому. Измайлов начал ими четвертый номер Музея, с следующим примечанием: «За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, которого талант так много обещает».

тем сидевший на экзамене. Он, конечно, не мог без сердечного волнения слушать эти гармонические строфы: в них говорилось о Екатерине, о прошлом веке, им воспетом, о нем самом. Растроганный, он поднялся с кресел и пошел обнимать молодого поэта... Но вот собственный рассказ Пушкина об этих незабвенных для него минутах: «Державин был очень стар. Он был в мундире и в плюсовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил: он сидел поджавши голову рукою; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож*. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в Русской словесности. Тут он оживился: глаза заблестали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои Воспоминания в Ц. С., стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина**, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»***

Сюда-то относятся слова Пушкина о музе своей:

И свет ее с улыбкой встретил.
Успех нас первый окрылил.
Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя благословил****

Или:

И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной*****.

* Портрет этот вместе с аспидною доскою, на которой Державин написал последние предсмертные стихи свои, находится в читальной зале Императорской Публичной Библиотеки. (Портрет работы А. А. Васильевского. 1815 г.— Сост.).

** Державин и Петров героям песнь бряцали.

*** См. сочин. Пушкина, т. XI, стр. 176—177.

**** Евгений Онегин, вторая строфа последней главы.

***** См. сочин. Пушкина, т. IX, стр. 329—330. («К Жуковскому», 1816 г.— Сост.).

Но шестнадцатилетний поэт привел в восхищение не одного Державина. Все дивились необыкновенному таланту. На большом обеде у министра народного просвещения графа Разумовского о нем шел общий говор. Все предсказывали будущую его славу. Хозяин, обратясь к Сергею Львовичу, который находился тут же, заметил между прочим: «Я бы желал однако ж образовать сына вашего к прозе». — «Оставьте его поэтом», — возразил с жаром Державин*.

Две заключительные строфы стихотворения, пробудившего такое всеобщее внимание, посвящены Жуковскому. Обращаясь к нему, Пушкин говорит:

О Скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй!
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,
Взгреми на арфе золотой,
Да снова стройный глас герою в честь прольется,
И струны трепетны посыпят огонь в сердца..

Предпоследний стих относится к стихотворению Жуковского, тогда только что появившемуся в Петербурге. 30-го декабря 1814 года А. И. Тургенев в Зимнем дворце читал Императрице Марии Федоровне, некоторым членам царского семейства и немногим их приближенным Послание к Императору Александру**.

В это время Жуковский проездом из деревни в Петербург жил в Москве. Приятель его Василий Львович Пушкин получил из Петербурга новое стихотворение племянника своего. Сохранилось любопытное предание, что в один день Жуковский пришел к друзьям своим и с радостным видом объявил, что из Петербурга присланы прекрасные стихи. Это были Воспоминания в Цар ком Селе. Он принес их с собою, читая вслух, останавливался на лучших местах и говорил: «Вот у нас настоящий поэт!»***

Жуковский видал Пушкина еще в Москве ребенком;

* Передано Сергеем Львовичем Бантышу-Каменскому; см. Словарь его, 1847 г., ч. 2-я, стр. 64—65.

** Об этом чтении сохранилось письмо самого Тургенева к Жуковскому. Послание к Императору Александру писано в селе Долбине (Тульск. губ., Лихвинского уезда), с 14 по 24-е ноября, как значится в собственноручной тетради Жуковского, названной им. Долбинские стихотворения. Оно было великолепно напечатано на счет Государыни Марии Федоровны, в 1815 году; следовательно, Пушкин знал о нем, когда оно было еще в рукописи.

*** Друзья Жуковского доселе помнят это чтение. Одним из слушающих был И. В. Киреевский, коему мы обязаны за сообщение этого любопытного сведения.

но настоящее знакомство их началось летом 1815 года. После неоднократных вызовов вдовствующей Государыни, в конце весны, Жуковский наконец приехал в Петербург и в течение лета и осени посещал Царское Село и Павловск, где читал Императрице стихи свои*. Надо заметить, что в это время он был наверху своей славы. Три издания Певца в стане Русских воинов раскупились в один год. Послание к Императору Александру было принято с восторгом, как выражение общих народных чувств. Друзья носили Жуковского на руках. Вдовствующая Государыня отменно ему благоволила. Тогда-то Пушкин написал к нему послание, коим спрашивал себе благословения у поэта на поэтическое служение.

Благослови, поэт! в тиши Парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб — и лира мой удел...

И ты, природою на песни обреченный,
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела?
Нет, нет! решился я без страха в трудный путь;
Отважной верою исполнилася грудь!**

Жуковский полюбил, как родного, вдохновенного юношу. Он тотчас оценил всю силу его таланта. По достоверному преданию***, 32-летний, уже славный и опытный поэт, выдаясь с Пушкиным, нарочно читал ему свои стихи, и если в следующие свидания Пушкин не вспоминал и не повторял их, он считал произведение свое слабым, уничтожал или поправлял его. Между ними рано начались самые нежные отношения. С нежным, отеческим участием Жуковский радовался блестящим успехам Пушкина, снисходил к его увлечениям, прощал его заносчи-

* Жуковский рассказывает об этом в письмах к друзьям своим.

** См. замечательное послание это, появившееся в печати уже по смерти Пушкина, в IX т. его сочинений, стр. 329—334. Оно писано, вероятно, в конце 1816 или в начале 1817 года; заключаем так по следующим стихам:

Смотрите! поражен враждебными стрелами,
С потухшим факелом, с недвижными крылами,
К вам Озерова дух взывает, други, месть!

Озеров скончался в октябре 1816 года.

*** Сообщенному П. А. Плетневым.

вость, берег его, заботился о нем. Сам Пушкин впоследствии называл его своим Ангелом-хранителем*.

В исходе 1815 года Государь окончательно возвратился из чужих краев, вторично побывав за Рейном, даровав снова мир Европе. Разумеется, лицеисты одни из первых увидели Его. Пушкин, так прекрасно Его назвавший грозным Ангелом**, приветствовал Его возвращение стихотворением, из коего считаем нужным привести следующий отрывок. Описывая недавно бывшие кровавые побоища, Пушкин говорит между прочим:

А я... вдали громов, в сени твоей надежной...
Я тихо расцветал беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за Тебя под градом вражьих стрел!..
Сыны Бородина, о Кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил;
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами не пал я пред Тобою,
И славы под крылом наутре не почил?
Почто великих дел свидетелем не был?***

Возвращения Государева ожидали приготовленные к печати восемь томов Истории Государства Российского. В первых числах февраля 1816 года Карамзин привез их в Петербург и поднес Государю. Кто из русских не

знает прекрасного посвящения, коим начинается первый том Истории Государства Российского? Карамзин читал друзьям своим это посвящение. Пушкин присутствовал при чтении, жадно внимал пленительным выражениям высоких, истинно патриотических чувств, запомнил все и, пришедши домой, записал от слова до слова, так что посвящение сделалось известно в лицейском кружке гораздо прежде, чем было напечатано*. Карамзин еще в Москве часто видел Пушкина, будучи приятелем отца его и дяди. Гениальный юноша не мог укрыться от его внимания. В этот приезд свой Карамзин, вероятно, познакомился с ним ближе и успел привлечь его к себе ласкою, одобрением и участием. Пушкин так говорит о том:

Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник, муж любимый
И бледной зависти предмет неколебимый,
Приветливым меня вниманьем ободрил**.

Но это была лишь минутная встреча. Скоро представился случай к сближению их. Карамзин уехал в марте в Москву, но с тем, чтобы возвратиться назад с семейством своим. Государь приказал отвести ему в Царском Селе дом на лето. Во второй половине мая он оставил Москву (уже навсегда, хотя и не предполагал того) и поселился в Царском Селе. Там, занимаясь продолжением Истории и печатанием первых ее томов, он приглашал к себе Пушкина, беседовал с ним, и Пушкин имел возможность слушать Историю Государства Российского из уст самого историографа. Впоследствии он писал к брату своему, прося прислать Библию: «Библия для христианина то же, что история для народа. Этою фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие истории Карамзина. При мне он ее и переменял***».

Пушкин горячо полюбил Николая Михайловича и супругу его, и сделался у них домашним человеком. Как и

* В неизданном письме к брату из Михайловского, 1824 года. (Письмо начала 20-х чисел ноября 1824 г.— *Сост.*).

** Вы слышали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого,
Всюду пролетал с победою,
Мир крещеный потопил в крови,
Не шадил и некрещеного,
И в ничтожество низверженный
Александром, грозным ангелом,
Жизнь проводит в унижении —
И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы Императором...

См. отрывок из поэмы: Бова, соч. Пушк., т. IX, стр. 250—251.

*** Стихотворение это: На возвращение Государя Императора из Парижа в 1815 году, не вошло в собрание сочинений Пушкина. Оно напечатано с полным именем Пушкина в Трудах Общ. Люб. Росс. Слов. при Москов. Унив. 1817 года, часть IX, стр. 25—28. В протоколе общества (часть VIII, стр. 193) сказано: «Это стихотворение Александра Пушкина, воспитанника Царскосельского лицея читано было в заседании 28-го апреля 1817 г. действ. членом Вас. Львов. Пушкиным».

* Этим сведением мы обязаны И. В. Киреевскому. Как известно, под посвящением Карамзин выставил: 8-е декабря 1815 года.

** См. сочин. Пушкина, т. IX, стр. 329.

*** Из неизданного письма к брату, писанного в Михайловском, от 7-го декабря 1824 года, и благосклонно сообщенного нам С. А. Соболевским. (Письмо это датировано 4 декабря.— *Сост.*) — См. также: Биографическое известие об А. С. Пушкине, написанное братом его. Москвитянин, 1853, № 10, стр. 51.

Жуковский, Карамзин любовался молодым поэтом, предостерегал, удерживал, берег его и после спас в одну из решительных минут его жизни.

Друг Карамзина, Иван Иванович Дмитриев, живший в Петербурге несколько лет в звании министра юстиции, также почтил своим вниманием Пушкина, который говорит о том в одном стихе своего послания к Жуковскому*.

И Дмитриев слабый дар с улыбкой похвалил.

Столь же рано узнал Пушкина и Батюшков, часто посещавший Сергея Львовича еще в Москве и находившийся в приятельских отношениях с Василием Львовичем. Во второй половине 1814 года он воротился в Петербург из-за границы; в это время Пушкин написал к нему послание, начинающееся так:

Философ резвый и принт,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых Аонид!
Почто на арфе златострунной
Умолкнул радости певец?***

Убеждая Батюшкова снова взяться за лиру, Пушкин говорит между прочим:

Поэт! в твоей предметы воле!
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань,
И грозну смерть на ратном поле.
И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как Росс, питомцем славы пал!
Ты пал, и хладною косою
Едва, скошенный, не увял!****

Послание, разумеется, дошло до Батюшкова. Он сам советовал Пушкину воспевать военные со-

* См. сочин. Пушкина, т. IX, стр. 329.

** См. сочин. Пушкина, т. IX, стр. 430—433. Послание это в первый раз было напечатано в 1 № Российского музея, и под ним выставлено 1... 14—16, т. е. А. Н. П., знаки часто встречающиеся под лицейскими стихотворениями Пушкина (цензурное дозволение этого номера Музея, 22-го декабря 1814 г.).

*** Это относится к тяжелой ране, полученной Батюшковым весной 1807 года, близ Гейльсберга, в сражении, которое выдержали русские войска с самим Наполеоном. Батюшков долго после того был болен. Некоторые думают, что именно эта рана потрясла весь организм его и впоследствии отчасти была причиною того печального положения, в котором ныне находится он.

бытия, о чем заключаем по следующим стихам из второго к нему послания Пушкина*.

А ты, певец забавы
И друг Пермских дев,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

К Батюшкову Пушкин сохранял неизменное уважение. Он любил особенно свое стихотворение Муза, потому что оно «отзывается стихами Батюшкова»**.

Так сближался Пушкин с лучшими нашими писателями. Они рано отгадали в нем силу гениальную и с радостным участием приняли в свой круг. В то время русская литература разделялась на два стана. Российская академия с председателем своим А. С. Шишковым, и Беседа любителей русского слова с Державиным, кн. Шаховским, Хвостовыми и проч., строго держась старых правил искусства, завещанных Лагарпом и Буало, чуждались нововведений, восставали на Карамзина и Жуковского, еще любили громозвучные и высокопарные оды, уже осмеянные остроумным автором Чужого Толка⁹, и усердно испещряли произведения свои славянскими словами и оборотами. Рассуждение о старом и новом слоге, соч. А. С. Шишкова (1803) Новый Стерн, комедия кн. Шаховского (1807) явно направлены были против Карамзина. Молодые последователи и поклонники сего последнего решились отвечать. В. Л. Пушкин защищался от академических нападок Шишкова. В 1812 году Д. В. Дашков был исключен из С.-Петербургского общества любителей словесности за насмешливый панегирик графу Д. И. Хвостову, торжественно прочтенный в заседании общества***. В 1815 году литературная брань возгорелась с новою силою. Кн. Шаховской написал и поставил на сцену комедию: Липецкие воды, в которой представил

* Оно не вошло в собрание сочинений Пушкина, напечатано в 6 № Российского музея (цензурное дозволение марта 29-го, 1815 г.) с подписью: Александр Икшп.

** Собственные слова Пушкина Н. Д. Иванчину-Писареву, см. Москвит. 1842, № 3, стр. 147.

*** Подлинный протокол Общества, речь Дашкова к подробности о исключении его хранятся в библиотеке С. Д. Полторацкого, столь богатой разнообразными материалами для истории новой Русской словесности.

в смешном виде Жуковского под именем унылого балладника Фиалкина. Это подало повод друзьям Жуковского образовать свой кружок и самим действовать. Возник знаменитый Арзамас*, немилосердно преследовавший насмешками, пародиями, похвальными речами и пр. Беседу и Академию. В Арзамасе тотчас приняли живое участие лучшие писатели, даровитые любители словесности, и назвались именами, взятыми из баллад Жуковского, секретаря Арзамаса.

О веселых собраниях нового литературного общества услышал в Москве страстный любитель всякого рода шуток, каламбуров и острот Василий Львович Пушкин; разумеется, он тотчас захотел принять в них участие, сам выбрал себе имя Вот (столь часто повторяемое в балладах) и в декабре 1815 года приехал в Петербург. Арзамасцы торжественно, с разными обрядами, приняли его и как старейшего между ними назвали старшиною или Старостою Арзамаса.

Мы сочли нужным упомянуть обо всем этом для того, чтобы читателям понятно было следующее письмо Пушкина к Василию Львовичу, как нельзя лучше изображающее отношения их, неизвестно почему называемые г. Гаевским далеко не дружественными**.

Тебе, о Нестор Арзамаса,
В боях воспитанный поэт,
Опасный для певцов сосед***
На страшной высоте Парнаса,
Защитник вкуса, грозный Вот!
Тебе, мой дядя, в новый год,
Веселья прежнего желанье,
И слабый сердца перевод —
В стихах и прозою посланье.

«В письме вашем вы называли меня братом; но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным.

* Первое заседание Арзамаса было 14-го окт. 1815 года¹⁰.

** См. Современ. 1853, февраль, в отделе критики, стр. 82.

*** Намек на известное стихотворение Василия Львовича: Опасный сосед. Пушкин называл воспетого Василием Львовичем Буянова, как произведение дяди, своим двоюродным братом; см. XXVI строфы 5-й главы Евг. Онегина, в исчислении гостей, приехавших на именины Татьяны:

Мой брат двоюродный Буянов,
В луку, в картузе с козырьком
(Как вам конечно он знаком).

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм бакхических шатаюсь на Пегасе:
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад...
Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мой и на Парнасе.

«Итак, любезнейший из всех дядей поэтов здешнего мира, можно ли мне надеяться, что вы простите девяти-месячную беременность пера ленивейшего из поэтов-племянников.

Да, каюсь я конечно перед вами:
Совсем не прав пустынный-рифмоплет;
Он в лености сравнится лишь с богами;
Он виноват и прозой и стихами:
Но старое забудьте в новый год.

«Кажется, что судьбою определены мне только два рода писем, обещательные и извинительные: первые, в начале годовой переписки, а последние при последнем ее издыхании. К тому же приметил я, что и все они состоят из двух посланий; это, мне кажется, непростительно.

Но вы, которые умели
Простыми песнями свирели
Красавиц наших воспевать,
И с гневной музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять,
И мучить бедного Ослова
Священным Феба языком,
И лоб угрюмый Шутовскова
Клеймить единственным стихом!
О вы, которые умели
Любить, обедать и писать —
Скажите искренно — ужели
Вы не умеете прощать?

«Напоминаю о себе моим незабвенным; не имею больше времени, но... надобно ли еще обещать? Простите, вы все, которых любит мое сердце и которые любите еще меня...

Шолье Андреевич* конечно
Меня забыл давным-давно,
Но я люблю его сердечно

* Шолье — французский автор. Если мы не ошибаемся, здесь говорится о князе П. А. Вяземском, с которым Пушкин сблизился, вероятно, в начале 1816 года, когда кн. Вяземский приезжал в Петербург вместе с Карамзиным. (В оригинале не Шолье, а Шапель; речь идет, конечно, о П. А. Вяземском.— Сост.)

За то, что любит он беспечно
И пить и петь свое вино,
И над всемирными глупцами
Своими резвыми стихами
Смеется, право, пресмешно*.

Как должен был радоваться Василий Львович, получив это послание. Вообще он искренно любил племянника и спешил печатать стихи его.

Поэтов грешный лик
Умножил я собою,
И я главою поник
Пред милою мечтою.
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал**.

Сам Пушкин, написавший в Лицее около ста стихотворений, лишь немногие из них отдавал в печать и только под двумя или тремя выставил вполне свое имя. Часто стихотворения его печатались без его воли и ведома, о чем сам полусхвывая говорил он в одном послании к Дельвигу.

Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлюют,
И плод уединенья
Тисненью предают —
Бумагу убивают,
Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Ах, сударь! мне сказали,
«Вы пишете стишки?
«Увидеть их нельзя ли?
«Вы в них изображали,
«Конечно, ручейки,
«Конечно, василечек,
«Иль тихий ветерочек
«И рощи и цветки...»***

Уже в то время он отличался в этом отношении скромностью, порукую истинного дарования, и тою совестливую

строгостью к самому себе, которой гордо держался до конца и которая не позволяла ему являться перед публикою иначе, как с произведениями вполне отделанными. Оттого большая часть его лицейских стихотворений появилась в печати уже по смерти его. Стихотворения эти разнообразны, как и самые случаи, их вызвавшие. В них часто рисуется перед нами жизнь разгульного, быстро созревшего юноши со всеми восторгами и увлечениями пылких страстей. Кроме лицейских товарищей, кроме знакомств литературных, у него был особенный кружок, в котором нередко проводил он свои досуги и который состоял отчасти из офицеров лейб-гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Один из сих последних был почти ежедневным собеседником его. Пушкина всюду любили за остроту, веселонравие, неистощимый запас шуток и всего более за стихи,— а ими он, можно сказать, бросал направо и налево. Иной стихотворец во всю жизнь не написал столько стихов, сколько Пушкин в шесть лет лицейской жизни. Сознав силу своего таланта, он решился не расточать его на произведения мелочные, и принялся за большой труд. Мы говорим о поэме Руслан и Людмила, которой первые песни писаны в Лицее*.

Понятно, что при таком направлении не могло быть порядка и больших успехов в учении формальном, в знании уроков и ответах на экзамене. Любопытны отзывы о нем профессоров. Кайданов в ведомости о дарованиях, прилежании и успехах воспитанников Лицея по части географии, всеобщей и Российской истории, с 1-го ноября 1812 по 1-е января 1814 отозвался о Пушкине в следующих выражениях: «При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям. В поведении резв, но менее противу прежнего». Профессор Куницын говорит о нем в ведомости почти за то же время: «Весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне не прилежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень не велики, особливо по части логики**». Наконец аттестат, выданный ему из Лицея, свидетельствовал об отличных

* На стенах лицейского карцера долго оставались некоторые стихи Руслана и Людмилы. Ф. П. Калиныч, учитель каллиграфии (он же и надзиратель), рассказывал, что однажды, вышедши из карцера, Пушкин говорил, что ему было там весело, что он писал стихи. (Собщено г-ном Унковским.)¹¹

** См. у Гаевского, стр. 67

* Послание это, писанное, вероятно, в декабре 1816 года, не вошло в собрание сочинений Пушкина, кроме 5 стихов, помещенных в IX томе (стр. 373) под названием: Дяде, назвавшему сочинителя братом. Мы нашли его в Сыне Отечества 1821 (часть 68, № XI, стр. 178—180; тогда журнал этот издавали Воейков и Греч), где оно было напечатано, конечно, без ведома Пушкина.

** См. сочин. Пушк. т. IX, стр. 352.

*** См. там же.

успехах его в фехтовании и танцевании и о посредственных в русском языке*.

Но если Пушкин ленился в классах, не выучивал уроков и в лицейских ведомостях всегда бывал в числе последних, то взамен того он предавался чтению со всем жаром гениальной любознательности. При своей необыкновенной памяти, быстроте понимания и соображения он быстро усваивал себе разнообразные познания. В лицейском стихотворении *Городок*, написанном в первой половине 1815 года**, он перечисляет любимых своих писателей.

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю,
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне мертвецы,
Парнасские жрецы,
Над полкою простою,
Под тонкою тафтою,
Со мной они живут,
Певцы красноречивы,
Прозанки шутивы,
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Из детства стал пнит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит.
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером,
Все вместе предстоят.
Питомцы юных граций —
С Державиним потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезной,
Позней прелестной
Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный.

* Аттестата мы не имели случая видеть, и заимствуем сведение сие из биографического известия, написанного Л. С. Пушкиным. См. *Москвит.* 1853, № 10, стр. 51. Пушкин был отменно ловок в танцах, в фехтовании, в играх, требовавших проворства и телесной гибкости, и проч.

** См. *Сочин. Пушк.* т. IX, стр. 410—425. *Городок* напечатан в 7 № *Российского Музея* (цензурное дозволение июня 22-го 1815 г.) несколько в ином виде и полнее противу сочинений. Под ним в *Музее* выставлено: 1... 17—14.

Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь — и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Воспитаны Амуром
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок,
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок).
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером исполном
Фон-Визин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный Аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах:
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу, и проч.

Вообще Пушкин может служить блестящим опровержением того мнения, которое полагает, что гению не нужны учение и труд. К счастью, ему открыты были в Лицее все средства для удовлетворения любознательности и страсти к чтению. Для лицейстов выпускались даже иностранные газеты. Но, сколько известно, Пушкин не любил этого рода чтение.

Он не пробыл в Лицее положенных шести лет. Зимой 1816 года в лицейском здании был пожар*, и необходимые по сему случаю перестройки, вероятно, ускорили первый выпуск лицейстов, назначенный в мае 1817 года. Но прежде чем говорить о выходе Пушкина из Лицея, следует упомянуть о товарищах, с которыми пришлось ему расставаться.

Разумеется, все, или по крайней мере большая часть товарищей любили Пушкина, ибо невозможно было не любить его, живя с ним вместе. Для многих из них он был кумиром. Но лучшим его другом был Дельвиг,

Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений**.

* Сообщено П. В. Нашокиным.

** См. *Сочин. Пушк.* т. IX, стр. 158. («Чем чаще празднует Лицей...» — *Сост.*).

Отсылая читателей к прекрасным статьям г-на Гаевского, в которых собраны о Дельвиге всевозможные подробности, мы заметим одно, что Дельвиг был для Пушкина тем же, чем для Карамзина А. А. Петров, для Жуковского Андр. И. Тургенев, для Батюшкова И. А. Петин. Любя Дельвига со всем пристрастием горячей дружбы, Пушкин думал видеть в нем те достоинства, которых желал самому себе. Этим объясняем мы себе его превеличенные похвалы.

Но я любил уже рукоплесканье,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши!*

Или, говоря о первых стихотворениях Дельвига: «В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял. Никто не приветствовал вдохновенного юношу, между тем как стихи одного из его товарищей, стихи посредственные, заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной отделки, в то же время были расхвалены и прославлены как некоторое чудо»**.

Некоторых товарищей Пушкин поминает в Лицейской годовщине своей 1825 года***.

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас прируют?³
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит...

Стихи эти относятся к Николаю Александровичу Корсакову, умершему во Флоренции в 1820 году****.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?

* См. там же, т. III, стр. 20 («19 октября», 1825 г.— Сост.)
** См. там же, т. XI, стр. 59—60. («Дельвиг родился в Москве».— Сост.)

*** См. там же, т. III, стр. 16—22.

**** О Корсакове см. у Гаевского, стр. 70.

Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуношных морей?
Счастливым путь! с лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Тут говорит Пушкин о Федоре Федоровиче Матюшкине (ныне контр-адмирале Балтийского флота), который в 1817 г. отправился в путешествие кругом света с знаменитым мореплавателем Вас. Мих. Головниным, на корабле «Камчатка»*.

В 9-й строфе той же Лицейской годовщины назван, как полагают, Иван Иванович Пушин; в 10-й князь Александр Михайлович Горчаков, ныне полномочный министр наш в Вене:

Ты, Горчаков, счастливцев с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.

Пушкин очень любил князя Горчакова, написал к нему два послания**. Наконец предпоследний стих 13-й строфы следует читать так:

Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было?

В настоящее время из товарищей Пушкина осталось только 12 человек: князь Александр Мих. Горчаков (окончивший учение первым), Дмитрий Николаевич Маслов (директор департамента разных податей и сборов), Сергей Григор. Ломоносов (полномочный министр наш в Гаге)***, барон Модест Андреевич Корф (член государственного совета и директор Императорской публичной

* См. Сын Отеч. 1817, ч. XXXII, стр. 223 стихотворение к Матюшкину, подписанное: Вильгельм. В примечании редактора говорится о путешествии Матюшкина.

** Одно (в день именин князя) напечатано в IX т. Сочин. Пушкина (стр. 267—268); другое, начинающееся стихами:

Питомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящих наблюдатель,

в Рауте на 1854 г.

*** К брату его, Николаю Григорьевичу, Пушкин написал в Лицее послание, напечатанное в 3-м № Российского Музея; отрывок из него под названием Путешественнику, начинающийся стихом Судьба за руль уже склонилась, вошел в собрание сочинений Пушкина, см. т. IX, стр. 389. («К Н. Г. Ломоносову». 1814 г.— Сост.).

библиотеки), Сергей Дмитриевич Комовский (помощник статс-секретаря государствен. совета), Александр Алексеевич Корнилов (сенатор), Александр Павлович Бакунин (Тверской гражданск. губернатор), Иван Васильевич Малиновский (сын директора, ныне отставной полковник), Федор Федорович Матюшкин, Михаил Лукьянович Яковлев, Константин Карлович Данзас (полковник при генерал-кригс-комиссаре), Павел Николаевич Мясоедов и граф Сильверий Броглио (сын эмигранта, с восстановлением Бурбонов еще из Лицея уехавший во Францию, сделавшийся пером и сохранивший любовь к России)*.

Здесь место напомнить читателям лицейские стихи Пушкина, в которых прекрасно выражается нежная привязанность его к Лицею и товарищам и которые написаны одному из них в альбом**:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Весильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

В половине мая 1817 года начались в Лицее выпускные экзамены. Они происходили в течение 15 дней, при

* Всех товарищей Пушкина, как сказано выше, было 29 человек; окончил курс 28, ибо один был исключен. Мы назвали 12 человек, еще живущих; назовем остальных уже умерших: Николай Александр. Корсаков, Федор Христианович Стевен († 1851), Николай Александр. Корсаков, Федор Христианович Стевен († 1851), Владимир Дмитриевич Вальховский, Семен Семенович Есаков († 1834), Петр Федорович Саврасов, Алексей Демьянович Илличевский (стихи к нему Пушкина см. в IX т., стр. 393), Павел Михайлович Юдин, барон Антон Антонович Дельвиг, Константин Дмитриевич Костенский, Аркадий Иванович Мартынов, Николай Григорьевич Ржевский, Александр Дмитриевич Тьрков и еще двое.

** Упомянутому в 13 строфе Лицейской годовщины 1825 года.— Приведенные стихи см. в IX т., стр. 391 («В Альбом Пушкину», 1817 г.— Сост.).

многочисленной публике. Посетителям предоставлено было задавать лицеистам вопросы, что дало повод к занимательным ответам и прениям*. На экзамене из Русской словесности Пушкин читал сочиненное им на этот случай довольно слабое стихотворение Безверие: в нем говорится о сострадании, которое должно иметь к неверующему**. Ответы его не были удовлетворительны. Он выпущен был 19-м, с чином X класса или гвардии офицера.

Мая 19-го, на имя исправлявшего должность министра народного просвещения князя А. Н. Голицына, последовал указ, в котором сказано, что хотя лицеисты собственно назначаются для гражданской службы, но как между ними некоторые могут иметь склонность к военной, то таким предоставляется поступать офицерами в гвардию, по выучению фронтовой службы***. Еще прежде было обращено внимание на военную часть, и с 1816 года инженер-полковник барон Федор Богданович Эльснер преподавал лицеистам военные науки****.

9-го июня происходил в Лицее торжественный акт, удостоенный Высочайшего присутствия. Когда окончились обычные чтения, князь А. Н. Голицын поочередно представил Его Величеству выпускаемых воспитанников. Государь говорил с ними*****, напоминал им обязанности их, и в знак своего благоволения приказал выдавать поступающим в гражданскую службу, до получе-

* См. Allgemeine Zeitung 1817 года, Beilage: № 106, стр. 426. Известие об экзаменах и об акте сообщено было в эту газету директором Лицея («Всеобщая газета». Приложение — нем.— Сост.).

** См. Сочин. Пушк. т. IX, стр. 426—429; в первый раз было напечатано с полною подписью Пушкина в Трудах Общ. Люб. Р. С. при Моск. Унив. 1817, ч. X, стр. 58—61.

*** См. Полное собрание законов, № 26, 875. Из 29 лицеистов в военную службу поступили 12 (см. Гаевского, стр. 85).

**** См. Памятную книжку Лицея на 1852—1853 год, стр. 67.

***** Der Kaiser sprach zu den Junglingen Worte der niebe und des innigen väterlichen Gefülies; er ermalinte sie, nie von der Bolin der Yugend und der bechtschaffenheit zu Weichen, wenn sie glücklich sein wollten, und ihre Pflichten gegen das Vaterland stets als Pflichten gegen Gott anzusehen.

См. Allgem. Zeitung (Государь обратился к молодым людям со словами, проникнутыми искренними отеческими чувствами; он призывал их никогда не сходить с пути, избранного в юности и сохранять порядочность, если они хотят быть счастливыми и всегда рассматривать свои обязанности по отношению к родине, как долг перед Богом) (нем.).

ния штатных мест, денежное вспоможение из государственного казначейства*.

В заключение акта пролета была прощальная песнь воспитанников, сочиненная Дельвигом. Директор Лицея, Егор Антонович Энгельгардт (который занял эту должность только с 1816 г. и к которому все лицеисты питали уважение и любовь**), поручил было написать эту песнь Пушкину, но он не согласился. Написанное им стихотворение К товарищам перед выпуском*** не могло быть пропето на акте. Конечно, немногие из лицейстов оставляли место своего воспитания с таким чувством, как Пушкин, и никто так прекрасно не поминал его:

Благослови, ликующая Муза,
Благослови! да здравствует лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу
Всем честью, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зля, за благо воздадим.

Или:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Не колебим, свободен и беспечен
Срастался он над сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село****

Имя Пушкина доселе особенно дорого и любезно всякому лицеисту. Память его свято хранится в Лицее. Около 1835 года в малом лицейском саду (что примыкал к зданию с левой руки, если стоять против фасада), лицеисты

* Описание акта с исчислением наград профессорам и чиновникам находится в 26-м № Сына Отечества 1817 года (ч. XXXVIII, стр. 273—277). Вопреки г. Гаевскому (стр. 86), в Сыне Отечества акт описан гораздо подробнее, нежели в Allgemeine Zeitung.— Денежное вспоможение состояло из 800 р. титулярным советникам и 700 р. коллежским секретарям. Мы не знаем, получил ли их Пушкин, принадлежавший ко второму разряду

** По свидетельству г. Гаевского (стр. 72) Пушкин вместе с Дельвигом ходил к нему на дом для чтения немецких книг.

*** См. Сочин. Пушк., т. IX, стр. 397—398.

**** См. там же, т. III, стр. 16—22 («19 октября», 1825 г — Сост.)

поставили небольшую мраморную пирамиду, на одной стороне которой было написано: *Genio loci*, а на другой: *Septimus cirsus egehit**.

Глава 3. 1817—1820

В предыдущих главах представлены возможно полные сведения о днях младенчества и о лицейской жизни Пушкина. Мы остановились на половине 1817 года, на выходе его из Лицея. Если спросят, каков же был Пушкин в эту пору, какие свойства и какой характер имел он, переходя к жизни самостоятельной, то нам должно будет уклониться от окончательных определений и решительных приговоров и, однажды навсегда напомнив читателю заглавие нашего труда, отослать за ответом на этот и другие вопросы ко всему предыдущему изложению. Здесь переданы только материалы для биографии, отнюдь не настоящая биография, для нас, по крайней мере, доселе невозможная.

Но, уклоняясь от оценки и суждений решительных, не можем не назвать Пушкина, как поэта, счастливым любимцем судьбы. В самом деле, ничто не мешало, напротив, все благоприятствовало поэтическому его развитию. Он родился посреди людей, которые вместе с первыми впечатлениями передали ему любовь к прекрасному, страсть к словесности и к просвещению во всех родах. В Лицее был полный простор для усовершенствования талантов. Вообще Пушкин имел возможность удовлетворять своей любознательности и страсти к чтению. Знавшие его уже в то время удивлялись его начитанности. Все лучшие произведения словесности, и преимущественно французской, вся анекдотическая часть истории, были ему знакомы в подробностях, и про него можно сказать, как про Онегина, что

...дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Страсть к чтению и богатый запас разнородных сведений спасли Пушкина от пустоты, от того, что можно назвать литературною болтовнею, и на самых первых порах сообщили положительность и убеждающую силу его произведениям. С другой стороны, первоначальные его опыты обратили на него общее внимание еще в сте-

* Гению, покровителю здешних мест... седьмой курс воздвигнул (лат.). Сообщено г. Унковским. Когда Лицей переведен был в С.-Петербург в 1843 году, лицеисты разделили между собою мраморные куски этой пирамиды.

нах училища и заслужили лестное для самолюбия одобрение лучших представителей нашей словесности. Это самое, вместе с чувством чести, развитию которого так сильно содействовало внутреннее устройство Лицея, рано пробудило в Пушкине сознание сил своих, столь спасительное при начале всякого поприща.

На 19-м году жизни Пушкин окончил учение в Царско-сельском Лицее. В трогательных выражениях распростился он с местом, которое так дорого было его сердцу. В самый день выпуска, 9-го июня 1817 года, пишет он стихотворение **Разлука** и, обращаясь к одному из товарищей¹, говорит между прочим:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.

В первом из этих стихов заключается биографическое указание. Некоторое время Пушкин сильно был занят мыслью о поступлении в военную службу. Не задолго пред тем появившийся Высочайший Указ предоставлял лицеистам лестное для них право определяться прямо в гвардию офицерами. Это восхитило не одного Пушкина: 12 человек его товарищей тотчас же избрали военное поприще. Жизнь военная представлялась молодому поэту в самом привлекательном виде. Уже давно он познакомился с нею в кругу квартировавших в Царском Селе офицеров. По всему вероятию, особенно поддерживала его в этом намерении дружба с поручиком лейб-гусарского полка Петром Яковлевичем Чаадаевым. Мы еще будем иметь случай подробнее говорить о его сношениях с этим человеком; здесь заметим только, что на примере друга своего он мог видеть, что военная служба не препятствовала несколько занятиям умственным и литературным, к которым он уже успел получить навык и с которыми тяжело было бы ему расстаться. Пушкину именно хотелось поступить в лейб-гусары. Один из знакомых генералов обещал ему свое содействие*. Затруднение относительно фронтальной службы, предварительное знание которой требовалось от офицера гвардии, для Пушкина не существовало: он хорошо ездил на лошади, мастерски фехтовал, будучи ловок и гибок во всех движениях. Восхищен-

* См. Послание к О<рлову>.

ный мыслью соединить поприще поэта с военным, он уже писал к дяде Василию Львовичу:

Счастлив, кто мил и страшен миру,
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славит Марса и Темиру,
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла².

Под этими же впечатлениями написано и шутивное послание к Галичу*.

Впрочем, мысль о военной службе была у Пушкина плодом временного увлечения. Он смотрел на будущее служебное поприще свое с беспечностью поэта. В стихах к товарищам перед выпуском он даже подсмеивается над заботами друзей своих относительно службы.

Но ему не удалось надеть военного мундира. Свидание с отцом расстроило его планы. Сергей Львович напрямик объявил, что он не в состоянии содержать сына в гусарском полку; впрочем, он позволял ему определиться в один из пехотных полков гвардии: молодому Пушкину того не хотелось**.

Все толки об этом происходили, вероятно, еще в Лицее, потому что через 4 дня по выходе оттуда Пушкин уже записался в министерство иностранных дел, с чином

* Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я — питомец важных муз
В числе воюющих корнетов!
Равны мне писаря, уланы,
Равны мне каски, кивера;
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора.
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте пестрый мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак;
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет***.

** См. «Материалы» Анненкова, с. 42. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, 1855.— Сост.

*** Первые 5 стихов из «Послания к Галичу», 1815 г.; следующие 13 — из стих. «Товарищам», 1817 г.— Сост.

коллежского секретаря, что должно было вполне соответствовать его склонностям, ибо служба эта, в то время почти номинальная, предоставляла много досуга*.

Лицейская жизнь сменилась для Пушкина жизнью в семье. Отец его, подобно многим другим москвичам, после разорения Москвы французами, не поселился в ней снова. К тому же, в эту пору младший его сын находился в лицейском Благородном пансионе. Это обстоятельство, равно как и совершеннолетие дочери, звали его в Петербург. Еще в 1814 году оставив кратковременную комиссариатскую службу свою в Варшаве, он переселился в Петербург на постоянное жительство, между тем как холостяк брат его, Василий Львович, оставался верен Москве. Но так как лицеистам не дозволялось оставлять Царского Села, то молодой Пушкин мог видаться со своими на короткое время, когда они приезжали навещать его. Не ранее, как по выпуске из Лицея, снова вступил он в семейный круг, за 6 лет до того им оставленный. В то время семья его состояла из отца, матери, старшей сестры, друга его детства, и брата Льва, который около 1817 года был переведен из лицейского пансиона в Петербург в Благородный пансион, состоявший при Педагогическом Институте. Тогда еще была в живых любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал, которая имела такое поэтическое на него влияние в лета младенчества. Любопытно было бы знать отношения к ней 18-летнего Пушкина. Но нам неизвестно наверное, жила ли она в то время в Петербурге. Знаем только, что около 1818 года она скончалась в деревне своей дочери, в Михайловском.

Михайловское, расстоянием почти на 400 верст от Петербурга, находится в Псковской губернии, в Опочковском уезде, в 20 верстах от города **Новоржева**³.

Туда отправились Пушкины на лето 1817 года всею семьею. Они ехали по большой дороге на город Лугу, о чем упоминал Александр Сергеевич к кому-то в письме, в котором, вероятно, описывал это путешествие и от которого сохранились в памяти одного из друзей его следующие забавные стихи:

* См. Дневник Чиновника С. П. Жихарева в Отеч. Записках 1855, № 5, стр. 165 и проч. На службе своей Пушкин получал жалованья по 700 руб. в год.

Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

О Михайловском мы будем иметь случай говорить подробно впоследствии. Здесь следует заметить, что оно принадлежало к числу многих поместий, которыми Петр Великий и Елисавета Петровна одарили любимца своего Ибрагима Ганнибала⁴. После него Михайловское досталось меньшому его сыну, Осипу Абрамовичу, а по смерти сего последнего перешло к матери поэта, Надежде Осиповне. В 1817 году деревня эта состояла из нескольких крестьянских дворов и барской усадьбы с небольшим домом, садом и лесами. Пушкину, который тогда впервые посетил этот уголок, ныне прославленный его именем, все должно было напоминать там о его Африканском происхождении. Не прошло еще и десяти лет, как в Михайловском умер его дед, осужденный императрицею Екатериною на изгнание в эту деревню за незаконный развод с женою. Еще живы были предания о его странном характере⁵. Может быть, сохранялись там старые книги и бумаги самого Ибрагима, до конца дней занимавшегося науками*. Кругом Михайловского разбросаны поместья других многочисленных потомков Арапа Ганнибала, которых должен был посетить молодой их родственник. Еще был в живых последний из его сыновей Петр Абрамович, чернокожий старик с седыми волосами (один из друзей поэта видел портрет Петра Абрамовича у кого-то из Пушкиных). О нем, конечно, писал Пушкин, составляя в 1824 году Записки свои, от которых уцелел, между прочим, следующий любопытный отрывок: «...попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он ее и мне поднести; я не поморщился — и тем казалось чрезвычайно одолжил старого Арапа. Через чет-

* См. Записки Болотова, в Отеч. Записках 1850 г., т. III, стр. 61, под 1753 годом: дядя Болотова учился наукам у Ганнибала. См. также в Москвитянине 1854 г. №№ 3-й и 4-й, статью г. Терещенко об Астрахани, стр. 148, где говорится об одном рукописном лечебнике, принадлежавшем Ганнибалу. Пушкин намеревался описать жизнь своего прадеда, о чем сам говорит в одном большом примечании к 1-й главе Онегина. Рассказы о нем он передавал Бантышу-Каменскому (см. его Словарь, изд. 1836 г.). Изустные предания и письменные материалы для биографии Ганнибала Пушкин мог найти по преимуществу в Михайловском.

верть часа он опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть до обеда...»*

В Михайловском же Пушкин, вероятно, свиделся и с доброй нянею своей, Ариной Родионовной.

Гораздо позднее в следующих стихах вспоминал Пушкин это первое посещение Михайловского:

...В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я! когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был
Веселым юношей. Беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни⁶.

Сначала молодой поэт очень обрадовался деревне. Ему новы были ее удовольствия. «Вышед из Лицея,— говорит он в другом отрывке Записок своих,— я тотчас почти уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, Русской бане, клубнике и пр., но все это нравилось мне не надолго. Я любил и донныне люблю шум и толпу»**.

Жажда новых ощущений, впечатлений более сильных, столь понятная в 18-летнем поэте, звала его в Петербург, куда Пушкины и возвратились в октябре 1817 года***.

Александр Сергеевич начал жизнь самостоятельную и более или менее независимую.

Прежде всего останавливают наше внимание его сношения с теми писателями и любителями словесности, которые составляли знаменитое общество Арзамаса. Большая часть их издавна были на приятельской ноге с семейством Пушкиных, и мы уже знаем, как еще в Лицее они любовались талантом молодого поэта. Особенно ласкали и любили его Карамзин, Жуковский и А. И. Тургенев. Известно, с каким участием следил за его успехами бесмертный историограф, как ласково принимал его в своей семье, как удостоивал 16-летнего школьника продолжительных бесед, читал ему страницы труда своего, даже спрашивал мнения, выслушивал и опровергал порою заносчивые и резкие отзывы его. А. И. Тургенев до

* См. в «Материалах» Анненкова, стр. 43.

** См. там же.

*** См. статью П. А. Плетнева: Александр Сергеевич Пушкин, во 2-й книжке Современника 1838 года, стр. 25, где именно указан октябрь месяц (Пушкин выехал из Михайловского в конце августа.— Сост.).

конца оставался с Пушкиным в самых приятных отношениях и часто с ним переписывался*. Может быть, еще более нежного внимания и сердечного участия оказывал ему Жуковский. Он подарил Пушкину свои стихотворения, и уже тогда судил о достоинстве собственных стихов, поскольку они запечатлевались в памяти гениального мальчика. Можно сказать положительно, что такое сближение действовало могущественно на Пушкина и открывало его талант. Сознвая это, Пушкин сохранил к Жуковскому неизменную привязанность и благодарность. Еще в Лицее он отмечает в своих Записках особенно памятное для себя событие: **Жуковский дарит мне свои стихотворения****. Ту же признательность выразил он в послании к Жуковскому, начинающемся так:

Благослови, поэт! в тиши Парнасской сени
Я с трепетом склонил пред Музами колени.

Послание написано в начале 1817 года. Из него можно заключать, что общество Арзамасское тогда уже выбрало Пушкина в сочлены свои. Его называли Сверчком***, ибо, по выражению одного из Арзамасцев, «в некотором отделении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос».

Избрание это должно было льстить самолюбию Пушкина. Как сильно занимала его литературная распря, вследствие которой возник Арзамас, видно из упомянутого послания к Жуковскому. Еще гораздо прежде он с лю-

* См. Современник 1842, № 1, стр. 5, Хронику Русского в Париже: Тургенев говорит об одном письме к нему Пушкина из Бессарабии от 21-го августа 1821 года: «Письмо Пушкина не велико, но ноготок остер».

** См. «Материалы» г. Анненкова, стр. 22. Отметка писана до 8-го ноября 1815 года; а стихотворения Жуковского (2 тома in 4°, первое редкое издание) дозволены к напечатанию цензором И. Тимковским.

*** Имена Арзамасцев заимствованы из баллад Жуковского, так как месть за Жуковского была одною из первоначальных целей общества; оттого имена Арзамасцев: Кассандра, Ахилл, Громобой, Эолова арфа, Ивиковы Журавли, Чу!, Вот, Асмодей, Старушка, Рейн и пр. Слово Сверчок взято из 5 строфы Светланы:

С треском пыхнул огонек,
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.

бопытством следил за этим новым движением в словесности. В Лицейских Записках его, 1815 года, находим отметку: «8-го ноября. Ш-ов и г-жа Б-на (Шишков и Бунина) увенчали недавно кн. Шаховского лавровым венком...»⁷ Это было вскоре после представления **Липецких вод**, комедии кн. Шаховского, в которой литературные противники Жуковского видели свое торжество. Весть о городских событиях, видно, скоро перелетела в Царское Село. Вслед за этою пометою лицеист заносит в свой журнал сатирические стихи на кн. Шаховского, которые г. Анненков неверно приписывает самому Пушкину. Стихи эти, сочиненные сообща Арзамасцами, тогда ходили по городу. Но тут же 16-летний Пушкин излагает собственное мнение о Шаховском, поразительное по беспристрастию, столь редкому и не в таком возрасте.

«Мои мысли о Шаховском:

«Шах<овской> никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец. Шах<овской> не имеет большого вкуса; он худой писатель. Что же он такой? Неглупой человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах, пришел домой, все записывает и потом, как ни попало, вклеивает в свои комедии»*.

Вот когда еще обращалась в уме Пушкина мысль о труде и усовершенствовании таланта!

Возвратимся к Арзамасу.

Пушкин, к сожалению, успел один только раз принять участие в заседаниях этого полшутливого, но вполне литературного общества. То было, если не ошибаемся, в последних числах сентября, либо в начале октября 1817 года. По обычаю, новый член Арзамаса произносил вступительную речь. Протоколы заседаний ведены были (и нередко в стихах) секретарем общества Светланой, и если уцелели эти драгоценные образцы остроумия и веселости, то там, конечно, упомянуто о речи, которую произнес Пушкин превосходными Александрийскими стихами. В памяти слушателей доселе свежо сохраняется начало ее:

Венец желаньям! И так я вижу вас,
О други смелых Муз, о дивный Арзамас!

.....

Где славил наш Тиртей... и Александра*,
Где смерть Захарову пророчила Кассандра.

Для объяснения последнего стиха нужно сказать, что общество, по примеру Французской Академии, постановило произносить похвальные слова умершим членам; но так как в Арзамасе не было покойников и все члены его были **бессмертны**, то положили брать умерших напрокат из Беседы Любителей Российского Слова и Российской Академии. Легко представить, к каким неистощимым шуткам давало это повод. Особенно памятно было похвальное слово, произнесенное Арзамасцем Кассандрой Беседнику Захарову, весьма посредственному писателю того времени; и как нарочно случилось, что несколько дней спустя бедный Захаров в самом деле скончался.

В другом месте своей речи, рисуя портрет Арзамасца, Пушкин говорит про него, что он

...в беспечном колпаке,

С гремушкой, лаврами и с розгами в руке.

Этими немногими словами очерчены характер и направление Арзамасского общества.

Но оно, к сожалению, и может быть к несчастью Пушкина, скоро рассеялось. То собрание его, в котором молодой поэт произнес Александрийские стихи свои, было последнее, по крайней мере в Петербурге. Члены Арзамаса и именно наиболее содействовавшие к оживлению заседаний, отозваны были из столицы разными обязанностями. Д. В. Дашков отправился в Константинополь. Д. Н. (граф) Блудов в Лондон, оба по дипломатической службе, Жуковский и А. И. Тургенев уехали в Москву, куда в то время переселился Двор.

Обстоятельство это, если не ошибаемся, имело влияние на судьбу Пушкина. Ближайшее знакомство, дружба и нравственное влияние членов Арзамаса, конечно, спасли бы его от увлечений, которым в скором времени он предался необузданно и которые не раз потом отзывались мучительными стонами раскаяния.

Между тем служба, какова бы она ни была, в мини-

* Послание Певца во стане Русских воинов к императору Александру I было тогда предметом литературных толков. (Пропущено слово «кисель» — имеются в виду стихотворения В. А. Жуковского «Овсяный кисель» и «Императору Александру». Под Кассандрой подразумевается Д. Н. Блудов.— Сост.)

* См. «Материалы» г. Анненкова, стр. 23.

стерстве иностранных дел, а всего более родственные и общественные связи отца открывали молодому Пушкину вход в лучшие кружки большого света. Сюда относятся родственные отношения и знакомство его с графами Бутурлиными и Воронцовыми, с князьями Трубецкими, графами Лаваль, Сушковыми и проч. Так, известно по преданию, что в эту пору своей жизни Пушкин появлялся на блестящих вечерах и балах у графа Лавалья. Супруга сего последнего, любительница словесности и всего изящного, с удовольствием видала у себя молодого поэта, который, однако, и в то время уже тщательно скрывал в большом обществе свою литературную известность и не хотел ничем отличаться от обыкновенных светских людей, страстно любя танцы и балы. Так, знаем мы еще, что во второй половине 1817 года он нередко посещал одну знатную даму, которая привлекала его внимание странным образом жизни и занятий своих, стремительностью характера и мечтательностью. Карамзин писал о нем в это время к одному приятелю, уехавшему в Москву: «Пушкин влюблен в Пифию (так называлась в обществе эта дама); он перед нею прыгает, коверкается, но, к сожалению, не пишет ей стихов»⁸. Пушкин страстно любил некоторое время бальные вечера, описанию которых посвящено у него несколько строф в первой главе Онегина, где между прочим читаем:

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума;
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.

Впрочем, большой свет скоро наскучил поэту, как сам он говорит в Послании к лицейскому товарищу князю Г<орчакову>, которое весьма замечательно и в историческом отношении, ибо в нем живо изображена картина тогдашнего большого света:

И признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую сильнее,
И где мы все прекрасного друзья;
Чем вялое, бездумное собранье,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены*.

* Послание это не вошло в собрание сочинений Пушкина. С весьма забавными искажениями оно напечатано в Рауте г. Сушкова, кн. III, М., 1854, стр. 248—9.

Пушкин не замедлил пристать к этой «семье молодых повес». В течение полугода с ненасытностью африканской природы своей предавался он пылу страстей. Это время его жизни вполне объясняется свойствами его впечатлительной души. Но, конечно, большое влияние имело на него направление эпохи. Может быть, никогда на Руси не были в таком ходу шумные сборища, заносчивые речи. Молодежь, побывавшая во Франции, свидетельница и участница русской славы и недавних побед, как бы охмелела от радости. В начале 8-й главы Онегина, в тех строфах, которые можно назвать поэтической автобиографией Пушкина, так описывается то время:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары,
И как Вакханочка ревилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
И я гордился меж друзей
Подругой ветренной моей.

Много было тогда друзей у Пушкина. К большей части их отнес он впоследствии 19-ю строфу в четвертой главе Онегина и известное четверостишие:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольной разговор,
Обмен тщеславия, безделья,
Иль покровительства позор!

Немногие из тогдашних приятелей Пушкина постигнули его и, умев привязать к себе, остались любезны его сердцу. Сюда принадлежат в особенности офицеры гвардии Павел Петрович Каверин, воспитанник Геттингенского университета, бывший адъютант Бенигсена и участник последних войн, подружившийся с Пушкиным еще в Царском Селе, и Николай Иванович Кривцов, славный своими ранами и пленом в Москве, где он лежал вместе с больными французами коим после спас жизнь, человек, душевные качества которого будут достаточно описаны, если скажем, что он был дружен с Карамзиным и вел с ним постоянную переписку; далее офицер

генерального штаба Михаил Андреевич **Щербинин**, потом Василий Васильевич **Энгельгардт**, известный в Петербурге своею открытою жизнью, и богатые холостяки братья Александр и Никита Всеволодовичи **Всеволожские**, собиравшие у себя в доме веселое общество, которое называлось Зеленою лампою, и др. Имел их Пушкин увековечил своими посланиями*. К последнему он писал из Бессарабии:

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, золотая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?
В изгнании скучном каждый час,
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас.
Вот он, приют гостеприимный...

.....
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр и шуток, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы!
Желай мне здравия, Калмык!**

* К Каверину Пушкин написал послание в 1817 году: **Забудь, любезный мой Каверин**, и пр.; о нем же говорится в XVI-й строфе I-й главы Онегина. К Кривцову написано два послания, первое в 1818 г., когда Кривцов уезжал в Англию, и Пушкин посылал ему на дорогу какую-то поэму Вольтера, — **Когда сожмешь ты снова руку**, и пр.; другое в 1819 г.: **Не пугай нас, милый друг** и пр. Щербинину в 1818 г. написано в Альбом стихотворение: **Житье тому, любезный друг**, и пр. К Энгельгардту в 1818 г. послание: **Я ускользнул от Эскулапа** и пр., к одному из Всеволожских в 1819 г. при отъезде его в Москву: **Прости, счастливый сын пиров**, и пр.

** Послание напечатано в «Материалах» г. Анненкова, стр. 187. Намек, заключающийся в последнем стихе, для нас непонятен. В письме к брату, из Кишинева, от 27-го июня 1822 г., Пушкин поручает ему повидаться с Всеволожским и **пожелать здравия Калмыку**. (Послание адресовано не Н. В. Всеволожскому, а Я. Н. Толстому, одному из основателей и главных участников общества «Зеленая лампа» — в письме к нему Пушкина 26 сентября 1822 г. Не завершено. Вторая часть цитаты — из чернового текста. — Сост.)

Как ни крепка была физическая организация Пушкина, но она не вынесла беспорядочной жизни. В начале следующего, 1818 года он отчаянно занемог. Сам он упоминает об этой болезни в своих Записках:

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкою. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии; но через 6 недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хоть это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна мне так надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всей поэтической своей прелестью. Это было в феврале 1818 года. Первые 8 томов Русской истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в своей постели с жадностью и со вниманием»⁹.

Крепкое сложение и молодость возвратили Пушкина к жизни. Однако необходимо было употребить меры чрезвычайные для его излечения. Придворный медик Лейтон сажал больного в ванну со льдом.

Одно из дружеских посещений, о которых упоминает Пушкин, описано еще при его жизни знакомцем его, Василием Андреевичем Эртелем, известным составителем французско-русского словаря и других учебных книг. Эртель был приятель Баратынского и Дельвига. Сей последний привел его к Пушкину весною 1818 года, когда поэт уже выздоравливал. Пушкины жили тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста, в небольшом каменном доме о 2-х этажах, принадлежавшем г. Клокачеву (после сенатору Трофимову). Поэт занимал небольшую комнату в бельэтаже. В одно утро навестили его Дельвиг, Баратынский и Эртель.

«Мы взошли на лестницу, — рассказывает сей последний, — слуга отворил двери, и мы вступили в комнату Пушкина. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолюкою на голове. Возле постели, на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем Пушкин продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал кто пришел, подал обе руки моим товарищам, с сло-

вами: «Здравствуйте, братцы!» Вслед за сим он сказал мне с ласковою улыбкою: «Я давно желал знакомства с вами, ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы». Я не знал, радоваться ли мне этому приветствию или сердиться за него, однако ж отвечал с усмешкою: «разве вы думаете, что способность ощущать физические наслаждения, определять истинное их достоинство и гармонически соединять их происходит из того же источника, как и нравственное чувство изящного, которое, вероятно, по сей причине на всех языках означает одним и тем же словом: **вкус**? По крайней мере в отношении к себе я нахожу такое мнение совершенно правильным; ибо иначе не мог бы с таким удовольствием читать ваши прелестные произведения». Так как П<ушкин> увидел, что я могу судить не об одних винах и устрицах, то разговор обратился скоро к другим предметам. Мы говорили о древней и новой литературе и остановились на новейших произведениях. Суждения Пушкина были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая склонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно-поэтической иронии, которая подымается над ограниченною жизнью смертных, и которой мы столько удивляемся в Шекспире. Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целое. Я высказал это желание; товарищи мои присоединились ко мне, и Пушкин принужден был уступить нашим усиленным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно было истинно превосходно»*.

* См. Русский Альманах на 1832 и 1833 г., изд. в Спб. В. Эртелем и А. Глебовым, стр. 298—300, в статье под заглавием **Выписка из бумаг дяди Александра**, в которой между прочим сообщены довольно занимательные подробности о Дельвиге и Баратынском. Разумеется, имена поэтов обозначены первыми буквами, напр. А. С. П., Б. А. А. Д. и пр.; но нет возможности не угадать их. Замечательно, что весь Русский Альманах тогда же появился в С.-Петербурге на Немецком языке: *Russischer Almanach für 1832 und 1833, von W. Gertel und A. Cliebow*. О том, что Выписка из бумаг дяди Александра есть произведение Эртеля, см. 2-ю статью г. Гаевского о **Дельвиге**. Современник, 1853 г., майская книжка, стр. 29.

Надо заметить, что еще долго спустя после болезни Пушкин ходил обритый и в ермолке. Видавшие его в то время помнят, что он носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами, à l'américaine* и шляпу, с прямыми полями à la Bolivar, о которой после упомянул он, описывая наряд Онегина. Тогда же начал он носить длинные ногти, привычка, которой он не изменял до конца, любя щеголять своими изящными пальцами.

Шестинедельная болезнь Пушкина оставила по себе память в двух прекрасных стихотворениях его, элегии **Выздоровление** и послании к В. В. Энгельгардту:

Я ускользнул от Эскулапа,
Худой, обритый, но живой.

Элегия написана, если не ошибаемся, под влиянием Батюшкова, которого **Опыты в прозе и стихах** появились незадолго перед тем и конечно с увлечением были прочитаны Пушкиным. По крайней мере эта элегия живо напоминает стихотворение Батюшкова под тем же заглавием**. Пушкин в ней рассказывает, как одна девушка, в военном наряде, приходила навестить его во время болезни, что, по всему вероятно, связано с действительным случаем.

Послание к Энгельгардту, которое г. Анненков ошибочно отнес к 1819 году¹⁰, оканчивается стихами:

От суеты столицы праздной,
От хладных прелестей Невы,
От вредной сплетницы молвы,
От скуки столь разнообразной
Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода.

.....

На этот раз сельская жизнь Пушкина в поэтическом отношении была плодотворнее прошлогодней. Доселе он говорил о себе:

* по-американски.

** См. в Смирдинском издании сочинений Батюшкова, ч. 2, стр. 36.
Но ты приблизилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
И поцелуев сочтанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов,
Меня из области печали,
От Орковых полей, от Леты берегов
Для сладострастия призвали.

Меня покинул тайный гений
И вымыслов и сладких дум;
Любовь и жажда наслаждений
Одне преследуют мой ум.

Теперь, в сельском уединении Михайловского, он как бы отдыхал душою от прошедшего и, совершенно оправившись в здоровье, снова занялся поэтическим трудом своим. Большая часть Руслана и Людмилы написана, если мы не ошибаемся, летом 1818 года, в Михайловском¹¹. Как известно, Пушкин начал это произведение еще в Лицее, и говорят, какие-то стихи из Руслана и Людмилы долго сохранялись на стенах лицейского карцера. Из одного отрывка, уцелевшего от его лицейских мемуаров, оказывается, что еще в декабре 1815 года он намеревался писать ироическую поэму: **Игорь и Ольга**. Г. Анненков высказывает предположение, что мысль такой поэмы внушена была Пушкину Жуковским, который в то время задумывал поэму **Ольга**, в подражание Вальтер-Скоттовой Деве Озера. Кажется, что это предположение может быть в равной степени отнесено и к Руслану и Людмиле. Вообще мысль о поэме, которая содержание свое заимствовала бы из древней Русской истории и русского быта, была в то время в большом ходу. Покойный граф Уваров советовал Жуковскому написать поэму из нашей истории; Батюшков публично вызывал его к тому*. Еще гораздо раньше Жуковский действительно имел намерение приняться за поэму **Владимир**, о чем много говорили в то время**. Еще в начале 1814 года в послании своем к Воейкову он набросал некоторые черты будущей поэмы. Развить их в большое и цельное произведение Жуковский, по всему вероятно, предоставил молодому другу своему.

Осенью 1818 года Пушкин привез в Петербург уже

* См. в Сыне Отечества 1814 года (№ 35) большое примечание Батюшкова к известному письму его о сочинениях Муравьева. Письмо это было подписано буквами К. О. Б. А. Многие примечания его не попали в собрание сочинений Батюшкова. «Он (т. е. Жуковский) должен непременно избрать период от рождения Славянского народа до разделения княжеств по смерти Владимира. Мы пожелаем с г. Уваровым, чтобы автор Певца во стане Русских воинов, Двенадцати Спящих Дев и проч., поэт, который умеет соединять пламенное, часто своенравное воображение с необыкновенным искусством писать, посвятил жизнь свою на произведения такого рода для славы отечества (которое умеет чувствовать его заслуги) и не истощил бы своего бесценного таланта на блестящие безделки».

** См. печатное о том известие в статье Греча о произведениях Русской Словесности 1817 года, Сын Отеч. 1818, № 1

почти готовую поэму. По крайней мере вчерне она была, вероятно, вся написана. Оставался только труд окончательной отделки, которым и занялся он в последние месяцы этого года. Поэма быстро подвигалась к окончанию, и Пушкин прочитывал песню за песнею на вечерах у Жуковского.

По возвращении своем из деревни Пушкин нашел в Петербурге Жуковского, с которым не видался около года и который, получив от Императрицы Марии Федоровны лестное поручение преподавать русский язык Августейшей ее невестке, жил до того времени в Москве, при Высочайшем Дворе. Однако сношения между поэтами продолжались, оставив живой след в тогдашней поэтической деятельности Пушкина. В 1817 году, в Москве при августовской книжке Вестника Европы появился портрет Жуковского*, и Пушкин сочинил известную надпись к нему, которая доселе заключает в себе и лучшую похвалу, и лучшую оценку поэзии Жуковского**.

Его стихов пленительная сладость...

Жуковский печатал в Москве прелестные переводы свои с немецкого, выдавая их, вместе с подлинниками, отдельными тетрадками, которые носили название: **Для немногих** (Für Wenige). Они, вероятно, были посланы к Пушкину в Петербург и дали ему повод написать послание к Жуковскому, где выражено глубокое уважение к независимости и самостоятельности поэтического дарования его***.

* Этот же портрет после был приложен к собранию Образцовых Сочинений. (Гравюра Ф. Вендрамини с портрета работы О. Кипренского, 1817 г.— Сост.)

** В Вестнике Европы еще прежде напечатаны были три надписи к портрету Жуковского, одна Батюшкова, другая В. Л. Пушкина, третья Н. Д. Иванчина-Писарева. Последняя находится под портретом. Надпись Пушкина появилась в Петербурге, в новом журнале Измайлова, Благонамеренном, в 3-й части.

*** Это послание написано, по всему вероятно, весною 1818 года; заключаем о том по заключительным его стихам, которые Пушкин впоследствии сам откинул, желая придать большую стройность своему стихотворению.

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!

И благодарными слезами
Карамзину приносит он

Дружба двух поэтов особенно утвердилась с той поры, как они снова свиделись, осенью 1818 года. Эта дружба, уже никогда не ослабевавшая, не изменяемая никакими обстоятельствами, была для Пушкина драгоценна во всех отношениях. Недаром он называл Жуковского **пестуном и хранителем своей музыки***. Жуковский прощал молодому другу своему все его увлечения и шалости и, по свидетельству современников, баловал Пушкина. Последнему приписывали какую-то эпиграмму на него; но чего ему не приписывали? Пародии Двенадцати Спящих Дев в IV песне Руслана и белых стихов Жуковского** были только шуткою, которой сам Жуковский сердечно радовался. Про первую из них Пушкин, однако, писал впоследствии: «За пародию Двенадцати Спящих Дев можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эстетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное поэтическое создание»¹².

Мы упомянули, что с первым большим произведением своим Русланом и Людмилою, Пушкин постепенно знакомил приятелей своих и любителей словесности на вечерах у Жуковского. Вечера эти доселе памяты лицам, имевшим счастье на них присутствовать. Жуковский жил тогда в семействе деревенского друга своего А. А. Плещеева***, в Коломне у Кашина моста, за каналом, в угловом доме¹³. Несмотря на отдаленное положение этой части города, каждую субботу собирався к Жуковскому избранный кружок писателей и любителей просвещения, чтобы в дружес-

Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной:
И в нем трепещет вдохновенье.

Чтением Истории Карамзина Пушкин занимался в начале 1818 года, во время выздоровления от болезни, как сам говорит о том в Записках своих.— Послание в первоначальном полном виде явилось лишь в 1821 году, в № 52 Сына Отечества.

* В IV песне Руслана и Людмилы.

** Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль, что если это проза,
Да и дурная?..

См. Стихотворение Жуковского: **Тленность**, появившееся впервые в 3 номере: **Для немногих**. Слич. мнение Пушкина о белых стихах т. IV его Сочинений, стр. 110.

*** А. А. Плещеев славился необыкновенным искусством читать, и был некоторое время чтецом при Государыне Марии Федоровне. О нем см. не вошедшее в Собрание сочинений Жуковского письмо о Саксонии, в Московском Телеграфе 1827 г., ч. XIII, стр. 26—28.

кой беседе и в высоких удовольствиях ума и сердца отдыхать от трудов недели. «Было что-то редкое в этом братстве и общении лучших талантов и лучших умов столицы,— говорит один из младших участников этих литературных собраний*. Разговор, естественно, склонялся на то, чем преимущественно занимались гости. Совершенствование произведений ума и вкуса столько же у всех было на сердце, как слава и благосостояние отечества. Писатели, уже пользовавшиеся общим уважением, и молодые люди, едва выступившие на свое поприще, но увенчанные надеждою, все с одинаковою откровенностью высказывали мысли свои, потому что равно любили искусство и искали только истины». К числу молодых людей, появлявшихся на вечерах Жуковского, принадлежали, между прочим, Дельвиг и П. А. Плетнев, еще в то время начавший свое знакомство с Пушкиным. Тут же, вероятно, бывал и Баратынский, которого Жуковский так рано отличил и заметил и который в марте 1818 года определился в гвардейский егерский полк. Дружба Баратынского с Пушкиным началась именно в это время.

Молодой Пушкин оживлял эти собрания столько же стихами своими, как и неистощимою веселостью и остроумием, в котором никогда не было у него недостатка. Надо заметить, что Жуковский, строгий наблюдатель чистоты и порядка во всех своих вещах и особенно в бумагах, когда приходилось ему исправлять стихи свои, уже перебеленные, чтобы не марать рукописи, наклеивал на исправленном месте полосу бумаги с новыми стихами. Сам он редко читал вслух свои произведения и обыкновенно поручал это другим. Раз кто-то из чтецов, которому прежние стихи нравились лучше новых, сорвал бумажку и прочел по-старому. В эту самую минуту Пушкин, среди общей тишины, с ловкостью подлезает под стол, достает бумажку и, кладя ее в карман, преважно говорит: «Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится**».

Мы не знаем, всю ли поэму свою прочитал Пушкин на вечерах у Жуковского или только некоторые ее песни. По преданию, уже не раз сообщенному публике, известно, что на одном из этих вечеров Жуковский поднес Пушкину литографированный портрет свой с надписью: **Ученику-**

* П. А. Плетнев, в книге своей о жизни и сочинениях Василия Андреевича Жуковского, Спб. 1853, стр. 41—42.

** За сообщение этого сведения обязаны мы очевидцу, П. А. Плетневу. (Сравни статью Плетнева «Иван Андреевич Крылов» в журн. «Современник». 1845, т. XXXVII, с. 33—37.— Сост.)

победителю от побежденного учителя в высокаторжественный день окончания Руслана и Людмилы*. Разумеется, все это было сделано с веселою шуткою, и смешно выводить отсюда какие-либо серьезные заключения. Ни малейшего соперничества никогда не существовало между двумя поэтами, которые одарены были различными, но равно самобытными талантами. Победа заключалась только в том, что общее внимание публики и увлечение любителей словесности перешло от Жуковского к молодому его другу. Жуковский подарком своим выразил общее сочувствие гостей, с восхищением внимавших звукам новой, пленительной поэзии.

В числе сих последних находился и Батюшков, уже страдавший тяжкою болезнью и в то время собиравшийся за границу, тщетно искав исцеления в полуденном краю России. Сказывают, что на упомянутом вечере у Жуковского он с необыкновенным вниманием слушал новую поэму и, казалось, был поражен неожиданностью впечатления. Г. Анненков сообщает**, будто еще прежде Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал послание Пушкина к Ю. (Юрьеву): **Поклонник ветренных Лаис** и пр. и проговорил: «О! как стал писать этот злодей!» Тем не менее в письме Батюшкова к А. И. Тургеневу из Неаполя, от 24-го марта 1819 г., читаем: «Просите Пушкина именем Ариоста выслать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбит славу паче рассеяния»***.

Слава молодого поэта быстро распространялась, и уже не в отдельных только кружках, но по всему городу. «От великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров,— свидетельствует П. А. Плетнев,— везде принимали его с восхищением, питая и собственную и его суетность этою славою, которая так неотступно следовала за каждым его шагом»****. Люди читающие увлечены были прелестью его поэтического дарования; другие наперерыв повторяли его остроты и эпиграммы, рассказывали его шалости. Между тем сам он беспечно

* См. *Соврем.* 1838 г. № 2, стр. 27. Портрет этот, если не ошибаемся, принадлежит к непоступавшему в продажу собранию портретов русских людей и писан известным художником Дау. (Дарственная надпись Пушкину сделана Жуковским на литографированном портрете работы О. Эстеррейха, 1820 г.— *Сост.*)

** «Материалы», стр. 55.

*** Соч. Батюшкова, изд. Смирдина, ч. I, стр. 359. Вечер у Жуковского был, если не ошибаемся, в самом начале 1819 г.

**** Современник 1838 г., № 2, стр. 25.

расточал богатство души своей. Брат его, Лев Сергеевич, в своей, к сожалению, столь краткой о нем записке*, говорит, что «его поочередно влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны». Сим последним некоторое время жертвовал он большею частью своего досуга. Особенно занимали его балетные спектакли, и шесть блестящих строф в первой главе Онегина свидетельствуют о тогдашней страсти его к театру, и о том, как пленяла его славная Истомина. Впоследствии, живя в Кишиневе, он требовал от брата известий о театре. «Пиши мне,— говорит он в письме от 30-го января 1823 г.— о Дидло, об Черкешенке Истоминою, за которой когда-то я волочился подобно Кавказскому Пленнику». Доступ к закулисным тайнам был ему открыт, между прочим, по знакомству с директором Петербургского театра кн. А. А. Шаховским. Литературная вражда сего последнего с членами Арзамасского общества в то время уже затихла, и так как она никогда не переходила во вражду личную, то Пушкину не представлялось никаких затруднений сблизиться с знаменитым комиком. Их познакомил общий приятель, П. А. Катенин, сохранивший в Записках своих разговор, бывший у него с Пушкиным, когда они оба возвращались ночью в санях от кн. Шаховского. «Savez-vous,— сказал Пушкин,— qu'il est très bon homme au fond? Jamais je ne croirai qu'il ait voulu nuire sérieusement à Ozerow, ni à qui quece soit».— «Vous l'avez cru pourtant,— отвечал Катенин.— Vous l'avez écrit et publié; voilà le mal».— «Heureusement,— возразил Пушкин,— personne n'a lu ce barbouillage d'écolier; pensez vous qu'il en sache quelque chose?» — «Non; car il ne m'en a jamais parlé».— «Tant mieux, laissons comme lui, et n'en parlons jamais»**. Пушкин очень был доволен новым знакомством и впоследствии писал к Катенину, упоминая об одном месте из Андромахи, сочинении сего

* Москвитянин 1853 г., № 10, стр. 51.

** См. у г. Анненкова, стр. 56. Катенин упрекал Пушкина, вероятно, за те места в Послании его к Жуковскому (1817 г.), которыми Шаховской не мог не оскорбиться. Впрочем, послание это при жизни Пушкина не появлялось в печати.

«Знаете ли, что он, в сущности, очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желает повредить Озерову или кому бы то ни было».— «Однако вы так думали; так писали и даже обнародовали; вот что плохо».— «К счастью, никто не читал эту мазню школьника; вы думаете, он что-нибудь знает о ней?» — «Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом».— «Тем лучше, последуем его примеру и тоже не будем говорить об этом» (*фр.*).

последнего: «Оно мне живо напомнило один из лучших вечеров моей жизни; помнишь?.. на чердаке кн. Шаховского»*.

Дружба Пушкина с Катениным началась с того, что первый пришел к последнему и, подавая ему свою трость, сказал: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей — но выучи!» — «Ученого учить — портить!» — отвечал ему Катенин**.

Павел Александрович Катенин служил тогда капитаном в Преображенском полку, и в предшествовавшие войны участвовал во многих сражениях. Но еще гораздо раньше, занимая какую-то должность в министерстве народного просвещения, он страстно любил науки и словесность. В тогдашнем обществе и между писателями того времени он был явлением весьма замечательным, по необыкновенной начитанности и огромному запасу разнообразных сведений, которыми он удивлял всех своих знакомых и которые раскрыл, между прочим, позднее, в статьях своих о теории словесности, помещавшихся в Литературной Газете Дельвига 1830 г. Оттого Катенин отличался редкою самостоятельностью и твердостью в суждениях, и мы думаем, что не столько таланты его, как писателя, сколько упомянутые качества привлекали к нему Пушкина, умевшего даже и во время буйной своей молодости ценить и любить настоящие достоинства в людях. Катенин был старше Пушкина 7 годами. Пушкин верил его суждениям и нередко подчинялся им. «Ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли», — писал к нему впоследствии Пушкин. Говорят даже, что и в обращении и ухватках у них было что-то общее. Влияние Катенина на Пушкина относится именно к этому времени. Впоследствии они уже не могли часто видаться, будучи разлучены разными обстоятельствами жизни. Но Пушкин до конца сохранял неизменное уважение к литературным его приговорам¹⁴.

В таких же, но, может быть, более искренних сношениях находился поэт с другим приятелем своим, гвардейским офицером Петром Яковлевичем Чаадаевым. Они познакомились в доме Карамзина еще в Царском Селе, где Чаадаев стоял с лейб-гусарским полком. С первого же

свидания молодой поэт сблизился с ним, и в последний год лицейской жизни своей беспрестанно приходил к нему и просиживал у него целые дни, то беседуя с ним, то читая книги в его отборной и обширной библиотеке. Через год они снова свиделись в Петербурге (1818), куда переехал Чаадаев, заняв место адъютанта при Илариионе Васильевиче Васильчикове (впоследствии князе), начальнике гвардейского корпуса. С шумных пиров, с блестящих балов, с театральных репетиций поэт нередко убежал в кабинет друга своего, в Демутов трактир¹⁵, чтобы освежить ум и сердце искреннею и дельною беседою. Под влиянием этих сношений написано в 1818 г. искаженное во всех изданиях послание к нему Пушкина, начинающееся так:

Люби, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман...

Но свою признательность к другу поэт выразил публично, через год после разлуки с ним, в известном послании, принадлежащем к лучшим его произведениям*. В апреле 1821 года из Кишинева писал он к нему:

. печальный вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ничто не заменит единственного друга:
Ни Музы, ни труды, ни радости досуга.
Ты был целителем моих душевных сил...

У Чаадаева поэт познакомился со многими замечательными людьми и сблизился с его товарищем по службе Н. Н. Раевским, который так был дружен с Пушкиным впоследствии. — Когда имя Пушкина становилось уже народным, и государь Александр Павлович изъявил Васильчикову желание свое прочитать какие-нибудь еще не изданные стихи молодого поэта, Васильчиков обратился за ними к адъютанту своему, и тот доставил собственноручно переписанное Пушкиным стихотворение **Уединение**: это было превосходное, уже запечатленное всею си-

* Оно было напечатано в 35 № Сына Отечества 1821 года, с полным именем Автора, что много значило, ибо большую часть своих посланий Пушкин либо вовсе не печатал, либо не вполне означал своим именем.

О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!..
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь...

* Там же. — С. 60. (Письмо первой половины сентября 1825 г. из Михайловского. — *Сост.*)

** Там же. — С. 55. Г. Анненков приводит также несколько писем Пушкина к Катенину, относящихся к позднему времени.

люю таланта, произведение, и особенно неизданный конец его, удостоились высочайшего внимания и отменно полюбили Его Величеству*.¹⁶

Стихотворения **Уединение** и **Домовому** написаны летом 1819 года в Михайловском, куда ежегодно уезжал Пушкин вместе с семьей; в них изображены картины тамошней местности. От 1819 года имеем мы не более 10 стихотворений Пушкина, но зато почти все они отличаются тою художественною правильностью и отделкою, которые с той поры все более обнаруживаются в его произведениях. Еще в Петербурге написаны им два антологические стихотворения: **Дорида** и **Дориде**** . Можно догадываться, что к концу 1819 года Пушкину начинает надоедать беспорядочная жизнь: разгар страстей утомляет его. Но могучая природа тотчас снова получает бодрость. Поэт сознает высокое призвание свое, как о том свидетельствует написанная в то время пьеса **Возрождение**, в которой он как бы сравнивает прошедшие увлечения свои с чуждыми красками, затемнявшими собою картину гениального художника:

Но Краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей:
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Этими стихами, если не ошибаемся, обозначается вообще направление Пушкина в последние месяцы его пребывания в Петербурге, хотя, разумеется, по живости своего характера он не всегда равно следовал оному. Подробностей мы не имеем, но кажется, к этому времени следует отнести столь известное предсказание гадалщицы, которое, к нашему горю, сбылось во всей точности.

* Еще когда Пушкин был в Лицее, его стихи к принцу Оранскому (впоследствии Королю Нидерландскому, супругу Ее Величества Анны Павловны) были поднесены Государыне Императрице Марии Федоровне, которая благоволила наградить автора золотыми часами с цепочкою. (См. сочинение Пушкина, изд. Анненкова, т. II, стр. 152.) Мысли, выраженные в конце стихотворения **Уединение**, были тогда в большом ходу. См. между прочим Вестник Европы 1817 года, № 3-й и далее.

** Г. Анненков несправедливо относит их к произведениям, написанным в Южной России: оба они появились в печати в январской и февральской книжках Невского Зрителя 1820 года, а поэт оставил Петербург лишь в мае этого года.

Едва ли найдется кто-либо не только из друзей Пушкина, но даже из людей, часто бывавших с ним вместе, кто бы не слышал от него более или менее подробного рассказа об этом случае, который потому и принадлежит к весьма немногочислу загадочных, но в то же время достоверных, сверхъестественных происшествий. Во всякой беседе Пушкин вспоминал о нем, и особенно когда заходил разговор о наклонности его к суеверию и о приметах. Так, между прочим, в 1833 году в Казани он передавал его известной писательнице, Александре Андреевне Фукс, которая и сообщила его публике в своих **Воспоминаниях о Пушкине***.

Поздно вечером, за ужином, разговорившись о магнетизме и о своей вере в него, Пушкин начал так рассказывать г-же Фукс и ее мужу: «Быть таким суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. В.¹⁶ ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадалщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, сказала она мне, на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью»... Без сомнения я забыл в тот же день и о гадании и о гадалщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при Великом Князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что Цесаревич этого желает. Вот первый раз после гаданья, когда я вспомнил о гадалщице. Чрез несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами; и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыграл: он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен».

* См. Воспоминания об А. С. Пушкине Александры Фукс, Казань 1844, брошюра из № 2-го Прибавлений к Казанским Губернским Ведомостям. (Неоднократно перепечатывались. Последний раз в сб.: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2. 2-е изд. М., 1985.— *Сост.*)

Этот рассказ, в верности передачи которого ручается благоговейное уважение г-жи Фукс к памяти Пушкина, далеко не полон. Из достоверных показаний друзей поэта оказывается, что старая немка, по имени Киргоф, к числу разных промыслов которой принадлежала ворожба и гаданье, сказала Пушкину: «Du wirst zwei Mal verbannt sein; du wirst der Abgott deiner Nation werden; vielleicht wirst du sehr lange leben, doch in deinem 37 Jahre fürchte dich vor einem weissen Menschen, einem weissen Ross oder einem weissen Kopfe. (Т. е. ты будешь два раза жить в изгнании, ты будешь кумиром своего народа; может быть, ты проживешь долго; но на 37 году жизни берегись белого человека, белой лошади или белой головы.) По свидетельству Льва Сергеевича, предсказана была и женитьба*. Лев Сергеевич передает еще, что брат его встретился с знакомым своим, предлагавшим ему надеть эполеты, по выходе из театра до окончания представления и что знакомый этот был генерал Орлов; что предсказанные деньги Пушкин нашел возвратясь домой: их оставил ему товарищ, заехавший с ним проститься перед отправлением за границу.

Поэт твердо верил предвещанию во всех его подробностях, хотя иногда шутил, вспоминая о нем. Так, говоря о предсказанной ему народной славе, он смеючись прибавлял, разумеется, в тесном приятельском кружку: «А ведь предсказание сбывается, что ни говорят журналисты». По свидетельству покойного П. В. Нащокина, в конце 1830 года, живя в Москве, раздосадованный разными мелочными обстоятельством, он выразил желание ехать в Польшу, чтобы там принять участие в войне: в неприятельском лагере находился кто-то по имени Вейскопф (белая голова), и Пушкин говорил другу своему: «Посмотри, сбудется слово немки, он непременно убьет меня!»

Нужно ли прибавлять, что настоящий убийца действительно белокурый человек и в 1837 году носил белый мундир?

Причины и обстоятельства удаления Пушкина из Петербурга еще не могут быть разъяснены в подробностях¹⁷. Верно то, что ему готовилась участь гораздо более тяжкая той, которой он подвергся. Нежной предупредительности одного из истинных друзей своих, в особенности же поручительству Н. М. Карамзина и ходатайству своего начальника по службе, графа Каподист-

рии, обязан был он смягчением судьбы своей. Друг его, услышав о грозившей ему беде, поспешил к Карамзину и объяснил ему дело, с трудом нашед случай переговорить с ним о том. Пушкин никогда не забывал этого, и в следующих двух стихах благодарил попечительного друга:

В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой¹⁸.

В Эпиллоге к Руслану и Людмиле, написанном уже на Кавказе, читаем:

Я пел и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветренной Дориды,
И сплетни шумные глупцов,
На крыльях вымысла носимой,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!

Почти накануне решения своей участи поэт просидел у Карамзина до полночи, искренно передавая ему повесть своих заблуждений и прося о заступлении. Конечно, эта беседа с Карамзиным, последняя в жизни, осталась навсегда в благодарной памяти Пушкина.

Из места службы своей он переведен был в канцелярию главного попечителя колонистов Южного края, генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова. Отпуск, данный ему из министерства иностранных дел, носит помету 5-го мая 1820 года. Он немедленно отправился из Петербурга в Екатеринослав, где тогда находилось управление колониями Южной России. Друзья его, Дельвиг и П. Л. Яковлев, брат лицейского товарища, проводили его до Царского Села*.

Его поэма появилась в печати чрез несколько месяцев

* См. Москвит. 1853 № 10-й, стр. 52.

* См. 3-ю статью Гаевского о Дельвиге, в 1-й книжке Современника за 1854 год, в отделе критики, стр. 7.

по его отъезде: цензурная помета на ней Ив. Тимковского означена 15-го мая 1820 года. В сентябре, в 38 книжке Сына Отечества один из восторженных его почитателей напечатал послание к нему, оканчивающееся стихами:

Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений¹⁹.

Этот привет тронул душу поэта, и он отвечал на него впоследствии.

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слов оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин*

Не знаем, останавливался ли Пушкин на пути в родном своем городе, в Москве. В июне уже застаем его при Инзове в Екатеринославе.

ПУШКИН В ЮЖНОЙ РОССИИ

*(Материалы для его биографии, собираемые П. Бартевым)***

1820—1823

В предлагаемой статье я намерен передать собранные мною сведения о жизни Пушкина на Юге России, в Екатеринославе, на Кавказе, в Крыму и в Бессарабии. Рассказ мой обнимает собою немного больше трех лет, именно с мая месяца 1820 по июнь 1823 года. Время это отмечено в истории русской словесности и русской внутренней жизни самыми свежими, благоуханными цветами пушкинской поэзии; в эти три года вполне развернулся

* Из письма к брату Льву Сергеевичу (Кишинев, в янв. 1823) Копии с подлинных писем Пушкина к брату были сообщены нам еще в октябре 1853 года в полное распоряжение с согласия супруги Льва Сергеевича, С. А. Соболевским, которому и за многие другие указания и исправления в труде нашем приносим усерднейшую благодарность.

** По желанию некоторых наших читателей перепечатываем эту статью нашу из газеты: «Русская Речь и Московский Вестник» 1861 г. №№ 85—104, так как небольшое количество отдельных ее оттисков давно уже разошлось по рукам.

блистательный гений Пушкина, и его имя пронеслось во все концы России.

Но прежде чем приступить к настоящему предмету моего рассказа, я почитаю нужным изложить сколько возможно подробнее обстоятельства удаления Пушкина из Петербурга.

В «Материалах для биографии Пушкина», составленных П. В. Анненковым, о первой ссылке Пушкина рассказывается следующим образом (стр. 69—70). «Поводом к удалению Пушкина из Петербурга была его собственная неосмотрительность, заносчивость в мнениях и поступках, которые не лежали в сущности его характера, но привились к нему по легкомыслию молодости, и потому что проходили тогда почти без осуждения. Этот недостаток общества, нам уже к счастью неизвестный, должен был проявиться сильнее в натуре восприимчивой и пламенной, какова была Пушкина. Не раз переступал он черту, у которой остановился бы всякий, более рассудительный человек, и скоро дошел до края той пропасти, в которую бы упал непременно, если бы его не удержали снисходительность и попечительность самого начальства». Вот почти все, сказанное г. Анненковым о ссылке Пушкина; к этому он прибавляет только, что Пушкина сослали к Инзову, и что он был обязан Карамзину смягчением своей участи. Я нарочно сделал эту выписку, потому что в этих словах высказано довольно общее мнение о Пушкине и о тогдашнем времени; но мне кажется, что внимательное историческое рассмотрение дела не позволяет вполне согласиться с таким отзывом почтенного критика и биографа, и что многие обстоятельства должны извинить молодого Пушкина.

Прежде всего, по моему мнению, не следует забывать, что Пушкин учился в Царскосельском Лицее, а Лицей и учрежден был именно для того, чтобы готовить **дейтелей государственной службы**, следовательно, возбуждал и поддерживал в своих воспитанниках участие и внимание к общей, государственной жизни отечества. Любимым профессором лицейстов был Куницын:

Куницыну дань сердца и вина,
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

А чем ознаменовал свою деятельность этот поистине достопамятный человек? Он провозглашал во всеуслы-

шание, в Высочайшем присутствии, в речах на актах Лицея и в печатных статьях своих, мысли и соображения о необходимости коренных преобразований и получал награды от высшего начальства*.

В числе других преподавателей Лицея некто Будри был родной брат Марата; он был похож на него лицом и рассказывал ученикам разные анекдоты о нем. Учитель военных наук, инженер-полковник Эльснер, служил прежде адъютантом у Костюшки. Стало быть, с малых лет Пушкин привыкал размышлять и беседовать о различных направлениях внутренней и внешней государственной политики.

В последние годы своей лицейской жизни Пушкин сблизился с некоторыми офицерами именно из тех полков, которые довольно долгое время стояли во Франции и которые возвратились на родину с новыми понятиями. Весною 1818 г. император Александр открывал сейм в Варшаве и произнес знаменитую речь свою, которая отозвалась во всей Европе и еще сильнее должна была подействовать на русскую молодежь... С другой стороны, не следует упускать из виду того, что русская государственная жизнь, в силу нашего окончательного, тесного сближения с Европой, шла рука об руку с общею европейскою жизнью, или, вернее, служила ей постоянным отголоском. А что тогда происходило в Европе? Вартбургский праздник, союзы студентов во имя добродетели, революционные попытки в Неаполе, Сардинии, Испании, восстание греков и рядом с этим ограничение печати, Карлсбадские совещания, неограниченная власть Меттерниха, конгрессы с вооруженным вмешательством, смерть Коцебу и герцога Беррийского.

Итак, Пушкин и по воспитанию своему, и по связям дружеским и, наконец, по врожденному призванию, как поэт, естественно, должен был отражать в себе общее

* О жизни А. П. Куняцына сохранилось, по крайней мере в печати, очень мало известий. Знаем только, что он учился в Германии и в 1820-х годах потерпел на службе. Из трудов его нам известны речь при открытии Лицея, книга *Естественное Право* и несколько статей в журнале, например в *Сыне Отечества* 1818 года, № 18, стр. 202—211: о Конституции, с эпиграфом: *Certe id firmissimum longe imperium est, quo obedientes gaudent*, и №№ 23 и 24: *Рассмотрение речи г. президента Академии наук* (С. С. Уварова, говорившего в публичном заседании главного педагогического института, 22 марта 1818 г., о восточных языках и всемирной истории). В этой последней статье между прочим сказано: «Век лжи и лести, кажется, оканчивается. Ныне и владыки мира говорят и любят правду; о царях судят с благоговением, но по чистоте сердца; пусть одни наемники продолжают искусство лести».

настроение своих современников и разделял с ними как опрометчивость, заносчивость, резкость в суждениях и поступках, так и лучшие их качества. Многие приятели Пушкина умели молчать, и смыкались в закрытые масонские и политические кружки, а у молодого поэта всякое горячее движение души, всякий взрыв нетерпения или негодования высказывался почти что неволью в оригинальных проказах, в эпиграммах и чудных стихах.

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн,
А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел...*

Другой вопрос, хорошо ли было это направление высшего русского общества. Кажется нам, что довольно верный ответ на этот вопрос дан гр. Л. Н. Толстым в повести *Два гусара*, изображающей тогдашнее время и наше.

Возвращаясь к Пушкину, должно еще вспомнить, что не одни общие, но и частные, даже личные условия тогдашней его жизни способны были раздражать его и в свою очередь порождали то беспокойное состояние души и вызывали те возмутительные поступки и стихи, из-за которых он пострадал. Его семейные отношения были в то время далеко не успокоительны. По смерти нежно любившей его бабушки (1818), Марьи Алексеевны Ганнибаловой, семья его состояла из отца, матери, старшей сестры и младшего брата. С Ольгой Сергеевной, подругой своего детства, он уже не мог быть теперь так близок, как прежде — естественное следствие долговременной разлуки: они отвыкли друг от друга, пока Пушкин учился в Лицее, а сестра выростала в Москве. Брат, впоследствии так заботливо любимый им, в то время был еще очень молод и не жил дома: его отдали в Благородный пансион при тогдашнем петербургском Педагогическом институте. О матери Пушкина не сохранилось никаких особенных сведений; но общую основу семейному узлу давал все-таки отец, — а это был человек, по общему отзыву современ-

* Из стихотворения Пушкина *Арион* (1830). См. сочинения Пушкина, изд. Анненкова, VII, 41. Мы везде ссылаемся на это издание. (Стихотворение «Арион» написано не в 1830, а в 1827 г. — *Сост*)

ников, соединявший со многими любезными качествами нрав мелочный и до крайности раздражительный. Приятный и острый собеседник в обществе, он, как часто случается с подобного рода людьми, бывал иногда тяжел в домашней жизни. Молодой Пушкин часто нуждался в деньгах. За стихи в то время еще не платили ему, а тех 700 рублей, которые он получал, числясь на службе в коллегии иностранных дел*, даже при тогдашней дороговизне денег, не могло быть достаточно для привычек, вынесенных им из Лицея, и для той жизни, которую он повел в Петербурге. А между тем сам Сергей Львович, по своему характеру и воспитанию, не мог заниматься хозяйством, получал мало дохода с своих довольно, впрочем, значительных имений, и попеременно, то мотая, то скупясь, никогда не умел сводить концов с концами. Отсюда разные мелочные неприятности. Один современник, добрый приятель Пушкина, рассказывал, как Александру Сергеевичу приходилось упрашивать, чтоб ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками, и как Сергей Львович предлагал ему свои старые, времен Павловских**. С другой стороны, родители Пушкина не могли, конечно, радоваться его проказам и смотрели неблагосклонно на его разнообразные связи. Какая-то приятельница дома, старая девушка, графиня Е. В., имела неосторожность передавать матери Пушкина дурные слухи, ходившие про него в городе. Говорят, что Пушкин после насмеялся над ней в первых стихах пятой песни Руслана и Людмилы, где она изображена под именем Дельфиры***. Вообще Пушкин, уехав из Петербурга,

* Каждому воспитаннику Лицея, до определения его на штатное место, император Александр приказал выдавать ежегодно от 700 до 800 рублей. Пушкин, окончивший курс во втором разряде, получал до самого 1824 г. по 700 р. Кроме того, на первое обозначение недостаточным воспитанникам назначена была сумма в 10.000 р., но этим воспользованием Пушкин, вероятно, не воспользовался.

** Слышано от С. А. Соболевского.

*** От него же:

Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфиною суровой?
Одной — судьба послала дар
Обворожать сердца и взоры...
А та — под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок,
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает,
И другом сердца называет;
Но, верьте мне, блажен и тот,

в стихах и в письмах несколько раз упоминает о каких-то повредивших ему сплетнях. Но главным поводом к неудовольствиям была все-таки денежная несостоятельность молодого Пушкина. «Мне больно видеть, — говорит он сам в одном письме к брату*, — равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург: когда больно, в осеннюю грязь или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкина моста, он вечно бранился за 80 копеек (которых, верно б, ни ты, ни я не пожалели для слуги)». Словом, Пушкин, вышедши из Лицея, очутился в таком положении, в каком часто находятся молодые люди нашего времени, возвращающиеся под родительский кров из богатых и роскошных учебных заведений; разница в том, что тут примешивалась досадная, мелочная скупость, которая только раздражала Пушкина. Иногда он довольно зло и оригинально издевался над нею. Однажды ему случалось кататься на лодке, в обществе, в котором находился и Сергей Львович. Погода стояла тихая, а вода была так прозрачна, что виднелось самое дно. Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другой стал бросать в воду, любуясь падением и отражением их в чистой влаге. Где ж было наготовиться денег для такого проказника?***

Общественные отношения Пушкина были также весьма неопределенны и порою весьма неловки. По рождению и лицейскому воспитанию принадлежал к высшему кругу, обратив на себя общее внимание еще на ученической скамейке, дружась и проводя время с людьми богатыми и знатными, честолюбивый юноша, естественно, желал удержаться в так называемом большом свете. «Пушкин, — рассказывает о нем один из лицейских его друзей, — либеральный по своим воззрениям, часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около знати, которая с покровительственной улыбкою выслушивала его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия». Он терпеливо выслушивает, начнет щекотать,

Кто от Дельфиры убегает

И даже с нею не знаком

* См. Библиографические записки, 1858 г., столб. 41. (Письма от 25 августа 1823 г. из Одессы. — Сост.)

** Слышано от В. П. Горчакова.

обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко поте-
ряется; потом, смотришь, Пушкин опять с тогдашними
львами». Сам он должен был иногда сознавать дву-
смысленность подобных сближений, которая при скудости
денежных средств могла ставить его в неловкие положен-
ния и, без сомнения, сильно тревожила и огорчала
его.

Метко сказанное слово, какая-нибудь задорная эпи-
грамма, стихи, прельщавшие своею свежестью и новизною,
всем равно понятные по содержанию, делая из Пушкина
самого приятного собеседника, быстро расходились по сто-
лице и по России. Общее одобрение окрыляло поэта и
вызывало новые проказы, новые острооты и новые запре-
щенные стихи...

Когда они распространились, начались, кажется,
настоящие розыски местного начальства: Пушкин был
приглашен к тогдашнему петербургскому генерал-губерна-
тору графу Милорадовичу. «Когда привезли Пушкина,—
говорит И. И. Пущин, свидетельству которого преиму-
щественно следует верить,— граф Милорадович прика-
зывает полицимейстеру ехать на его квартиру и опеча-
тать все его бумаги. Пушкин, слыша это приказание, го-
ворит ему: «Граф! Вы напрасно это делаете. Там не
найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и
бумаги, я здесь же все вам напишу». (Пушкин понял,
в чем дело.) Милорадович, тронутый этой свободной от-
кровенностью, торжественно воскликнул: «Ah! c'est
chevaleresque**», и пожал ему руку. Пушкин сел, написал
все контрабандные стихи свои и попросил дежурного
адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого под-
вига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальней-
шего приказания». По другим рассказам, граф Милорадо-
вич расхаживал по комнате, перечитывал стихи, по мере
того, как Пушкин писал их, и прерывал чтение хохотом.
Это также очень похоже на любезного и веселого Мило-
радовича, который, может быть, вспоминал свою молод-
дость и собственные шалости.

Между тем Пушкин не унимался. Так, например, в
театре он вынимал портрет Лувеля и показывал его своим
соседям (это могло быть около масленицы 1820 года)***.
Жалобы на него наконец дошли до царя. Мы вправе ду-

* Записки И. И. Пущина, в 8 № Атеней, 1859 г., стр. 526.

** Ah! Это по-рыцарски (фр.).

*** Одним из таких соседей был Аркадий Родзянка, см. Русский исторический Сборник, т. II, стр. 104.

мать, что Государь, ученик Лагарпа, не без сожаления,
не без внутренней борьбы решился изречь приговор сти-
хотворцу, воспитаннику своего любезного Лицея. Имя
Пушкина было уже давно известно императору Алексан-
дру. Он знал и прощал его лицейские шалости. До его
просвещенного слуха доходила и прелесть стихов Пуш-
кина, из которых одни, где говорилось про рабство, падшее
по манию царя, по собственному его желанию, были
доставлены ему в подлинном списке сочинителя¹. Он много
слышал о молодом стихотворце от директора Лицея Эн-
гельгардта, и имя Пушкина могло поминаться в беседах
Государя с Карамзиным, в уединенных прогулках по цар-
скосельским садам. Но в эту пору, в первые месяцы
1820 года обстоятельства изменились... Тогдашние дела
Европы, убиение Августа Коцебу (23 марта 1819 г.),
восстание в Испании, смерть герцога Беррийского не мог-
ли не укоренить в императоре Александре того убеждения,
что, блюдя за спокойствием умов за границей, по обяза-
тельствам Священного Союза, он не должен равнодушно
смотреть на попытки к раздражению их в России. Почти
в это время прусское правительство приказало арестовать
известного политического писателя Герреса за его статьи
в Рейнском Меркурии. Итак, следовало унять Пушкина.
Предание уверяет, будто некоторые предлагали отда-
ленную снежную пустыню Соловецкого монастыря местом
ссылки поэту; но я думаю, что если и послышалось та-
кое строгое предложение, император Александр сам отверг
его. Пушкин был лицеист, и потому Государь захотел
наперед посоветоваться с бывшим его начальником, Эн-
гельгардтом. Встретившись с ним в царскосельском саду,
Александр пригласил его пройти с собою. «Энгель-
гардт,— сказал он ему,— Пушкина надобно сослать... Он
наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь
наизусть их читает. Мне нравится откровенный его посту-
пок с Милорадовичем, но это не исправляет дела»². Бла-
городный директор Лицея отвечал на это: «Воля Вашего
Величества; но вы мне простите, если я позволю себе
сказать слово за бывшего моего воспитанника. В нем
развивается необыкновенный талант, который требует
пощады. Пушкин теперь уже краса современной нашей ли-
тературы, а впереди еще больше на него надежды. Ссыл-
ка может губительно подействовать на пылкий нрав
молодого человека. Я думаю, что великодушные
ваше, Государь, лучше вразумит его»³.

¹ Передано самим Е. А. Энгельгардтом И. И. Пущину См.

Карамзин, другой истинно благородный человек, в свою очередь замолвил слово за Пушкина. Об этом ходатайстве, между прочим, просил Карамзина П. Я. Чадаев. Узнавши, что Пушкину грозит опасность, Чадаев поспешил к Карамзину, с трудом успев увидеть его (это было утром, а по утрам, занимаясь своею историею, Карамзин никого не принимал), рассказал ему все дело и упрашивал съездить к императрице Марье Федоровне и к начальнику Пушкина по службе, графу Каподистрии*. По другому, тоже вполне достоверному рассказу, Пушкин сам, еще раньше Чадаева, приходил к Карамзину (по выходе из Лицея он реже стал бывать у него), рассказал свои обстоятельства, просил совета и помощи, со слезами на глазах выслушивал дружеские упреки и наставления. «Можете ли вы,— сказал Карамзин,— по крайней мере обещать мне, что в продолжение года ничего не напишете противного правительству? Иначе я выду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии». Пушкин дал ему слово и сдержал его: не раньше 1821 года прислал из Бессарабии, без подписи, стихи свои: **Кинжал****.

Но заступничество Энгельгардта и Карамзина могло только смягчить, а не отменить наказание. Пушкин, собственноручно говоря, не был сослан, а только переведен на службу в попечительный комитет о колонистах Южной России, состоявший в ведомстве коллегии иностранных дел и находившийся тогда в Екатеринославе. Его послали, как выражаются англичане, переменить воздух, проветриться. Но, тем не менее, все сочли это удаление ссылкой.

Пушкин наскоро собрался в дорогу и не успел даже, как должно, проститься с своими приятелями. Сергей Львович квартировал тогда на Фонтанке, у Калинкина моста, в доме Клокачева (после сенатора Трофимова): из этого дома Пушкина проводили до Царского Села два товарища, барон Дельвиг и М. Л. Яковлев. Родители дали ему надежного слугу, человека довольно пожилых лет, именем Никиту³.

Записки последнего, стр. 528 и 529. Сам Пушкин, вероятно, впоследствии только узнал о заступничестве Энгельгардта и приписывал свое избавление Чадаеву и Карамзину.

* Слышано от П. Я. Чадаева.

** От гр. Д. Н. Бл<удова> у Карамзинных тотчас догадались, кто автор **Кинжала**.

Вид на проезд, полученный Пушкиным вместе с прогнами из коллегии иностранных дел, помечен 5 числом мая 1820 года*. Время стояло жаркое. На перекладной, в красной рубашке и опояске, в поярковой шляпе, скакал Пушкин по так называемому белорусскому тракту** (на Могилев и Киев). Что должен был чувствовать молодой человек, так внезапно оторванный от шумных и разнообразных удовольствий столицы, от многочисленных друзей своих...

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной!
Как часто ласковая Муза
Мне оживляла путь **немой**
Волшебством тайного рассказа⁴.

В половине мая, или около, он приехал в Екатеринославу и с письмом от гр. Каподистрии явился к своему новому начальнику, попечителю колонистов южного края, генерал-лейтенанту Ивану Никитичу Инзову***. Пришлось поселиться в довольно бедном городе (в Екатеринославе и теперь всего около 15 тысяч жителей), с лишком за полторы тысячи верст от Петербурга, без знакомств, без всяких удобств жизни, в грязной жидовской хате. Но опасения Энгельгардта не сбылись. Невзгода не сокрушила Пушкина, не ослабила души его; напротив, этот быстрый перелом судьбы только поднял и освежил молодую и сильную жизнь. Какая-то насмешливость над своей участью, равнодушие или желание казаться равнодушным выражается в ответе Пушкина на дружеский выговор Чадаева, зачем, уезжая из Петербурга, он не простился с ним. «Мой милый,— писал ему Пушкин,— я заходил к тебе, но ты спал; стоило ли будить тебя **из-за такой безделицы******. С некоторым презрением к судьбе, «с непреклонностью и терпением своей гордой юности» (как после он сам выражался) начал Пушкин новую жизнь в Новороссийской глуши. После тревожной и в то же время

* У Анненкова, в **Материалах**, стр. 10.

** **Записки** Пуштина, стр. 527.

*** **П. З.** 1861 г., стр. 124. («Полярная звезда», журнал А. И. Герцена.— *Сост.*.)

**** Само письмо не сохранилось, и покойный П. Я. Чадаев передавал нам слова по памяти. После известной истории с статьею в **Телескопе**, Чадаев сжег свою переписку. Уцелело только одно письмо Пушкина на французском языке, с разбором известных филос. писем Чадаева. (Имеется в виду французское письмо от 19 октября 1836 г. Всего сохранилось не менее 3 писем Пушкина к Чадаеву.— *Сост.*)

рассеянной столичной жизни ему полезно было уединение. Он это сам чувствовал, начал осматриваться и снова принялся за поэтическую работу. Но тяжелое одиночество, безвыходность положения, без сомнения, тяготили эту горячую, жаждавшую впечатлений душу. Ничего светлого, никакой перемены впереди. Что могло быть скучнее для него губернской жизни и занятий в канцелярии Инзова, если и поручались ему какие-нибудь занятия? По пословице, беда не приходит одна. К скуке екатеринославской жизни прибавилась болезнь. От нечего делать Пушкин вздумал выкупаться в Днепре и жестоко простудился. Но он по личному опыту мог сказать впоследствии:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись:
В день уныния смиришь,
День веселья, верь, настанет⁵.

Так точно было и с ним. Тяжелая жизнь вдруг сменилась для него самым завлекательным, веселым путешествием, без забот и хлопот, со всеми удобствами, даже с роскошью, в обществе людей любезных и почтенных. Во второй половине мая месяца 1820 года проехал через Екатеринослав на Кавказские воды Николай Николаевич Раевский с семейством. Это тот самый Раевский, который в сражении под Смоленском вывел в дело двух почти малолетних сыновей своих, который прославился и личною храбростью и способностями искусного полководца, под Лейпцигом, под Роменвилем и в других битвах. В это время он командовал 4-м корпусом первой армии, главная квартира которого была в Киеве. Младший сын его (тоже Николай Николаевич), тогда ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, находившийся в отпуску, подружился с Пушкиным в Петербурге, и там оказал ему какие-то важные (нам неизвестные) услуги. Узнав, вероятно, по письму из Петербурга, о ссылке поэта, а может быть, и видевшись с ним в его проезд через Киев, он поспешил сыскать его в Екатеринославе*. «Едва я, по приезде в

* Письмо к брату от 24 сентября 1820 г. (см. Библиографические записки 1858 года), Пушкин начинает: «Приехав в Екатеринослав, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные) предложил мне путешествие к Кавказским водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня на счастливый путь, я лег в коляску больной, через неделю вылезился».

Екатеринослав, расположился после дурной дороги на отдых, — рассказывает сопровождавший генерала Раевского медик Рудыковский, — ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала. «Доктор, я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь, поспешите со мною». Нечего делать, пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек, небритый, бледный и худой. «Вы нездоровы?» — спросил я незнакомца. «Да, доктор, немножко пошалил, купался, кажется, простудился». Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага. «Чем вы тут занимаетесь?» — «Пишу стихи». Нашел, думал я, время и место. Посоветовавши ему на ночь выпить чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня. Мы остановились в доме губернатора К<ара-георги>. Поутру гляжу — больной уж у нас: говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт — «доктор, дайте что-нибудь получше; дряни в рот не возьму». Что будешь делать? прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю: Пушкин. Фамилия незнакомая, по крайней мере мне. Лечу как самого простого смертного и на другой день закатил ему хины. Пушкин морщится*. Молодому Раевскому ничего не стоило уговорить отца взять с собою Пушкина. Воспитанник князя Потемкина, женатый на внучке Ломоносова, имевший своим адъютантом поэта Батюшкова, почтенный генерал и сам, без сомнения, рад был оказать услугу молодому поэту. Одно его слово Инзову, и все уладилось. Болезнь была самым законным предлогом, тем более, что о ссылке ничего не говорилось в официальной переписке. Инзов уволил своего чиновника в отпуск на несколько месяцев.

Таким образом Пушкин прожил в Екатеринославе всего недели две. От этого города остался в его поэтической памяти один только образ: два скованные разбойника, убежав из екатеринославской тюрьмы, спаслись в цепях вплавь по Днепру. Пушкин впоследствии повторил эту картину в своей поэме «Братья Разбойники»:

Река шумела в стороне,
Мы к ней — и с берегов высоких

* См. Русский Вестник, 1841 г., № 1-й. Рудыковский говорит, что они выехали из Киева 19 мая.

Бух! — поплыли в водах глубоких,
Цепями общими гремим,
Бьем волны дружными ногами*.

С Раевским ехали на Кавказ, кроме сына Николая и военного доктора Рудыковского, две младшие дочери его, Мария (лет 14) и девочка Софья, при них англичанка мисс Мятен и компаньонка Анна Ивановна (крестница генерала, родом татарка, удержавшая в выговоре и в лице свое восточное происхождение). Все это общество помещалось в двух каретах и коляске. Пушкин сначала ехал с младшим Раевским в коляске, а потом генерал пересадил его к себе в карету, потому что его сильно трясла лихорадка**. «На Дону (вероятно, в Новочеркасске), — продолжает г. Рудыковский, — мы обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался, покушал бланманже, и снова заболел. «Доктор, помогите!» — «Пушкин, слушайтесь!» — «Буду, буду!» Опять микстура, опять пароксизмы и гримасы. «Не ходите, не ездите без шинели». — «Жарко, мочи нет». — «Лучше жарко, чем лихорадка». — «Нет, лучше уж лихорадка». Опять сильные пароксизмы. «Доктор, я болен». — «Потому что упрямы; слушайтесь». — «Буду, буду!» Пушкин выздоровел.

Путешественников наших везде встречали с большим почетом; в городах обыватели с хлебом и солью выходили к славному защитнику отечества. При этом старик Раевский шутя говаривал Пушкину: «Прочтите-ка им свои стихи! Что они в них поймут?» Думая почему-то, что Пушкин принадлежит к масонам, Раевский подшучивал над ним, утверждая, что из их совещаний не выйдет ничего путного. Достоин замечания, что он взял слово с обоих сыновей ни за что не вступать ни в какое тайное общество.

В первых числах июня месяца (1820) наши путешественники приехали на Кавказские минеральные воды. В Пятигорске их ожидал старший сын Раевского, отставной полковник Александр Николаевич, прибывший туда заранее***. Они всем обществом уезжали на гору Бештау пить

* См. соч. Пушкина, V. 30. В Кишиневе кто-то усомнился, чтобы скованные разбойники могли переплыть реку. Пушкин кликнул своего слугу Никиту и велел рассказать, как они с ним действительно видели это в Екатеринославе. (От В. П. Горчакова.).

** Некоторые подробности путешествия благосклонно переданы мне одною из дочерей генерала Раевского, кн. М. Н. Волконской.

*** Рудыковский ошибается, говоря, что генерал Раевский ехал на Кавказ с обоими сыновьями.

железные, тогда еще малоизвестные, воды и жили там в калмыцких кибитках за недостатком другого помещения. Эти оригинальные поездки, эта жизнь вольная, заманчивая и совсем непохожая на прежнюю, эта новость и нечаянность горских черкесов, а в нескольких часах пути упорная, жестокая война, с громким именем Ермолова, — все и кругом причудливые картины гор, новые нравы, невиданные племена, аулы, сакли и верблюды, дикая вольность горских Черкесов, а в нескольких часах пути упорная, жестокая война, с громким именем Ермолова, — все это должно было чрезвычайно как нравиться молодому Пушкину. Мы вправе даже думать, что втайне он благодолвил судьбу, которая так неожиданно и против воли заставила его променять на Кавказ петербургскую, душную и только бесплодно-раздражающую жизнь. К удовольствиям путешествия прибавлялось еще всегда радостное и свежительное чувство выздоровления: Пушкин брал ванны и оправлялся от болезни. Всею душою поддался он тогда впечатлениям кавказской природы:

Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь Черкеса,
И вокруг кочующих шатров
Пасутся овцы Калмыков...

Уже пустыни сторож вечный,
Степennyй холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный,
И зеленеющий Машук,
— Машук, податель струй целебных,
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой:
Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды...⁶

«В Горячеводск, — рассказывает далее г. Рудыковский, — мы приехали все здоровы и веселы. По прибытии генерала в город тамошний комендант к нему явился, и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен на дворе, с хохотом что-то писал... На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору Ц., который был при минеральных водах. «Вы лейб-медик, приехали с генералом Р.?» — «Пос-

леднее справедливо, но я не лейб-медик». — «Вы так записаны в книге коменданта, бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия». Спрашиваю книгу, смотрю, так в свите генерала вписаны: две его дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин. Насилу я убедил коменданта все это исправить. Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шалость. Пушкин немного на меня подулся, а вскоре мы расстались».

Через девять лет, вторично посетив Кавказ, Пушкин так вспоминал свое первое путешествие. «В Ставрополе, — говорит он, — увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины кавказской цепи. Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, как скоро построенных. Источники большею частью в первобытном своем виде были; дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки... Признаюсь, Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего, дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Р. (Александр Раевский), прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...»⁷

«Два месяца жил я на Кавказе, — рассказывает Пушкин брату своему вскоре после возвращения оттуда, — воды мне были очень нужны, чрезвычайно помогли, особенно серные горячие, впрочем, купался в теплых кислосерных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы,

Каменной и Змейной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает, дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградой в будущих войнах и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии»⁸.

В этих словах так и отзываются разговоры в обществе Раевских о Кавказе, о тамошней войне и об ее значении для России. Пособство Ермолова в Персию было еще в свежей памяти. От генерала Раевского Пушкин, конечно, наслушался рассказов о подвигах Цицианова, Котляревского и Ермолова, тогдашнего главнокомандующего кавказских войск. Последний приходился родственником Раевскому и был его товарищем по службе. Всех троих Пушкин помянул впоследствии в Эпilogue к **Кавказскому Пленнику**.

Поэмой этой, которую Пушкин замыслил еще во время своего путешествия, он дорожил потом именно как картиною Кавказа. И действительно, описательная часть **Кавказского Пленника** свидетельствует, что молодой Пушкин не был праздным путешественником, приехавшим только полечиться да погулять. Нужно было много умного внимания и наблюдательности, чтобы так схватить главнейшие черты края. Что касается собственно до внешней поэтической работы, то, кажется, в два месяца кавказской жизни Пушкин мало писал. И до письма ли тут было? Рожденный и воспитанный в равнинах и очутившийся вдруг среди заоблачных гор, он был слишком поражен великолепием и новизною картины и только набирался впечатлений.

Забытый светом и молвою,
Далече от берегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немymi
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой,

Но огонь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений,
Она прошла, пора стихов, и проч.⁹

С Кавказа, сколько мне известно, Пушкин послал в печать только два небольшие дополнения к Руслану и Людмиле и Эпilog этой поэмы. Надо заметить, что он уехал из Петербурга, не успев выдать в свет Руслана и Людмилы. Известный любитель словесности и художеств, А. Н. Оленин, лично знавший Пушкина, желая на деле показать любовь свою к его таланту, сам сочинял рисунки к Руслану и Людмиле, а Н. И. Гнедич, с которым Пушкин сошелся у Оленина, принял на себя хлопоты издания. Самая рукопись оставлена была у брата, Льва Сергеевича, который, вместе с товарищем своим С. А. Соболевским, доканчивал печатание. Последний рассказывает, что много было труда разбирать шестую песнь, не перебеленную сочинителем. Поэма появилась в исходе мая или в начале июня месяца (цензурное дозволение И. Тимковского дано 15 мая 1820). Посылая свои добавления к двум местам шестой (последней) песни, всего 17 стихов, Пушкин мог думать, что они вместе с Эпилогом еще поспеют в Петербург прежде отпечатания книжки. Но поэма уже вышла, и новые стихи ее появились в лучшем тогдашнем журнале, в **Сыне Отечества** (№ 38), который издавался Н. И. Гречем. А может быть и то, что Пушкин, уже получив от Гнедича* на Кавказе печатный экземпляр Руслана и Людмилы и будучи недоволен текстом, послал пропущенные места шестой песни, печатавшейся, как выше сказано, с черновой рукописи. Во всяком случае видна заботливость о своем произведении и осмотрительность при появлении в печати, наследованные Пушкиным от Карамзина, Батюшкова и Жуковского. Что касается Эпилога к Руслану и Людмиле, то в нем Пушкин захотел выразить благодарное чувство свое. Это был голос с Кавказа Карамзину, Чаадаеву и вообще петербургским друзьям. Раевские тоже могли относиться к себе следующие стихи:

Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду,

* В письме к барону Дельвигу от 23 марта 1821 г. Пушкин говорит, что Гнедич доставил ему **девственную** Людмилу.

Ты сердцу возвратила мир,
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!

Под Эпилогом означено: «26 июня. 1820. Кавказ». Выше замечено, что кавказская поездка дала Пушкину богатый запас поэтических впечатлений. «Питаюсь чувствами немymi», наблюдательный и впечатлительный поэт принял на душу всю роскошь и разнообразие новых для него картин. Рассказывая нам впоследствии о судьбах своей Музы, он говорит:

Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой при луне
За мной скакала на коне!¹⁰

Или:

Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам,
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там!¹¹

Быть может, к воспоминаниям об этой жизни принадлежат и стихи 1828 г. **Не пой, красавица, при мне.**

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой бедной девы.

Глубокая задушевность этих стихов заставляет думать, что они связаны с каким-нибудь действительным случаем, и в них, может быть, заключена какая-нибудь биографическая черта. Но подробностей, разумеется, нечего спрашивать. Во всяком случае поэтический отчет о своем путешествии Пушкин дает в **Кавказском Пленнике.**

И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада —
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда...

Тоску неволи, жар мятежный
В душе глубоко он скрывал,
Влачась меж угрюмых скал.
В час ранней, утренней пролады
Вперял он неподвижный взор
На отдаленные громады

Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом...

Меж тем, померкнув, степь уснула,
Вершины скал омрачены,
По белым хижинам аула
Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекий топот табунов.

То же самое отчасти повторено в вышеприведенном отрывке из письма к брату.— К поэтическим заметкам и воспоминаниям о Кавказе принадлежит, наконец, четверостишие в альбоме Онегина, любопытный образец пушкинской наблюдательности:

Цветок полей, листок дубрав
В ручье кавказском каменеет;
В волненьи жизни так мертвеет
И ветренный и пылкий нрав*.

Поездка на Кавказ ограничивалась минеральными водами: дальше в глубь Кавказа Пушкин не ездил в этот раз и не видал ни Терека, ни Казбека. В первых числах августа путешественники наши окончили купанья и отправились на южный берег Крыма. Путь их лежал по земле черноморских козаков, вдоль берегов Кубани, вблизи немирных черкесских аулов. Тут опять новые картины и новые, небывалые впечатления. «Видел я берега Кубани,— продолжает Пушкин в письме, из которого выше приведен отрывок,— любовался нашими козаками; вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 козаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде боль-

* Или, в другом месте:

Но все пропало!.. резвый нрав..
Душа час от часу немеет,
В ней чувства нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет¹².

шого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала, и там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. Когда-нибудь прочту тебе мои замечания об черноморских и донских козаках; теперь тебе не скажу об них ни слова».

В реке бежит гремучий вал,
В горах безмолвие ночное;
Козак усталый задремал,
Склонясь на копье стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой¹³

«С полуострова Тамана, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я. На ближней горе, посреди кладбища, увидел я груды камней, утесов грубо высеченных; заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли это основание башни, не знаю. За несколько верст остановились мы на **Золотом холме**: ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом и подобно старику Вергилию разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он неумный человек, но имеет большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной*. Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в **Юрзуф**, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю: отошли ее Гречу

* Пушкин называет город Феодосию Кефой. Броневский перед тем занимал должность Феодосийского градоначальника. Он был литератор и вдобавок мартирист того времени. В *Жизни Сперанского*, т. 2, стр. 149, сказано, что Броневский имел с Сперанским религиозно-мистическую переписку. Его не следует смешивать с другим Броневским, автором плохой книжки: *Путешествие из Петербурга в Триест*.

без подписи*. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами, везде мелькали татарские селения. Он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели».

Этот переезд и трехнедельная жизнь в Юрзуфе оставили Пушкину лучшие воспоминания его жизни. Путешествие окружено было всеми удобствами. Из Керчи до Юрзуфа они плыли на военном бриге, отданном в распоряжение генерала. По словам одной из спутниц, в ночь перед Юрзуфом Пушкин расхаживал по палубе в задумчивости и что-то бормотал про себя.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля,
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я.
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груди ваших гор;
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там меж хижинок Татар...**
Какой во мне проснулся жар,
Какой волшебною тоскою
Стеснилась пламенная грудь!¹⁴

Года через три Пушкин несколько равнодушнее рассказывал об этом путешествии барону Дельвигу, но зато со-

* Это Элегия — **Погасло дневное светило**. Пушкин означил ее: «Черное море. 1820. Сентябрь».

Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей.

Н. И. Греч вскоре напечатал Элегию в одной из ноябрьских книжек **Сына Отечества** (№ 46). Намеки, может быть, биографического значения, находящиеся в этой Элегии, остаются для нас непонятны, и оттого мы не можем себе объяснить, почему Пушкин не захотел выставить под ней имени, а потом в собрании стихов своих, 1826 года, опять для прикрытия, означил пьесу **Подражанием Байрону**.— Для биографа особенно любопытно и часто весьма бывает важно следить, под какими произведениями поэт выставлял имя, и в каких, напротив, скрывал свою подпись. Эти последние большею частью содержат в себе чисто личные ощущения и задушевную думу Пушкина. Может быть, он познакомился с семьею герцога Раевского, с его дочерьми, еще раньше поездки на Кавказ, еще в Петербурге:

Я вижу бе.ег отдаленный,
Земли пол.денной волшебные края:
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Вспоминаньем упоенный...
Я вспомнил прежних лет безумную любовь...

** Очевидно, говорится о доме, в котором жило семейство Раевского.

общил еще несколько любопытных подробностей. «Из Азии,— пишет он,— переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так названную **Митридатovu гробницу** (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал; луны не было; звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы... «Вот Чатырдаг!» — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли, плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аюдаг... кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск и воздух полуденный»*.

Юрзуф или Гурзуф — очаровательный уголок южного Крымского берега, ныне известный богатыми виноградниками. Он лежит на восточной оконечности южного берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Горы небольшим полукругом облегают тамошнее море. С севера загораживает Чатырдаг, с востока Аюдаг заслоняет от палящих лучей солнца; оттого в Гурзуфе такой превосходный, умеренный климат и такая роскошь растительности. М. П. Погодин обязательно сообщил нам вид Юрзуфа, снятый со стороны моря. Тут внимание особенно останавливается на одной скале, которая подымается над самым домом, где жил Пушкин, и представляет собою удивительную игру природы: в очертаниях скалы, даже и без особенной резвости воображения, нельзя не признать изображения человеческого лица, и притом весьма схожего с бюстами императора Александра I. Гурзуф расположен на скате. Лучшая дача, ныне владение И. И. Фундукля, принадлежала тогда бывшему одесскому генерал-губернатору герцогу Ришелье, который и предложил ее на летнее житье своему товарищу по военной службе, генералу Раевскому. Это был довольно большой двухэтажный дом,

* Письмо это писано, вероятно, в 1824 году, для **Северных Цветов Дельвига**, где оно и появилось в 1826. Оно было вызвано появившеюся в 1823 г. книгою И. М. Муравьева-Апостола **Путешествие по Тавриде в 1820 году**, по которой Пушкин хотел проверить собственные впечатления.

с двумя балконами, один на море, другой в горы, и с обширным садом. Кругом и ближе к морю разбросана татарская деревушка¹⁵.

Тут семья Раевского вся была в сборе, кроме его матери, жившей в Киевской деревне, и сына Александра, который остался на Кавказе. (Это мы должны заметить.) наших путешественников ожидали в Гурзуфе супруга Раевского, Софья Алексеевна, урожденная Константинова, внучка Ломоносова, и две отлично образованные и любезные дочери, Екатерина Николаевна (старшая всем, нынче вдова Орлова) и Елена Николаевна, тогда лет 16-ти, высокая, стройная, с прекрасными голубыми глазами. Брат Николай скоро познакомил с ними своего молодого приятеля. В доме нашлась старинная библиотека, в которой Пушкин тотчас отыскал сочинения Вольтера и начал их перечитывать. Кроме того Байрон был почти ежедневным его чтением: Пушкин продолжал учиться по-английски с помощью Раевского-сына. Но большая часть времени, разумеется, происходила в прогулках, в морском купании, поездках в горы, в веселых оживленных беседах, которые постоянно велись на французском языке. Пушкин часто разговаривал и спорил с старшей Раевской о литературе. Стыдливая, серьезная и скромная Елена Николаевна*, хорошо зная английский язык, переводила Байрона и Вальтер-Скотта по-французски, но втихомолку уничтожала свои переводы. Брат сказал о том Пушкину, который стал подбирать под окнами клочки изорванных бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверяя, что они чрезвычайно верны.

«Мой друг,— писал Пушкин брату,— счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу Русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного, поощительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года, человек без предубеждений, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества»¹⁶.

И Раевские не могли не полюбить молодого поэта, потому что сумели открыть в нем высокий ум, нежное, привязчивое сердце, благородную гордость души. Несмотря

на французское воспитание, старик Раевский был настоящим русским человеком, любил русскую речь, по собственной охоте и, может быть, через Батюшкова, служившего при нем адъютантом, и через своего родственника Д. В. Давыдова, знаком был с нашею словесностью, знал и ценил простой народ, сближаясь с ним в военном быту и в своих поместьях, где, между прочим, любил заниматься садоводством и домашнею медициною. В этих отношениях он далеко не походил на своих товарищей по оружию, русских знатных сановников, с которыми после случалось встречаться Пушкину и которым очень трудно было понять, что за существо поэт, да еще русский. Раевский как-то особенно умел сходиться с людьми, одаренными свыше. Так точно на Кавказе же он приблизил к себе и навсегда привязал к своему семейству известного доктора Мейера. По отношению к Пушкину генерал Раевский важен еще для нас как человек с разнообразными и славными преданиями, которыми он охотно делился в разговоре. Недавно прошедшая история России прошла в глазах у него. Он был родной по матери племянник графа Самойлова, генерал-прокурора при Екатерине; он начал службу при другом своем родственнике, представителе века, князе Потемкине и пользовался особенно любовью его. Вблизи Гурзуфа находится Артек, опустелая и некогда великолепная дача Потемкина, и уже одно это должно было часто наводить разговоры на Потемкина и его время. Отсюда у Пушкина такое близкое знакомство с новою Русскою историей. От Раевского он наслушался рассказов про Екатерину, XVIII век, про наши войны и про 1812-й год. Некоторые из этих рассказов были записаны Пушкиным и дошли до нас как важные исторические черты и в то же время как доказательства высокой любознательности поэта. Достоин замечания, что в 1829 г., когда умер Раевский, Пушкин писал письмо к графу Бенкендорфу, ходатайствуя об увеличении пенсии его семейству: так хотелось ему чем-нибудь заплатить долг благодарного сердца.

«Старший сын его,— продолжает рассказывать своему брату Пушкин, увлекаемый признательностью к приютившему его семейству,— будет более нежели известен. Все его дочери—прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое, полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяю-

* Елена Николаевна Раевская пережила Пушкина; она не выходила замуж и скончалась в Италии лет 12 тому назад.

щая воображению, горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского». Еще несколько подробностей передает Пушкин в упомянутом письме к барону Дельвигу. «В Юрзуфе, — говорит он, — жил я сиднем, купался в море и обедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью Неаполитанского Lazzaroni. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством похожим на дружество».

Одну черту этого рассказа Пушкин повторил потом в Онегине, говоря о своей Музе:

Как часто по брегам Тавриды
Она меня во тьме ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Творцу миров!¹⁷

А кипарис, любимец Пушкина, до сих пор цел; он вырос теперь огромным, статным деревом. Путешественники ходят к нему и срывают с него ветки на память о Пушкине. С ним подружился, его любил поэт, и под счастливым южным небом этого одного достаточно, чтобы с этим кипарисом связалось поэтическое сказание. Постоянные обитатели Гурзуфа, тамошние татары уверяют, что когда поэт сживал под кипарисом, к нему прилетал соловей и пел с ним вместе; с тех пор каждое лето возобновлялись посещения пернатого певца; но поэт умер, и соловей больше не прилетает*.

К воспоминаниям о жизни в Юрзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы, и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за его стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтит и берег от чужих взоров и которая послужила внутренней основой всех тогдашних созданий его гения. Мы не можем определенно указать на предмет его любви; ясно, однако, что встретил он его в Крыму и что любил без взаимности.

* См. «Крымские письма Евгении Тур» в Спб. Ведомостях 1854 года, письмо 5-е.

Я помню море пред грозой:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередой
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!¹⁸

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж олив, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала,
И пену из власов струею выжимала!¹⁹

**В Элегии: Редает облаков летучая гряда уже явно за-
ключена биографическая подробность, какая именно, мы
теперь не знаем:**

Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят таврические* волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень.
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Когда, против воли Пушкина, напечатаны были в 1824 году, в **Полярной Звезде**, три последние приведенные нами стиха, Пушкин огорчился таким обнародованием его тайны и писал издателю А. А. Бестужеву: «Мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, как другой... Бог тебя простит, но ты осрамил меня в нынешней Звезде, напечатав три последние стиха моей элегии... Что ж она подумает? Обязана ли она знать, что она мною не названа... что элегия представлена тебе Бог знает кем, и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете»²⁰.

К Гурзуфу, кажется, относится и стихотворение: **О дева роза, я в оковах**, в котором Пушкин говорит о соловье, влюбленном в розу. По всему вероятно, он писал там и свои замечания о донских и черноморских козаках, упо-

* Так было в первоначальном тексте, Пушкин заменил слово **таврические** словом **полуденные**; точно так же в предыдущем стихотворении вместо **олив** он потом поставил **дерев**.

минаемые им в письме к брату и теперь утраченные, и там же занялся и набросал первые отрывки новой поэмы, **Кавказский Пленник***.

Пушкин прожил на южном берегу три недели, если не ошибаемся, до второй половины сентября. Как ни хороша была тамошняя жизнь, но срок отпуска кончился. Раевский должен был возвратиться на службу в Киев. Вместе с сыном и Пушкиным он поехал вперед; семейство его осталось на время в Гурзуфе, и соединилось с ним, кажется, в Бахчисарае. Путь лежал по крутым скалам Кикениса. «По горной лестнице взобрались мы пешком,— пишет Пушкин к Дельвигу,— держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде и еще видел и тополи и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических: по крайней мере тут посетили меня рифмы». Пушкин разумеет свое послание к Чадаеву: **К чему холодные сомнения**, под которым находим отметку: «С морского берега Тавриды», и в двух стихах которого дан отчет о тогдашнем состоянии души его:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина²¹.

«В Бахчисарай,— продолжает он,— приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes***. Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан: из заржавой железной трубки по камням падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевет, и на полугерманские переделки некоторых комнат. N. N. почти насильно повел меня, по ветхой лестнице, в развалины гарема и на ханское кладбище.

* На одном из первых черновых набросков **Кавказского Пленника** сохранилась пометка: «1820 августа 21».

** Фонтан слез (*фр.*).

Вероятно, это та самая женщина, про которую Пушкин говорил, что поэма его **Бахчисарайский фонтан** есть не что иное, как переложение в стихи ее рассказа. Буква К* поставлена в печати, может быть, для прикрытия.

Но не тем
В то время сердце полно было...

Лихорадка меня мучила».

Пока Пушкин странствовал, во внешнем положении его устроилась новая перемена, как и прежде, случайная и также благоприятная. Возвращаться из Крыма пришлось ему не в Екатеринослав, откуда отпустил его Инзов, а в Бессарабию, в город Кишинев. Тогдашний наместник Бессарабской области, А. Н. Бахметев, испросил себе продолжительный отпуск, для излечения от ран, а должность его, 15 июня 1820 года, поручена была временно Инзову, который, переехав в Кишинев, перевел туда и попечительный комитет о колонистах Южного края*. Читатели убедятся из дальнейшего рассказа нашего, как важно было для Пушкина это обстоятельство: вместо однообразной губернской жизни он очутился почти в пограничном городе, с самым пестрым населением, представлявшим множество предметов для его наблюдательности, познакомившим его с разнохарактерными явлениями русской жизни. Кавказ и Крым воспитали в Пушкине чувство любви к природе, обогатив его душу великолепными образами внешнего мира; кишиневская жизнь развернула перед ним во всей пестроте и разнообразии мир людских отношений и связей: там по преимуществу познакомился он с жизнью и приобрел познание человеческого сердца, которое бывает так нужно писателю.

В Кишинев он приехал не прямо из Крыма. Ему, вероятно, не хотелось скоро расстаться с Раевскими, и он проводил их еще до Киевской губернии, до села Каменки, где жила мать старика Раевского, урожденная графиня Самойлова, во втором браке Давыдова**. С нею жили два ее сына от этого брака, Александр и Василий Львовичи, из которых первый был женат на веселой и любезной француженке, графине Грамон. Пушкин с нею очень скоро сошелся; но это первое посещение Каменки было не продолжительно.

В последних числах сентября Пушкин прибыл на житье в Кишинев, как видно по письму его к брату, в котором он описывал свое путешествие: оно писано на первых порах кишиневской жизни, 24 сентября 1820 г. «Теперь я один,

* См. биографию Инзова, в издании: **Александр I и его сподвижники**.

** От кн. М. Н. В<олконск>ой.

в пустынной для меня Молдавии», — замечает Пушкин. Но вскоре Кишинев перестал быть для него пустынею.

Прежде всего следует сказать об отношениях его к Инзову, которые теперь только и начались, потому что в краткий срок Екатеринославской жизни Пушкин едва успел с ним познакомиться. Иван Никитич Инзов (1768—1845) был питомец князя Николая Никитича Трубецкого, памятного своею дружескою связью с типографщиком Новиковым и с маринистами Екатерининского века. Инзов образовался и служил в молодости адъютантом при князе Н. В. Репнине, тоже маринисте. Он усвоил себе лучшие качества этих людей, вполне определенный образ мыслей, любовь к просвещению, мягкость нрава, чрезвычайное доброжелательство и человеколюбие. Так называемые иностранные поселенцы Южного края, и особенно отошедшие от нас недавно болгаре, до сих пор почитают память этого доброго начальника. В болгарских поселениях, в возникшем под его попечительством Болграде (1822) и теперь, во многих семействах, берегаются портреты Ивана Никитича. Имя его с признательностью помянется в будущей истории наших сношений с славянскими братьями. Но Инзов, вероятно, чужд был нынешних понятий о племенном сближении; он хлопотал и пекся о сербах и болгарях по чувству долга и по внушению прекрасной души своей. Это был человек не хитрого разума, простой в обращении, не умевший говорить красно и громко; но его искренняя приветливость, умение уживаться с людьми и мирить их, неподкупная честность и прямота характера заслужили ему любовь подчиненных и уважение людей равных и начальства. Сверх того Инзов был очень образован и начитан, занимался историей, естественными науками, собирал рукописи. Он тотчас оценил молодого Пушкина, чутьем сердца поняв высокое благородство его природы, и вместо того, чтобы быть строгим надзирателем за его поведением, сделался снисходительным и попечительным заступником. Выше упомянуто, что Пушкин явился к нему с письмом от гр. Каподистрии; что это было за письмо, нам неизвестно²²; но можно догадываться, что чья-нибудь дружеская предусмотрительность (Энгельгардта или Карамзина, который мог встречаться с Инзовым еще в прошлом веке, у Н. И. Новикова) указала высшему начальству на Инзова, как на человека, к которому всего лучше было послать Пушкина. Поэт, столь щекотливый в сношениях вообще с людьми, и особливо с поставленными выше его, никогда не имел

причины пенять на своего начальника, напротив, отзывался о нем с нежным участием, а Инзов, в свою очередь, очень жалел, когда потом Одесса переманила к себе Пушкина и когда он уехал от него к гр. Воронцову.

В Кишиневе вся власть соединялась в руках Инзова: кроме должности полномочного наместника Бессарабской области, он с июля месяца 1822 года правил всем Новороссийским краем, так как тамошний генерал-губернатор, граф Ланжерон, тоже отпросился в долгий отпуск к водам. Для нас это обстоятельство важно потому, что, живя при Инзове, Пушкин (хотя, вероятно, и не имел никаких служебных обязанностей) находился в средоточии управления обширным и важным краем, знал из первых рук все, что делалось в тех местах, а Бессарабия и вообще Новороссия в то время представляли много любопытного. Пушкин впоследствии имел полное право жалеть об истреблении своих тогдашних записок. Так, например, греческое восстание и меры нашего правительства по отношению к этому событию были во всех подробностях известны Пушкину, что видно, между прочим, из его расказа **Кирджали**, отчасти слышанного им от правителя канцелярии Инзова, М. И. Лекса*.

Бессарабия всего только восемь лет как поступила под власть России; Инзов был вторым ее наместником. Под турецким управлением и долго после Кишинев оставался большим хутором; у тамошних простолюдинов он до сих пор слышит под именем **Кишлá**, что по-молдавански, говорят, значит **овчарня**. Он был выбран средоточием власти по указанию знаменитого экзарха Гавриила Бодони, который и учредил в тамошнем монастыре свою митрополию. Кишинев лежит в середине области, на рубеже степной и горной Бессарабии**, почти на границах двух губерний, Херсонской и Подольской. Во время Пушкина он состоял почти из одного, так называемого, старого города, раскинутого по плоским и грязным берегам небольшой реки Быка, с тесными, кривыми улицами, грязными базарами, низенькими лавками и небольшими домиками, крытыми черепицей, но зато со множеством садов из пирамидальных тополей и белых акаций. В старом городе все время и жил Пушкин. Нынешний верхний, правильный или

* См. соч. Пушкина, V, 497. «Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место».

** См. статью Надеждина в **Одесском Альманахе** 1840 г., статью Н. В. Берга в **Москвитяине** 1855 г., № 4; статью В. П. Горчакова, там же 1850 г., № 2 и пр.

новый город, построенный на плоской возвышенности, тогда еще только возникал: там находилась митрополия, два-три хороших дома, в том числе дом Крупянского, где помещались театр и присутственные места и целый особый квартал Булгария, занятый недавними переселенцами-болгарами.

Население Кишинева, в то время, было до чрезвычайности пестрое. Главную массу составляли, если не ошибаемся, молдаване, жида и болгаре; но тут же жили греки, турки, наши малороссияне, немцы; попадались и караимы, арнауцы, французы и даже итальянцы, каждый с своим говором, с своими обычаями, в своих нарядах. Настоящих русских переселенцев было еще мало. Большую часть русского населения составляли солдаты и чиновники. Военный постой еще более разнообразил картину. Бессарабская область занята была корпусами второй армии.

Кишиневское общество, посреди которого Пушкин проводил большую часть времени, слагалось также из нескольких довольно резких отделов. Тут были прежде всего чиновники местного управления, адъютанты Инзова и его канцелярия. Правителем ее был **Лекс**, впоследствии товарищ министра внутренних дел. Как-то в разговоре при Пушкине называли **Лекса**:

Михаил Иваныч Лекс —
Прекрасный человек-с,

быстро подхватил Пушкин, и это присловье надолго оставалось при имени **Лекса**. Из чиновников, состоявших при Инзове, Пушкин особенно был дружен с недавно умершим **Николаем Степановичем Алексеевым**, переведенным на службу в Кишинев из Москвы, и с ним вместе часто посещал чиновника горного ведомства **Эльфректа**, страстного охотника до старинных монет. Из местных властей следует упомянуть еще о вице-губернаторе **Крупянском** и другом **Алексееве**, областном почтмейстере. — Второй отдел кишиневского общества составляли молдаванские бояре, одни занимавшие должностные места в городе, как, напр., из знакомых Пушкина губернатор **Катакази**, женатый на сестре кн. А. Инсиланти, и член верховного правления **Егор Кирилович Варфоломей**; другие просто зажиточные помещики, жившие в Кишиневе для удовольствия: **Прункул**, **Балш** и другие. — В третьем, самом замечательном для нас отделе, были люди военные. В Кишиневе квартировал тогда штаб 16-й пехотной дивизии, принад-

лежавшей к 6-му корпусу второй армии (корпусный командир — **Сабанеев** в Тирасполе). Начальником этой дивизии, следовательно, первым военным лицом в городе, был, до половины 1822 г., генерал-майор **М. Ф. Орлов**, перед тем служивший в Киеве начальником корпусного штаба при Н. Н. Раевском. Одной из бригад дивизии, состоявшей под начальством Орлова, тоже до половины 1822 года, командовал **Павел Сергеевич Пушкин**, человек весьма образованный и начитанный, служивший прежде в гвардейском Семеновском полку и почитавшийся масоном. Из состоявших при Орлове штаб-офицеров следует назвать, как более или менее близких знакомцев Пушкина — **Друганова**, **Колокуцкого**, **Охотникова**, **Липранди** и дивизионного квартирмейстера **Владимира Петровича Горчакова**, воспитанника московской Муравьевской школы колонновожатых. Кроме этих лиц, из Тульчина, где жил главнокомандующий 2-й армии, граф Витгенштейн, приезжали в Кишинев для съемки планов новоприобретенного края и проживали там офицеры генерального штаба, из которых назовем двоюродных братьев Полторацких: **Алексея Павловича** и **Михаила Александровича** (с первым Пушкин был очень близок), **Валерия Тимофеевича Кека**, и за последние месяцы кишиневской жизни Пушкина — **Александра Фомича Вельтмана**. Надо заметить, что Кишинев лежит на пути военных сообщений: из Бендер, Тирасполя, Тульчина, Херсона и других мест являлись туда генералы и офицеры по делам службы или проездом. Поблизости расположен был и 7-й корпус, входивший в состав второй армии. Так, например, в апреле 1821 г. зачем-то приезжал из Тульчина адъютант гр. Витгенштейна П. И. Пестель, о котором в бумагах Пушкина уцелела заметка: «Утро провел с П<естелем>. Умный человек во всем смысле этого слова. Моп соегр est materialiste, mais ma raison s'y refuse*. Мы имели с ним разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю**. К кишиневским гостям, вероятно, принадлежал и нынешний посол в Париже П. Д. Киселев, тогдашний начальник

* Сердцем я материалист, но разум этому противится (*фр.*).

** Библиографические Записки, 1859 года, № 5, столб. 120. Французская фраза, вероятно, была сказана Пушкиным в разговоре с П<естелем>, про самого себя. Он после не раз выражал эту мысль, например, в стихах: **Ты, сердцу непонятный мрак.** (В подлиннике после французской фразы стоит: «говорит он», что заставляет признать толкование Бартенева ошибочным. — *Сост.*)

штаба 2-й армии при гр. Витгенштейне. Познакомившись еще в Петербурге, Пушкин в это время, кажется, сблизился с ним. Наконец, в числе постоянных жителей Кишинева, за первое время тамошней жизни Пушкина, должно упомянуть также о семействе покойного молдавского господаря, кн. Ипсиланти, состоявшем из вдовы княгини, из дочери, бывшей за губернатором Катакази, и нескольких братьев, флигель-адъютанта, безрукого князя Александра, князей Николая, Георгия и Дмитрия, которые все находились в русской службе. Пушкин был вхож к ним в дом*.

Со всеми из названных лиц Пушкин был в непрерывных сношениях, и более или менее в дружеских связях. По своей живой общительной природе он никогда не мог быть одиночкой, всегда любил многолюдные собрания, постоянно являлся на кишиневских вечерах и балах и на холостых пирушках военной молодежи:

Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой²³.

Приступая теперь к рассказу о жизни Пушкина в Кишиневе, я весьма затрудняюсь соблюдением строгой хронологической последовательности, которая, по моему мнению, составляет первейшее условие при передаче биографических материалов. Затруднение это происходит главнейшим образом от скудости и отрывочности имеющихся сведений. Да и вообще чрезвычайно трудно схватить главные черты рассеянной, тревожной и разнообразной ки-

* В описании кишиневских знакомств и жизни Пушкина мы руководствуемся отчасти изустными рассказами и указаниями доброго приятеля его **В. П. Горчакова**, за которые обязаны ему великою признательностью. Он с любовью и нежным участием к памяти Александра Сергеевича передавал нам разные подробности, которые были необходимы для понимания прошедшей обстановки. Кроме того я пользовался печатными его статьями, **Выдержками из Дневника**, в **Москвитянине** 1850 г., кн. 2, стр. 146—182; кн. 3-я, стр. 233—264 и кн. 7-я, стр. 166—198; и **Воспоминанием о Пушкине** в 19 номере **Московских Ведомостей** 1858 года. Нельзя не пожелать продолжения этих статей: никакое исследование не может заменить живых и ярких свидетельств современника-очевидца.— Несколько указаний заимствовано еще из статьи покойного профессора Одесского лицея **К. Зеленецкого**: «Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и в Одессе, и примечания к описанию Одессы, в Евгении Онегине» (в **Москвитянине** 1854 г. № 9). Зеленецкий говорит, что он ездил нарочно в Бессарабию для собирания сведений о Пушкине и писал со слов **Д. А. Вороногова**, **П. С. Пушкина**, покойного **Марии**, **В. И. Гординского**, **П. С. Леонарда**, **В. З. Писаренка** и студента **Ратко**.

шиневской жизни Пушкина. Писем, этих фотографических снимков жизни, у нас очень мало, а какие и дошли до нас, те большею частью одного литературного содержания.

Сколько известно, Пушкин прожил в Кишиневе около трех лет, с последних чисел сентября 1820 г. до весны 1823-го; в этот срок, как видно будет ниже, он очень часто отлучался, то в Киев и Каменку, то в Одессу и степи. Приехав в Кишинев, он остановился в одной из тамошних глиняных мазанок, у русского переселенца Ивана Николаева, состоявшего при квартирной комиссии и весьма известного в городе смышленного мужа. Но Инзов скоро позаботился о лучшем для него помещении. Он дал ему квартиру в одном доме с собою. Дом этот, принадлежавший боярину Доницу и нанимавшийся для наместников на городские деньги, находится в конце старого Кишинева, на небольшом возвышении. В то время он стоял одиноко, почти на пустыре. Сзади примыкал к нему большой сад, расположенный на скате, с виноградником. Кому любопытно, тот может найти вид его при Одесском Альманахе 1840 года. Развалины до сих пор целы*. Это было довольно большое двухэтажное здание, вверху жил сам Инзов, внизу двое-трое его чиновников. При доме в саду находился птичий двор со множеством канареек и других птиц, до которых наместник был большой охотник. Рассказывают, что Пушкин из шалости и желая подтрунить над целомудрием своего старого начальника-холостяка, нашел средство выучить одну из его сорок каким-то нескромным словам**. Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, сзади, направо от входа, в три окна с железными решетками, выходившие в сад. Вид из них прекрасный, по словам путешественников, самый лучший в Кишиневе. Прямо под скатом, в лощине, течет речка Бык, образуя небольшое озеро. Левее — каменоломни молдаван, а еще левее новый город. Вдали горы с белыми домиками какого-то села. Стол у окна, диван,

* Дом этот подвергался несколько раз разрушению от землетрясений. Дальнейшие подробности о помещении Пушкина взяты из статьи **Н. В. Берга** в **Москвитянине** 1854 г. № 4. Г. Берг говорит, что дом этот зовут в Кишиневе домом Инзова, но что он принадлежит живущему за границей боярину Доницу. Но на фотографическом снимке с него, присланном из Кишинева **М. П. Погодину**, находится надпись, в которой сказано, что домом владел Инзов, и что на нем до сих пор лежит казенное запрещение по делу о начете на Инзова от провиантского департамента.

** Из Записок **Ф. Ф. Вигеля**.

несколько стульев, разбросанные бумаги и книги, голубые стены, облепленные восковыми пулями, следы упражнений в стрельбе из пистолета, вот комната, которую занимал Пушкин. Другая, или прихожая, служила помещением верному и преданному слуге его Никите, который, между прочим, остался в памяти кишиневских его друзей по двум стихам какого-то шуточного стихотворения:

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

Это значило, пора идти к обедне, в новый верхний город. В этом-то доме Пушкин прожил почти все время; он оставался там и после землетрясения 1821 года, от которого треснул верхний этаж, что заставило Инзова на время переместиться в другую квартиру. Воображению Пушкина могла даже казаться заманчивою жизнь под развалинами. Впрочем, большую часть дня он обыкновенно проводил где-нибудь в обществе, возвращаясь к себе ночевать и то не всегда, и проводя дома только утреннее время за книгами и письмом. Стола, разумеется, он не держал, а обедал у Инзова, у Орлова, у гостеприимных кишиневских знакомых своих и в трактирах. Так, в первое время, он нередко заходил в так называемый **Зеленый трактир** в верхнем городе, недалеко от митрополии. Там прислуживала молодая молдаванка **Марионилла**, и одну из ее песен Пушкин переложил в русские стихи — это **Черная шаль***.

По приезде в Кишинев Пушкин уже застал там **Михаила Федоровича Орлова**. Они сошлись, вероятно, еще в Киеве или в Петербурге, где Пушкин был довольно близко знаком с его родным братом, недавно умершим князем Алексеем Федоровичем, которому и написал в 1818 году известное послание:

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной,
Любезность, разум просвещенный и пр.

* Из Записок В. Г. Теплякова, см. **Общезанимательный Вестник** 1857, № 1. В печати под **Черною шалью** выставлено 14 ноября 1820; но это, вероятно, число отсылки ее в Петербург; — пиеса написана несколько раньше, как видно будет из дальнейшего рассказа. Пушкин был доволен ею и послал в Петербург. Она появилась в апрельском 15-м номере **Сына Отечества** 1821 г., но с ошибками; Пушкин рассердился и послал ее вторично в 5-й номер **Благонамеренного** 1821 г., где в примечании и было сказано, что стихи перепечатываются ради ошибок, с которыми их напечатали в **Сыне Отечества**.

Раевские, без сомнения, поручали Пушкина вниманию Орлова; но он и сам рад был знакомству с поэтом. Орлов славен своим горячим участием ко всему, что выступает из обыкновенной будничной жизни. Страсть к просвещению (он занимался в Киеве делами библейского общества), страсть к словесности и науке (он участвовал в Арзамасском обществе под именем **Рейна** и писал сочинение о финансах), страсть к искусствам (он был основателем московской школы живописи и ваяния), наконец к высокой политической деятельности всю жизнь волновали эту благородную душу. Под Аустерлицем он храбро дрался и, получив знак отличия в одно время с вестью о том, что бой проигран, горько заплакал. Участник 1812 года и заграничных войн, он был близко известен Государю, первый из русских вступил в Париж и договаривался о сдаче его, которую потом описал в особой записке*. Около 1820 года была самая живая пора его деятельности; его недаром называли цветом русских генералов. Он заботился о распространении грамотности между солдатами, старался смягчить грубые отношения к подчиненным, за что вскоре и пострадал. В Кишиневе он построил манеж и в новый 1822 год дал в нем большой завтрак, на котором, сверх обыкновения, были угощены, тут же, в одних стенах с начальством, все нижние чины. На первых порах знакомства Пушкин писал о нем к Чаадаеву: «Le seul homme que j'aie vu qui est heureux à force de vanité»**, что, к сожалению, говорят, до некоторой степени верно***, но этот отзыв не помешал впоследствии Пушкину ценить и любить Орлова. Они теснее сблизились в 1821 г., когда Орлов женился на старшей дочери Раевского, Екатерине Николаевне, любезной и высокоуважаемой приятельнице Пушкина по Юрзуфу. Орлов занимал в новом Кишиневе два большие дома; у него, как у начальника, постоянно собирались военные люди, и кроме того приезжали и гащивали Раевские, Давыдовы и родной брат его Федор Федорович, великан ростом, георгиевский кавалер, без ноги по колено, которого, как кажется, Пушкин хотел потом изобразить героем романа из русских нравов. Пушкин целые дни проводил в умном и любезном обществе, собиравшемся

* Записка эта, сочиненная по-французски, была напечатана в русском переводе, но, к сожалению, не вполне, в альманахе **Утренняя Заря** 1843 г.

** Единственный встреченный мною человек, который счастлив благодаря своему тщеславию (*фр.*).

*** Слышано от П. Я. Чаадаева.

у М. Ф. Орлова, и там-то, за генеральскими обедами, слуги обносили его блюдами, на что он так забавно жалуется. Беседа опять-таки шла на французском языке. «Пиши мне по-русски,— требует Пушкин от брата в письме от 27 июня 1821 г.,— потому что, слава Богу, с моими... друзьями я скоро позабуду русскую азбуку». Свобода обращения, смелость, а иногда резкость ответов, небрежный наряд Пушкина, столь противоположный военной форме, которая так строго наблюдалась и соблюдается в полках, все это не раз смущало некоторых посетителей Орлова. Однажды кто-то заметил генералу, как он может терпеть, что у него на диванах валяется мальчишка в шароварах. Орлов только улыбался на такие речи; но один раз полушутя он сказал Пушкину, пародируя басню Дмитриева (**Башмак мерка равенства**).

Твои, мои права одни,
Да мой сапог тебе не в пору.

«Эка важность, сапоги! — возразил Пушкин, — если меряться, так у слона больше всех сапоги». Этим все и кончилось, и размолвки между ними никогда не было²⁴.

В первых числах ноября 1820 года кочевая труппа немецких актеров давала представление в бедном Кишиневском театре, кое-как освещенном сальными свечами. В числе посетителей находился молодой офицер генерального штаба В. П. Горчаков, недавно приехавший на службу к Орлову, и из своих кресел наблюдал новое для него общество. «В числе многих,— рассказывает он,— особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости, и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою? какая грусть мрачит твою душу? Одежду незнакомца составляли черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары. Кто бы это, подумал я, и тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы. После первого акта какой-то драмы, весьма дурно игровой, Пушкин подошел к нам; в

разговоре с Алексеевым он доверчиво обращался ко мне, как бы желая познакомиться». Замечание Горчакова, что игру актеров разбирать нечего, что каждый играет дурно, а все вместе очень дурно, рассмешило Пушкина; он начал повторять эти слова и тут же вступил с ним в разговор, содержание которому дали воспоминания о петербургских артистах, о Семеновой, Колосовой и других. Поэт невольно задумался. «В этом расположении духа он отошел от нас,— замечает В. П. Горчаков,— и пробираясь между стульев со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека, остановился перед какою-то дамою... мрачность его исчезла; ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывною речью... Пушкин беспрерывно краснел и смеялся; прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала».

На другой день они опять встретились у М. Ф. Орлова. «В это утро,— продолжает новый знакомец Пушкина,— много было говорено о молдаванской песне **Черная шаль**, на днях им только написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре. Пушкин это заметил и, по просьбе моей и Орлова, обещал мне прочесть ее; но, повторив в разрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею: припрыгивал, становился в позу... В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться. Друганов отказался, Пушкин настоятельно требовал, и как живой ребенок стал шутя затрогивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукой, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить раздор новых моих знакомых, я снова попросил Пушкина прочесть мне молдаванскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением: каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением... «Как же, заметил я, вы говорите: **в глазах потемнело, я весь изнемог, и потом: вхожу в отдаленный покой?**» — «Так что ж,— прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница,— это не значит, что я ослеп». Сознание мое, что это замечание придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню». Читатели припомнят стих:

Неверную деву лобзал армянин.

В это время М. Ф. Орлов по должности ездил осматривать пограничную, охранительную линию по Дунаю и Пруту. Он возвратился в Кишинев 8 ноября. Офицеры поспешили ему представиться, это же был день его именин. Вместе с другими пришел и Пушкин. В. П. Горчаков передает эту встречу. «Орлов обнял Пушкина и тотчас же стал декламировать: **Когда легковерен и молод я был.** В числе кишиневских новостей ему уже переданы были новые стихи. Пушкин засмеялся и покраснел. «Как, вы уже знаете?» — спросил он. «Как видишь», — отвечал тот. «То есть, как слышишь», — заметил Пушкин смеясь. Генерал на это замечание улыбнулся приветливо. «Но шутки в сторону, — продолжал он, — а твоя баллада превосходна, в каждом двух стихах полнота неподражаемая», — заключил он, и при этих словах выражение его лица приняло глубокомысленность знатока-мецената».

В декабре того же года В. П. Горчаков проезжал через Киев: там уже твердили и повторяли наизусть молдавскую песню.

В конце 1820 года, в Кишиневе Пушкин написал еще два небольшие стихотворения несравненно выше **Черной** шали, это — **Виноград**²⁵ и **Дочери Карагеоргия**. По поводу первого из них можно вспомнить, что любоваться виноградом Пушкин мог из окон своей кишиневской комнаты:

Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

Что касается до превосходных стихов к дочери Сербского князя, я не знаю наверно, был ли Пушкин знаком с нею, или писал только по слухам. Понятно, что его поэтическое внимание остановилось на грозном образе пастуха-героя, освободителя своей родины. Черный Георгий, за три года перед тем погибший от руки убийц, жил некоторое время в России, а его семейство долго потом оставалось, если не ошибаясь, в городе Хотине, недалеко от Кишинева. Подобно Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, Кирджали, Дон-Жуану, этот герой с характером разбойника поразил воображение нашего Пушкина. В послании к его дочери метко схвачена физиономия:

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой;
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей и славы был достоин.

Рассказы о Карагеоргии Пушкин мог слышать от русских офицеров, в последнюю Турецкую войну сражавшихся вместе с сербами и в Сербии, а особенно от своего кишиневского знакомого, отставного драгунского полковника Алексея Петровича Алексеева. Этот Алексеев, старый служака и георгиевский кавалер, был человек весьма оригинальный и добродушный. Вечно в полной форме, он нарочно отклонял от себя повышение по своей службе в почтовом ведомстве, чтобы не менять своего любимого и дорогого мундира. Будучи областным почтмейстером, он первый узнавал все новости и любил делиться ими. Кроме того он охотно рассказывал про свою славную военную службу. Пушкин довольно часто бывал у него и впоследствии породнился: брат жены Алексеева, Н. И. Павлицев женился на сестре Александра Сергеевича. Вообще надо заметить, что в Кишиневе Пушкин встречал болгар и сербов, обращал на них внимание, и оттого, может быть, с таким умением перекладывал впоследствии песни славян*.

* Читатели могли заметить, какой важный материал для биографии Пушкина представляют собственные его сочинения: иногда одно слово, одно прилагательное служат самым надежным указанием. Поэтому весьма нужно знать, когда именно что писано. Отчасти он сам помог этому, расположив по годам стихи свои в тех пяти книжках, которые вышли при его жизни, одна в 1826 и четыре в 1829—1835 годах. Тут главное хронологическое указание. Потом в рукописях его сохранились некоторые числовые отметки, уже не только годов, но и дней. Некоторые из них переданы в издании Анненкова и повторены в издании Исакова. Но в обоих этих лучших изданиях стихотворения Пушкина расположены только по годам, в самых же годах перепутаны и, следовательно, опять-таки не могут представлять точной поэтической летописи, где иногда важны месяцы и даже дни создания пиесы. Для будущего издания, которое, вероятно, не замедлит появиться, предлагаем для примера расположить стихи 1820 года в следующем порядке²⁶:

1. Дориде
2. Дорида
3. Эпиллог к Руслану и Людмиле.
4. Погасло дневное светило.
5. Увы, зачем она блистает
6. О дева роза, я в оковах.
7. Чаадаеву с морского берега Тавриды.
8. Фонтану Бахчисарайского дворца.
9. Нереида.
10. Редет облаков летучая гряда.

Новый 1821 год он встретил, кажется, в Кишиневе; но в феврале видим его в Киеве, куда он уехал, без сомнения, чтоб повидаться с Раевскими. Туда еще долго рвалась душа его. Кто-то из знакомых, неожиданно встретясь с ним в Киеве, спросил, как он попал туда. «Язык до Киева доведет», — отвечал Пушкин, намекая на причину своего удаления из Петербурга. В Киеве, 8 февраля 1821 г., написал он свои стихи *Земля и море*, из которых видно, что мысль его все еще жила у берегов Тавриды; 14 февраля написана *Муза* (В младенчестве моем она меня любила)²⁷. К этой же поре следует отнести стихотворение *Желание*, очевидно вызванное свиданием с Раевскими, и все проникнутое воспоминанием о Юрзуфе:

Скажите мне, кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?..
Приду ли вновь, поклонник Муз и мира,
Забыв молву и света суеты,
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты?
В моих руках Овидиева лира,
Счастливая певица красоты,
Певица нег, изгнанья и разлуки,
Найдет ли вновь свои живые звуки?²⁸

Конец февраля месяца Пушкин провел опять в Каменке у Давыдовых, и в это время сблизился с женою Александра Львовича, как это видно из стихов к Аглае, весьма любопытных в биографическом отношении:

Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы...²⁹

20 февраля в Каменке он оканчивает *Кавказского Пленника*, а 22 числа того же месяца пишет стихи: *Я пере-*

11. Виноград.
12. Черная шаль.
13. Дочери Карагеоргия.

В издании Анненкова к 1820-му году еще отнесены стихи *Записка к Приятелю* (о кухмистере Тардифе), *В лесах Гаргарии счастливой*, а в издании Исакова еще *Платонизм*, но не сказано, на каком основании. Эти стихи могли быть написаны и несколько раньше, и несколько позже; их надо отнести к неизвестным по времени, означив год предположительно.

* Соч. Пушкина, VII, 27.

Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату,
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшому брату

жил свои желанья, при которых в рукописи пометка. «Из поэмы *Кавказ*».

Кавказский Пленник, по нашему мнению, весьма важен по отношению к внутренней жизни сочинителя. Поэма, собственно, состоит из двух, довольно резко отделяющихся частей: с одной стороны — описания Кавказа, которые суть не что иное, как отчет недавно совершенного путешествия, и которыми Пушкин был впоследствии недоволен, называя их голиковской прозой в сравнении с поэзией кавказской природы; с другой — характер героя. В этом характере, без сомнения, есть некоторые, если не черты, то временные ощущения поэта. Пушкин тогда еще был слишком молод, чтобы совершенно отвлекаться от своей личности и в изображение своих героев не вносить собственных чувств. Конечно, тут участвовало влияние Байрона, с которым он тогда был уже знаком; но по свойству молодого творчества, увлекаясь своим созданием, поэт невольно поддавался тому настроению, которое хотел описать в главном лице поэмы. Тут особенно любопытны откинутые в печати эпиграфы *Кавказского пленника**, явно указывающие на собственное элегическое состояние, которым проникнуты и другие его произведения 1821 года. Уныние осталось на душе от неудовлетворенной любви; оживив в своем воображении жизнь на Кавказе и в Крыму, он жалеет о ней и стремится туда душою. Наконец, посылая *Пленника* В. П. Горчакову, он прямо говорит: «характер Пленника неудачен; это доказывает, что я не го-жусь в герои романтического стихотворения»³⁰. Пушкин недоволен был этой новой поэмой, сам лучше всех указывал на ее недостатки, и все-таки писал о *Пленнике*: «Признаюсь, люблю его, сам не зная за что; в нем есть стихи моего сердца». Мы, конечно, не имеем полной возможности следить за тайным ходом душевных настроений Пушкина; но смеем догадываться, что страсть, столь пламенная в Гурзуфе, теперь, за недостатком взаимности и вследствие разлуки, ослабела и простыла, оставив ему какое-то разочарование. Он, однако, очень дорожил волно-

* Эпиграфы эти приведены в материалах Анненкова, стр. 95: один из Гете: *gib meine Jugend mir zurück*, <мне молодость верни мою, — нем.> и другой из итальянского, мало у нас известного поэта Пиндемонте: «О, счастлив, кто никогда не переступал за границу сладкой земли своего народа; сердце его не привязано к предметам, которых ему нет надежды увидеть снова». Именно это чувство замечаем в Пушкине и когда он писал *Пленника* и еще года два после.

вавшим его чувством и долго таил про себя те поэтические заметки, в которых оно высказалось.

Внешним содержанием **Кавказскому Пленнику** послужил рассказ одного из московских его знакомых и дальнего родственника Немцова, человека, страстно любившего выдумывать про себя необыкновенные анекдоты и умевшего передавать их с правдоподобием и увлекательностью. Он однажды рассказывал при Пушкине, будто, живя на Кавказе, попался в плен к горцам и был освобожден черкешенкой, которая в него влюбилась. О таком происхождении **Кавказского Пленника** сам Пушкин передавал Жуковскому*. Может быть также, образ петербургской актрисы Истоминой, родом черкешенки, за которой Пушкин ухаживал в Петербурге и которую потом так блистательно вывел в **Онегине**, носился в его воображении, когда он писал **Кавказского Пленника**³¹.

В первых числах марта Пушкин уже был опять в Кишиневе и жил безвыездно до мая. В эти дни два месяца он много работал. Вообще должно заметить, что только по наружности жизнь Пушкина могла казаться совершенно праздною и рассеянною; мы знаем, как плодотворны бывали для него и самые досуги. Но не одна поэтическая мысль его находилась в постоянной деятельности. В тиши своей комнаты он часто и много читал.

Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье!³²

Выше упомянуто о библиотеке в Гурзуфе; в Киеве у Раевских и в Каменке у Давыдовых, без сомнения, тоже было довольно книг. Младший Раевский прислал ему с В. П. Горчаковым несколько книжек русских сказок. В Кишиневе он брал книги у Инзова, у Орлова, Пущина и всего чаще у Ивана Петровича Липранди, владевшего в то время отличным собранием разных этнографических и географических книг. В числе разнообразных сочинений, занимавших Пушкина в эту пору, прежде всего следует назвать Байрона, с которым он начал знакомство еще в

Петербурге, где учился по-английски и брал для того у Чадаева книжку Газлита: **Рассказы за столом** (Hazlite, Table talk*). Сам он признается, что, живя в Кишиневе, сходил с ума от Байрона. Другим его любимцем был тогда Овидий, которого он читал, вероятно, во французском переводе, потому что, по его же словам, по выходе из Лицея не раскрывал латинской книжки и мог только

Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale**.

Элегии Овидия могли особенно нравиться Пушкину, между прочим и потому, что в собственной участи своей он любил находить некоторое сходство с судьбою римского поэта-изгнанника. Самая близость Овидиополя напоминала о нем Пушкину.

Обыкновенно Пушкин почитал осеннее время наиболее благоприятным для своих литературных работ; весна, напротив, только раздражала его силы и лишала необходимого для занятий покоя. Но 1821-й год был в этом отношении исключением. Ни в одну весну, сколько знаем, ему не случалось трудиться так много, как этот год. Погостив у Раевских в Киеве, у Давыдовых в Каменке, он около трех месяцев сряду прожил безвыездно в Кишиневе. Тут ему, вероятно, приходилось чаще прежнего оставаться дома: М. Ф. Орлов, в обществе которого он проводил обыкновенно целые дни, теперь уехал жениться в Киев. Может статься, что собрания у Орлова и памятные вечерние беседы в Каменке, где обсуживались разные общественные вопросы, заставляли молодого Пушкина пристальнее глядеть на самого себя и в то же время вообще направляли его мысли к занятиям умственным. Мы знаем, что уже в Лицее он начинал записывать важнейшие случаи своей жизни***, и потом, когда один из его товарищей (Ф. Ф. Матюшкин) отправлялся в кругосветное плавание, он убедил его вести записки и подал совет, как следует вести их. По его собственным словам, он несколько раз принимался за ежедневные записки, но отступался из лени (V, 3). Весною 1821 года видим его снова за этою работою, как показывают уцелевшие отрывки тогдашнего

* Немцов был пасынок известного московского стихотворца и остряка Алексея Михайловича Пушкина. Его жена, мать Немцова, Елена Григорьевна (рожд. Воейкова) была очень дружна с Жуковским, который и передавал ей это уже по смерти Александра Сергеевича. Слышано от ее внучки, Марьи Ивановны Постниковой, рожд. Пушкиной.

* От П. Я. Чадаева.
** Прошайте (лат.). «Евгений Онегин», глава первая, строфа VI.— (Сост.).
*** Отрывки этих первоначальных Записок Пушкина см. в Материалах Анненкова, стр. 20—23 и 26.

дневника его, наприм. «3-го (апреля). Третьего дня хоронили мы здешнего митрополита; во всей церемонии более всего понравились мне жида: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли там живописные группы. Равнодушие изображалось на их лицах; со всем тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движения! Они боятся христиан и потому во сто крат благочиннее всех» (V, 9). Кроме того, тогда же в 1821 году, как сам он рассказывает, начата им автобиография, которую потом он продолжал заниматься несколько лет сряду. Она, к несчастью, истреблена; по словам самого Пушкина, в ней говорил он «о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства» (V, 3).

К этому же, вероятно, времени следует отнести большой отрывок статьи его, писанной не для печати, о России в XVIII столетии: он уцелел в бумагах кишиневского приятеля его Н. С. Алексеева. Тут Пушкин широким взглядом обозревает историю нашего внутреннего развития, и теперь, через сорок лет, нельзя довольно надивиться, с какою меткостью, смелостью и трезвостью мысли судил 22-летний юноша. Так, напр., он утверждает, что отнятием имений у духовенства и ограничением монастырских доходов нанесен сильный удар просвещению народному. Вообще отрывок этот, к сожалению, до сих пор не весь изданный, показывает, как разнообразно и дельно было тогдашнее чтение Пушкина.

Читал он большею частию с пером в руках, очень часто делая про себя разные заметки и выписки.

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей...
... душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком³³.

С каким увлечением Пушкин предавался иногда работе, видно из его обращения к своей чернильнице:

Как часто, друг веселья,
С тобою забывал
Условный час похмелья
И праздничный бокал.

Тут же он передает нам несколько подробностей о самом ходе своего творчества:

Заветный твой кристал
Хранит огонь небесный,
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без всякого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов,
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То странность рифмы новой,
Неслышанной дотоль.

Это писано 11-го апреля 1821 г. и, разумеется, не для печати. Писа оканчивается воспоминанием о Чадаеве, к которому в это самое время Пушкин писал большое послание (начато 6-го, кончено 20 апреля), столь замечательное не в одном художественном смысле, но и как душевная исповедь. Поэт рассказывает петербургскому другу о тогдашнем своем состоянии. Он был доволен этим произведением и вскоре отослал его в Петербург, где оно появилось в **Сыне Отечества** (№ 35), с полным именем Пушкина:

Врагу стеснительных условий и оков,
Не трудно было мне отвыкнуть от пиров,
Где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет,
И правду пылкую приличий хлад объемлет.
Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел о них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья;
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились Музы мне
И независимым досугам улыбнулись.
Цевницы брошенной уста мои коснулись...

Вообще, нельзя не заметить, что Пушкин как-то отрезвел и успокоился на это время:

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум;
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум³⁴.

Приехав снова в Кишинев, он хочет оправдаться перед друзьями, которые упрекали его за долгое молчание. В том же стихотворении к Чернильнице читаем:

Но здесь, на лоне лени,
Я слышу нежны пени
Заботливых друзей...
Оставь, оставь порой
Привычные затеи,
И дактиль и хорей
Для прозы почтовой...
Свои надежды, чувства,
Без лести, без искусства
Бумаге передай...
Болтливостью небрежной
И ветренной и нежной,
Сердца их утешай.

Нельзя при этом не обратить внимания на чрезвычайную силу сознания, которая проявляется у Пушкина в самых мелочах. Кто читал внимательно его письма к близким людям, тот, верно, заметит, что в последних трех стихах схвачен характер его дружеской переписки.

В это же самое время Пушкин посылает Д. В. Давыдову известные стихи:

Недавно я, в часы свободы,
Устав Наездника читал*,

возобновляет сношения с петербургским приятелем своим Катениным и 5 апреля пишет ему письмо со стихами об актрисе Колосовой³⁵. Еще раньше, 23 марта, послано большое письмо к барону Дельвигу, прозой и стихами: «Что до меня, моя радость,— пишет Пушкин между прочим,— скажу тебе, что кончил я новую поэму **Кавказский Пленник**, которую надеюсь скоро вам прислать,— ты ею не совсем будешь доволен, и будешь прав. Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы,— но что теперь ничего не пишу, а перевариваю воспоминания, и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?»

* Уставом Наездника Пушкин называет только что вышедшую тогда книжку Давыдова: *Опыт теории партизанского действия*. М., 1821. Пушкин прочитал ее и потому, что ценил талант Давыдова и потому еще, что военное дело было не совсем чуждо ему: он беспрестанно проводил время с офицерами.— В послании к Давыдову, говорят, есть пропуск. Пушкин легко мог познакомиться с Давыдовым еще в Царском Селе, в обществе лейб-гусаров, а потом встречаться у его родственников в Киеве и Каменке.

«Друг мой, есть у меня до тебя просьба — узнай, напиши мне, что делается с братом. Ты его любишь, потому что меня любишь. Он человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим — другого воспитания нет для существа, одаренного душою. Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца. В этом найдут выгоду; но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови». Пушкин, вероятно, подозревал, что домашние его станут твердить Льву Сергеевичу, чтобы он не брал примера с ссыльного брата. Между тем пример был соблазнителен: Лев Сергеевич сам принялся за стихи. Пушкин поспешил остановить его, вероятно заметив тотчас же отсутствие настоящего дарования. В этом случае дружеское чувство не ослепляло его, как в отношении к Дельвигу и к другим. Еще от 24 сентября 1820 г. он писал брату: «Благодарю тебя за стихи; более благодарил бы тебя за прозу. Ради Бога, почитай поэзию доброй, умной старушкой, к которой можно иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и сказками, но влюбиться в нее безрассудно». — Или в другом письме: «Если ты в родню, так ты литератор (сделай милость, не поэт)». Надо заметить, что именно в конце 1820 года Лев Сергеевич был исключен из Благородного пансиона при Педагогическом институте за то, что с товарищами побил одного из надзирателей*. Это обстоятельство, конечно, только умножило в Пушкине сердечное, нежное участие к судьбе брата.

Может быть, вскоре после того, и как нам кажется, в 1821 г., возвратясь из Каменки, он написал к брату то французское письмо, в котором излагает правила жизни, извлеченные, как он говорит, из собственного опыта. Письмо это крайне замечательно, не потому, чтобы Пушкин сам всегда следовал высказанным в нем правилам, а как изложение тогдашних его понятий о связях общественных. Нет сомнения, что эти убеждения были не тверды, и Пушкину случалось изменять им, но, во всяком случае, они искренни и необыкновенно важны для оценки его. Прежняя жизнь его заставляет думать, что он действительно мог извлечь их из собственного опыта. Недаром лучшие

* Слышано от одного из товарищей его, С. А. Соболевского. (Исключение произошло в феврале 1821 г.— Сост.)

друзья предостерегали его от сношений со знатью. Приводим письмо вполне, в нашем переводе³⁶. «В твои лета,— пишет Пушкин,— следует подумать об избираемом пути; я говорил тебе, почему военная служба, по моему мнению, лучше всех других. Во всяком случае твоим поведением надолго определится и мнение, которое о тебе составят и, может быть, твое счастье».

«Ты будешь иметь дело с людьми, которых еще не знаешь. С самого начала думай о них как только возможно хуже: весьма редко придется тебе отставать от такого мнения. Не суди о них по своему сердцу, которое я считаю и благородным и добрым и которое вдобавок еще молодо. Презирай их со всевозможною вежливостью; и тебя не будут раздражать мелкие предрассудки и мелкие страсти, на которые ты натолкнешься при вступлении в свет.

«Будь со всеми холоден; чересчур сближаться всегда вредно; особенно берегись близких сношений с людьми, которые выше тебя, как бы ни были предупредительны. Их ласки тотчас очутятся у тебя на голове, и ты легко потерпишь унижение, сам того не ожидая.

«Не будь угодлив, и гони от себя прочь чувство доброжелательства, к которому ты, может быть, склонен. Люди не понимают его и часто почитают за низость, потому что всегда рады судить о других по себе.

«Никогда не принимай благодеяния. Оно всего чаще выходит предательством. Не нужно покровительства, оно порабощает и унижает.

«Мне следовало бы также предостеречь тебя от обольщений дружбы, но я не смею черствить твою душу в пору самых сладких ее мечтаний. Что касается до женщин, то мои слова были бы совершенно для тебя бесполезны. Замечу только, что чем меньше любишь женщину, тем больше вероятности обладать ею. Но такая потеха может быть уделом лишь старой обезьяны 18-го века*. Относи-

тельно женщины, которую ты полюбишь, желаю тебе от всего сердца обладать ею.

«Никогда не забывай умышленной обиды; тут не нужно слов, или очень мало; за оскорбление никогда не мсти оскорблением.

«Коль скоро твое состояние или обстоятельства не позволяют тебе блистать в свете, не думай скрывать своих лишений; лучше держись другой крайности: цинизмом в наготе его можно внушить к себе уважение и привлечь легкомысленную толпу, тогда как мелкие плутни тщеславия делают нас смешными и вызывают презрение.

«Никогда не занимай, лучше терпи нужду. Поверь, она не так страшна, как ее изображают; гораздо ужаснее то, что, занимая, иногда поневоле можно подвергнуть сомнению свою честность.

«Правила, которые предлагаю тебе, добыты мною из горького опыта. Желаю, чтобы ты принял их от меня и чтоб тебе не пришлось извлекать их самому. Следуя им, ты не испытаешь минут страдания и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь; она тяжела будет для моего тщеславия, но я не пощажу его, как скоро дело идет о счастье твоей жизни*».

Так думал или так хотел думать Пушкин на 22-м году жизни. Столкновения с людьми успели охолодить от природы мягкое и доверчивое сердце его. Возвращаясь к нашему хронологическому рассказу, повторим замеченное выше, что именно в то время, о котором идет у нас речь, т. е. весной 1821 года, видно, как Пушкин оглядывается на самого себя, хочет привести в порядок и мысли, и отношения, и дела свои. Самая наружность его несколько изменилась противу прежнего. До сих пор он ходил в молдаванской шапочке или фесе, с обритою головою — следствие горячки. Теперь, по замечанию одного приятеля

* То же самое Пушкин повторяет потом в Онегине:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем вернее ее губим
Средь обольстительных сетей,

Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовых времен.

(Онегин, гл. IV, строфа 7).

Строфа эта появилась в печати только в 1828 году, т. е. около семи лет после того, как она первоначально создавалась в голове поэта.

* Приводим отрывки из подлинника в образчик того, как Пушкин владел тогда французским языком: «Je vous observerai seulement que moins on aime une femme et plus on est sûr de l'avoir. Mais cette jouissance est digne d'un vieux sapajou du 18 siècle... Le cynisme dans son apreté en impose à la frivolité de l'opinion, au lieu que les petites friponeries de la vanité nous rendent ridicules et méprisables.

Les principes que je vous propose, je les dois à une douloureuse expérience... Ils peuvent vous sauver des jours d'angoisse et de rage. Un jour vous entendrez ma confession. Elle pourra couter à ma vanité; mais ce n'est pas ce qui m'arrêterait lorsqu'il s'agit de l'intérêt de votre vie». Письмо напечатано в *Библиографических Записках* 1859 г. № 1. Там приложен и русский перевод, но он показался нам не совсем верен.

ля, который с ним встретился после трехмесячной отлучки, «фес заменили густые, темно-русые кудри, и выражение взгляда получило более определенности и силы»*. Такого рода минуты приходили к нему довольно часто, но молодость и пылкость брали свое, и он мигом выбивался из ровной колеи жизни.

Тогда жил некоторое время в Кишиневе поэт **В. Г. Тепляков**, впоследствии приобретший некоторую известность своими Фракийскими элегиями и книгою **Воспоминания о Болгарии**. Пушкин с ним сблизился. Они вместе восхищались Байроном. В обыкновенной жизни Тепляков был большой оригинал, ходил в каком-то странном наряде, и везде носил с собою тяжелую дубинку с надписью: *Memento mori*. Пушкин прозвал его **Мельмотом-скитальцем****³⁷. Тепляков также вел дневник, и 1 апреля 1821 г. записал: «Вчера был у Александра Сергеевича. Он сидел на полу и разбирал в огромном чемодане какие-то бумаги. «Здравствуй, Мельмот, сказал он, дружески пожимая мне руку; помоги, дружище, разобрать мой старый хлам, да чур не воровать!» Тут были старые, перемазаные лицейские записки Пушкина, разные неоконченные прозаические статьи, стихи и письма Дельвига, Баратынского, Языкова и других. Более часа разбирали мы все эти бумаги, но разбору конца не предвиделось. Пушкин утомился, вскочил на ноги и, схватив все разобранные и неразобранные нами бумаги в кучу, сказал: «Ну их к черту!», скомкал их кое-как и втискал в чемодан».

Тепляков выпросил себе на память стихи **Старлица-про-рочица** и небольшую статью в прозе о Байроне. «Что тебе за охота возиться с дрянью,— заметил Пушкин: — статья о Байроне не помню когда написана, а стихи **Старлица — лицейские грехи**, я писал их для Дельвига. Пожалуй, возьми их, да чур нигде не печатать, рассержусь, прокляну навек»³⁷.

Заметка о Байроне важна в том отношении, что Пушкин хочет оправдать своего любимого поэта от обвинений в безверии***. Впоследствии Пушкин ее переделал и она

* См. выдержки из Дневника В. П. Горчакова.

** **Мельмот** — французский роман, сочинение Maturin. Пушкин очень любил этот роман и называл его гениальным произведением.— Выдержку из записок Теплякова см. в **Общезанимательном Вестнике** 1857 г., № 6, стр. 221 и след.

*** «Вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказанный им местами в своих творениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной». VII, 154.

появилась в **Литературной Газете Дельвига** (1830, № 53). Любопытно, что Пушкин внимательно следил за жизнью Байрона и в одном отрывке из записок своих замечает: «Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время Суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеривался через Персию приехать на Кавказ» (V, 22)³⁸.

Весною 1821 г. Пушкин был свидетелем события чрезвычайного и имевшего важное историческое значение. 11 марта кн. Александр Ипсиланти, с толпою сообщников, перешел Прут, вступил в Молдавию и поднял знамя восстания против турок. Можно себе представить, как много было толков в Кишиневе, когда этот флигель-адъютант русской службы, приятель М. Ф. Орлова, пошел воевать с целою Турецкою империею. Многие не могли поверить, чтоб из этого что-нибудь вышло. Пушкин один из первых понял и оценил всю важность начального греческого движения. «2 апреля, вечер провел у Н. Д. Прелестная Гречанка,— отмечает он в своем дневнике.— Говорили об А. Ипсиланти; между пятью Греками я один говорил как Грек. Все отчаивались в успехе предприятия этерии; я твердо уверен, что Греция восторжествует и что 2.500.000 Турок* оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла. С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства кроме храбрости необыкновенной; храбрости достанет и у Ипсиланти» (V, 9). В Кишиневе с напряженным вниманием ждали, чем кончится дело. Русские батальоны, под начальством Болховского, расставлены были на самом Пруте, на другом берегу которого происходила знаменитая схватка под Скулянами, и все это в нескольких часах пути от Кишинева. Война с Турцией казалась неизбежною; отношения к ней держались на волоске. Г. Анненков, имевший доступ к бумагам Пушкина, говорит (Материалы, стр. 95), что он вел журнал греческого возрождения, но что вскоре бросил его. Если это было действительно так,

Статья о Байроне может послужить образчиком тех замечаний и отметок, которыми Пушкин часто сопровождал свое чтение.

* Во всех изданиях сочинений Пушкина напечатано 25.000 000; странно, что не заметили этой опечатки: Пушкин не мог не знать, что в Европейской Турции нет такого числа Турок.

то, может быть, этот журнал впоследствии пригодился Пушкину для его статьи об одном из участников молдавского движения, Кирджали. В ней находятся любопытнейшие подробности, собранные и записанные, очевидно, из первых рук. Ипсиланти изображен именно так, как его после обличила история. набросанное Пушкиным описание дела под Скулянами имеет все достоинства подлинной исторической записки*. Рассказывая про арнаутов, бежавших в Россию после молдавского разгрома, Пушкин прибавляет: «Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек» (V, 495).

Греки были разбиты, Молдавия успокоилась, и русские войска не двинулись в поход, как можно было ожидать. Наступило затишье, и Пушкин опять соскучился в Кишиневе. Его живому нраву необходима была частая смена впечатлений. Еще в марте 1821 г. он пишет Дельвигу: «Скоро оставляю благословенную Бессарабию; есть страны благословеннее... разнообразие спасительно для души».

В половине мая видим его в Одессе. Просто ли захотелось ему воспользоваться близостью и взглянуть на новый, веселый город, или ездил он туда для морского купанья, до которого был великий охотник, только Инзов дал ему новый отпуск, и 15 мая, как показывают его тетради, он пишет в Одессе эпилог к **Кавказскому Пленнику** и посвящение поэмы Н. Н. Раевскому-сыну (Материалы Анненкова, стр. 80). Поэма действительно принадлежала Раевским, хотя Пушкин и замечает: «Н. и А. Раевские и я, мы вдоволь над ним посмеялись» (V, 29). Посвящение **Кавказского Пленника**, кажется нам, по стиху довольно небрежно и слабо в сравнении с самою поэмою.

Когда мне бедствия грозили,
Я при тебе еще спокойство находил,
Я сердцем отдыхал: друг друга мы любили,
И бури надо мной свирепость утомили;
Я в мирной пристани богов благословил.

Нам ничего неизвестно об этой первой поездке Пушкина в Одессу; вероятно, она была непродолжительна**.

* Некоторые черты этого рассказа были переданы Пушкину В. П. Горчаковым, который по распоряжению начальства ездил под Скуляны для собрания сведений о происходившем сражении.

** Вероятно, он тогда же заезжал в Аккерман и Овидиополь в Полярной Звезде 1823 года, в Обозрении русской словесности

В июле месяце, именно 18-го числа 1821 года, в Кишинев пришло известие о смерти Наполеона (23 апреля ст. стилия). Нам теперь трудно составить понятие, как поразительна была эта весть для тогдашних людей. Целая эпоха, целый мир событий и воспоминаний сосредоточивались и олицетворялись в одном этом человеке, который и в далекой ссылке, с своего острова, продолжал занимать современников своими отзывами и мнениями. Люди все еще прислушивались к голосу великого властелина. При нем все необыкновенное казалось возможным. Чудесный пример его возбуждал отвагу в молодых людях; ибо никакое начинание не было дерзким в сравнении с его поприщем. Роковое значение Наполеона в судьбах нашего отечества еще сильнее приковывало к нему внимание лучших русских людей. Пушкин привык с детства останавливать свои думы на нем, и в Лицее писал стихи по случаю возвращения его с острова Эльбы. С нашествием французов лично для Пушкина связывались яркие воспоминания его лицейской жизни. Теперь, когда не стало этого **властителя его дум**, он соединил в одном произведении все, что накопилось в течение лет от размышлений о нем и от разнообразного чтения о Наполеоне. Стихи **Чудесный жребий совершился** по внешним приемам вышли чем-то вроде оды. Что касается внутреннего содержания, то можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто не писал о Наполеоне, кто не клял его памяти? Можно собрать целые тома русских стихотворений о нем, и Пушкину пришлось писать на эту, по-видимому избитую, тему*. Надо было или вовсе не приниматься, или создать что-нибудь особенное. Высо-

(стр. 25), Бестужев своим кудрявым словом выражается про **Кавказского Пленника**, что он писан «в виду седовласого Кавказа и на могиле Овидиевой»³⁹.

* См. **Сын Отечества** 1814, № 41.

Одомаратели все сделались судьями,
И каждый произнес свой строгий приговор,
Как ныне водится, Наполеону.
«Сорвем с него корону!»
— Повесим! — Нет, сождем!
Нет, это жестоко! В Каенну отвезем!
...Нет, сказал насмешливый Филон,
Вы с большей лютостью дни изверга скончайте,
На Эльбе виршами до смерти зачитайте:
Ручаюсь, с двух стихов у вас зачахнет он!

конравственная мысль оды уже одна делает величайшую честь поэту. В последней строфе он захотел придать кончине Наполеона современный политический смысл. Впрочем, эту последнюю идею, о невозможности после Наполеона всемирного владычества, Пушкин думал развить в особом стихотворении, которое не кончено им, но, по справедливому замечанию Анненкова, принадлежит несомненно к тому же времени и вызвано известием о смерти великого человека. Этот превосходный отрывок стихотворения, в котором Наполеон сопоставлен с императором Александром, и как можно уверенно догадываться, должен был передать ему завешание о свободе мира, особенно любопытен для нас теми строфами, в которых описана физиономия Наполеона. Они показывают, как Пушкин прилежно вглядывался в его портреты и как глубоко его образ запечатлелся в душе нашего поэта:

Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламень гаснущий нахмуренных очей,
Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя
В морях казненного — по манию царей.

Нет, чудный взор его, живой, неуловимый,
То вдаль затерянный, то вдруг неотразимый,
Как боевой перуц, как молния сверкала;
Во цвете здравия и мужества и мощи
Владыке полунощи
Владыка Запада грозящий предстоял⁴⁰.

Не изданные доселе первые, прекраснейшие строфы отрывка свидетельствуют, что Пушкин следил внимательно за современными событиями. Самую мысль подал ему отчасти Жуковский в своих стихах, написанных в 1816 году для праздника английского посла лорда Каткарта, который торжествовал тогда годовщину отречения Наполеона:

И все, что рушил он, природа
Своей красою облекла,
И по следам его свобода
С дарами жизни протекла*.

* Г. Анненков напечатал эти превосходные стихи в 7-м томе сочинений Пушкина, и притом в искаженном виде: вероятно, он так нашел их в рукописях Пушкина. Весьма правдоподобно предположение, высказанное в *Библиографических Записках*, что когда Пушкин сочинял своего Наполеона, ему пришла в голову стихи Жуковского и он написал их для себя, доверяя единственно памяти; оттого и вышли ошибки. — Стихи эти вошли уже в посмертное издание сочинений Жуковского.

Певец мира и любви, Жуковский как будто совестился обращаться с упреками к великому и еще живому человеку и не захотел потом перепечатать этой пиесы в собраниях своих сочинений. Стоит заметить, что тень Наполеона преследовала лучших русских поэтов: кроме Пушкина, который несколько раз обращался к нему, Наполеон внушил лучшие произведения Лермонтову, Тютчеву и Хомякову. Оно и понятно: русским людям легче других оценить великое явление западного мира. Им в этом случае принадлежит честь беспристрастия: в стихах названных поэтов о Наполеоне нет и следов народной ненависти и господствует полное примирение с прошедшим. Возвращаясь к Пушкину, надо сказать, что он долго не хотел напечатать своего стихотворения, сокращал и исправлял его, и выпустил в свет только в 1826 г., в первом собрании стихов своих.

Мы не имеем положительных сведений, где был и как проводил время Пушкин в течение остального лета и в начале осени 1821 года. Всего вероятнее, он продолжал жить в Кишиневе, куда тогда возвратился М. Ф. Орлов с молодой супругою, и где, кажется, были сборы и смотры войск. Пушкин куда-то собирался в дорогу, как видно по выражению в его письме к брату от 27 июня 1821 г.: «Пиши ко мне, покамест я еще в Кишиневе». «Пиши же мне об новостях нашей словесности,— продолжает Пушкин: — Что такое **Сотворение мира** Милонова? Что делает Катенин? Он ли задавал вопросы Воейкову в С. О. прошлого года*? Кто на ны? Черная шаль тебе нравится, ты прав; но ее черт знает как напечатали. Кто ее так напечатал? Пахнет Глиной. Если ты его увидишь, обними его братски, скажи ему, что он славная душа, и что я люблю его как должно». Надо напомнить читателям, что из всех тогдашних литераторов только один Ф. Н. Глинка печатно выразил свое сочувствие ссыльному поэту, в особом послании к нему, появившемся в **Сыне Отечества** 1820 г. (№ 38).

Кто-то другая сделалась предметом любви Пушкина, и он снова в грустном расположении: 23 августа этого года написана элегия:

Умолкну скоро я, но если в день печали
Задумчивой игрой мне песни отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью...

* В этих вопросах изложена была критика на Руслана и Людмилу. **Сын Отечества** 1820, ч. 44. Они написаны Д. П. Зыковым, см. у Анненкова, *Материалы*, стр. 67.

и потом, в ночь с 24 на 25 августа, тоже элегические стихи:

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И юности моей мятежное течение...
Не требуй от меня опасных откровений,
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я...

Мы остановились на осени 1821 года. Пушкин в это время обжился в Кишиневе. Хотя мысли его постоянно рвались в Петербург и он беспрестанно ждал оттуда благоприятных для себя вестей, но эта надежда получить свободу не оправдывалась; до поры до времени он, по-видимому, мирился с своим положением и часто всею душою отдавался местным интересам. Понятие о тогдашнем Кишиневе можно отчасти составить вообще по нашим губернским городам: та же жажда новостей с севера, то же усердие следовать во всем последней моде, те же мелочи и иногда сплетни во взаимных отношениях. Но город, как мы уже заметили, был довольно оживлен, благодаря пестроте полувосточного народонаселения, благодаря своему положению почти на границе империи и военному постою. Там были и театр и музыканты, и беспрестанно устраивались вечеринки и балы. Пушкин в первый раз в жизни очутился в такого рода среде и с любопытством стал наблюдать эту губернскую жизнь. Где только собиралось большое общество, он был тут. В отношении к молдаванам-боярам, первым лицам местного населения, Пушкин не умел иногда скрывать чувств своего превосходства и не в силах бывал также удерживаться от врожденной ему, русской насмешливости; но все же он посещал их за неимением другого общества в этом роде, а некоторых, например, семейство Варфоломея, даже и любил за простую приветливость и радушное гостеприимство. Рассказывают также, что он был принят как нельзя лучше в семействе какого-то кишиневского негодяя **В. А. К-ва**, и в альбоме дочери его, Нины Вонифатьевны, вышедшей потом за г. **Попандопуло**, сохранились хвалебные (но плохие) стихи его, писанные 30 октября 1820 года*. Нередко хаживал он также обедать к вице-губернатору Крупянской, жена которого, Екатерина Христофоровна, жила и

* См. статью г. Грена в *Общезаным. Вестнике*. 1857 г. № 1, стр. 25. Там приведено и большое стихотворение это, не попавшее в собрания сочинений Пушкина; впрочем, стихи так слабы, что не верится, как мог их написать Пушкин.

кормила по-русски, что не могло не нравиться Пушкину, потому что ему надоедали плацнды и каймаки других кишиневских хлебосолов. Эта Крупянская, из царского рода Комненов, воспитывалась в Смольном монастыре, и в полутурецком Кишиневе сохраняла привычки любезной Пушкину петербургской жизни. Пушкин между прочим забавлялся сходством своего лица с ее восточною физиономиею. Бывало, рассказывает В. П. Горчаков, нарисует Крупянскую — похожа; расчертит ей вокруг лица волоса, — выйдет сам он, на ту же голову накинёт карандашом чепчик — опять Крупянская.

Одна из родственниц Крупянского (урожденная Мило), была за чиновником горного ведомства, статским советником Эльфреком⁴¹, и слыла красавицей. Пушкин хаживал к ним и некоторое время был очень любезен с молодой женою нумизмата, в которую влюбился и его приятель Н. С. Алексеев и которая, окружая себя разными родственниками молдаванами и греками, желала казаться равнодушною к русской молодежи. Эти отношения послужили поводом посланию Пушкина к Алексееву:

Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты!
Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты.

У молодой Эльфрект была племянница Зоя, девушка не очень привлекательной наружности. Пушкин, обращаясь к Эльфрект, писал:

Ни блеск ума, ни стройность платья
Не могут вас обворожить:
Одни двоюродные братья
Узнали тайну вас пленить.
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня;
Одна моя надежда Зоя —
Женюсь, и буду вам родня.

Дальше следовали такие подробности, что уже нельзя было отдать стихов той, кому они назначались*.

Кроме того, временными предметами внимания, а иногда и минутной любви Пушкина в Кишиневе была молодая молдаванка **Россети**, которой ножки, как все уверены там, будто воспеты в первой главе Онегина, потом

* См. Выдержки из Дневника В. П. Горчакова.

Пульхерия Егоровна Варфоломей, вышедшая за греческого консула в Одессе г. Мано; девица **Прункул** и другие.

Случаи к любезностям и болтовне с женщинами, до которой Пушкин всегда был большой охотник, всего чаще представлялись в танцах. Пушкин охотно и много танцевал. Ему нравились эти пестрые собрания, где турецкая чалма и венгерка появлялись рядом с самыми изысканными, выписанными из Вены, нарядами. В Кишиневе тогда славились и приглашались на все вечера домашние музыканты боярина Варфоломея, из цыган. «В промежутках между танцами, — рассказывает В. П. Горчаков, — они пели, аккомпанируя себе на скрипках, **кобзах** и **тростянках**, которые Пушкин по справедливости называл **цевницами**. И действительно, устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии... Пушкина занимала известная молдаванская песня **тю юбески питимасура**, и еще с большим вниманием прислушивался он к другой песни **ардема, фридема**, с которою породнил нас своим дивным подражанием в поэме **Цыганы: Жги меня, режь меня**. Его занимала и **мититика** — пляска с пением, но в особенности так называемый **сербешти**» (сербская пляска)*. Пушкин попросил кого-то положить на ноты упомянутую цыганскую песню и впоследствии напечатал эти ноты**.

Кстати, о балах и танцах. В Кишиневе до сих пор Пушкину приписываются разные стишки, и в том числе следующие, которые мы приводим, потому что, хотя они, вероятно, и не его, но отчасти изображают тамошнее общество:

Музыка Варфоломея,
Становись скорей в кружок,
Инструменты строй живее,
И играй на славу джок.
Наблюдая нежны связи,
С дамой всяк ступай любой
В первой паре Катакази
С скромной Стамовой женой***

* См. Воспоминания В. П. Горчакова в **Москов. Ведомостях**. 1858 г. № 19.

** В **Москов. Телеграфе** 1825 г., № 21, где была помещена песня Земфиры. **Телеграф** заметил при этом: «Прилагаем ноты дикого напева сей песни, слышанного самим поэтом в Бессарабии».

*** См статью Зеленецкого, в **Москвит.** 1854 г., № 9. Молдаванский танец называется **джок**, а не **дрок**, как там напечатано.

Катакази — губернатор; **Стамо**, урожденная Симфе-раки — супруга одного дипломатического чиновника.

Вот еще стихи, уже в самом деле пушкинские. Они принадлежат, собственно, к январю 1823 года, но этого рода отношения оставались одни и те же. Прошел слух, что в один из понедельников Варфоломей намерен дать большой бал и пригласить славных музыкантов Якутского полка (стоявшего перед тем с Воронцовым в Мобеже). Пушкина, как и всех, занимал этот бал, и, желая разузнать о нем, он писал В. П. Горчакову записку:

Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь;
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь,
Сижу я дома как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей*.

Выше замечено, что оживлению Кишинева много способствовали стоявшие в нем войска. Пушкин по целым дням проводил с офицерами генерального штаба и 16-й дивизии и близко познакомился с военным бытом. «Жизнь армейского офицера известна, рассказывает он в повести **Выстрел** (черты которой очевидно принадлежат Кишиневу). Утром ученье, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером — пунш и карты». Но осенью 1821 года эта жизнь, хотя и шумная, но довольно однообразная, вдруг получила новое движение и заволновалась. Пронесся слух, что войска двинутся в поход и что объявлена будет война с Турцией. Этой войны тогда несколько раз ожидали. И за границей, и у нас, все были уверены, что наши напряженные отношения с Турцией должны неминуемо повести к взрыву и что император Александр открытым образом вступится за греков, которые тогда начали борьбу уже в самой Греции и на островах Архипелага. На недавнем конгрессе в Люблянах (Лайбахе) Меттерних едва-едва успел отвести глаза императору Александру от Греции. Слухи о войне взволновали Кишинев и Пушкина. 29 ноября пишет он стихи **Война**, из которых можно заключить, что, по крайней мере на ту минуту, вспыхнуло в нем давнишнее желание поступить в военную службу:

* См Воспоминания В. П. Горчакова. Надо припомнить, что дом, в котором жил Пушкин, стоял почти на пустыре и к воротам надо было проходить довольно далеко

Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
 Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
 Венок ли мне двойной достанется на часть,
 Кончину ль темную судил мне жребий боев,
 И все умрет со мной: надежды юных дней,
 Священный сердца жар, к высокому стремленье,
 Воспоминание и брата и друзей,
 И мыслей творческих напрасное волненье,
 И ты, и ты, любовь?.. Ужель ни бранный шум,
 Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
 Ничто не заглушит моих привычных дум?
 Я таю, жертва злой отравы:
 Покой бежит меня, нет власти над собой,
 И тягостная лень душою завладела...
 Что ж медлит ужас боевой?
 Что ж битва первая еще не закипела?..

Стихи эти появились в печати через полтора года, без подписи.

Войны сверх чаяния опять не было. Русские полки, собранные у границ империи и уже давно находившиеся в полном составе и на так называемом военном положении, остались на своих местах. Кишиневская, для Пушкина довольно скучная, жизнь вошла в прежнюю ровную колею.

Значительную долю времени Пушкин отдавал картам. Тогда игра была в большом ходу и особенно в полках. Пушкин не хотел отстать от других: всякая быстрая перемена, всякая отвага были ему по душе; он пристрастился к азартным играм и во всю жизнь потом не мог отстать от этой страсти. Она разжигалась в нем надеждою и вероятностью внезапного большого выигрыша, а денежные дела его были, особенно тогда, очень плохи. За стихи он еще ничего не выручал, и приходилось жить жалованьем и скудными присылками из родительского дому. Играть Пушкин начал, кажется, еще в Лицее; но скучная, порою, жизнь в Кишиневе сама подводила его к зеленому столу.

Страсть к банку! Ни любовь свободы,
 Ни Феб, ни дружба, ни пиры
 Не отвлекли б в минувши годы
 Меня от карточной игры.
 Задумчивый, всю ночь до света,
 Бывал готов я в эти лета
 Допрашивать судьбы завет,
 Налево ль выпадет валет.
 Уже раздался звон обеден;
 Среди разбросанных колод
 Дремал усталый банкومت,
 А я все тот же, бодр и бледен,
 Надежды полн, закрыв глаза,
 Гнул угол третьего туза⁴²

Играли обыкновенно в штос, в экарте, но всего чаще в банк. Однажды Пушкину случилось играть с одним из братьев З<убовых>, офицером генерального штаба. Он заметил, что З. играет на верное, и, проиграв ему, по окончании игры, очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши. Слова эти, конечно, разнеслись, вышло объяснение, и З. вызвал Пушкина драться⁴³. Это был второй поединок в жизни поэта*. Противники отравились на так называемую малину, виноградник за Кишиневом. Пушкина нелегко было испугать; он был храбр от природы и старался воспитывать в себе это чувство. Недаром он записал для себя одно из наставлений кн. Потемкина Н. Н. Раевскому: «Старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем». Еще в Лицее учился он стрельбе в цель, и в стенах кишиневской комнаты своей насаживал пулю на пулю.— Подробности этого поединка, сколько известно, второго в жизни Пушкина, нам неизвестны, но некоторые обстоятельства его он сам передавал в повести **Выстрел**, вложив расказа в уста Сильвио и приписав собственные действия молодому талантливому графу. «Это было на рассвете,— рассказывает Сильвио,— я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника... Я увидел его издали. Он шел пешком,

* Первый, по выходе из Лицея, около 1818 года, с лицейским товарищем Кюхельбекером, которого Пушкин очень любил, но над которым часто подшучивал. Кюхельбекер, как и многие тогдашние молодые стихотворцы, хаживал к Жуковскому и отчасти надоедал ему своими стихами. Однажды Жуковский куда-то был зван на вечер и не явился. Когда его после спросили, отчего он не был, Жуковский отвечал: «Я еще накануне расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Это рассмешило Пушкина, и он стал преследовать неотвязчивого поэта стихами:

За ужином обелся я,
 Да Яков запер дверь оплошно —
 Так было мне, мои друзья,
 И Кюхельбекерно, и тошно.

Выражение мне Кюхельбекерно сделалось поговоркою во всем кружке. Кюхельбекер взбесился и требовал дуэли. Никак нельзя было уговорить его. Дело было зимою. Кюхельбекер стрелял первый и дал промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять своего товарища, но тот неистово кричал: стреляй, стреляй! Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому что снег набился в ствол. Поединок был отложен, и потом они помирились. (Из Записки о дуэлях Пушкина, написанной В. И. Далем вскоре после кончины Пушкина.) Яков — слуга Жуковского.

с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундantom. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов... Он стоял под пистолетом, выбиравая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня». И действительно, по свидетельству многих и в том числе В. П. Горчакова, бывшего тогда в Кишиневе, на поединок с З. Пушкин явился с черешнями, и завтракал ими, пока тот стрелял. Но З. поступил не так, как герой пушкинской повести Сильвио. Он стрелял первый и не попал. «Довольны вы?» — спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того, чтобы требовать выстрела, З. бросился с объятиями. «Это лишнее», — заметил ему Пушкин и не стреляя удалился*. Эту последнюю подробность (не называя противника) приводит В. И. Даль в своей заметке о кончине Пушкина**.

Поединок с З., разумеется, тотчас сделался предметом общего говора, и поведение Пушкина чрезвычайно подняло его в общем мнении. Но Инзов, по должности, не имел права оставить этот случай без внимания и, может быть, в виде наказания и желая на время удалить Пушкина из Кишинева, отправил его, вероятно с каким-нибудь служебным поручением, в Аккерманские степи. Впрочем, наверное мы этого не знаем, а только заключаем так по ходу дел. Несомненно одно, что Пушкин, в исходе 1821 г., видел устья Днестра, был в Аккермане и противоположащем Овидиополе. Старинная Аккерманская крепость расположена на мысу, который выдается в Днестровский лиман, и с двух сторон омываема волнами, отражающими ее высокие башни. Вид на лиман необыкновенно хорош. Н. И. Надеждин, посетивший эти места лет через двадцать, говорит, что один учитель Аккерманского уездного училища показывал ему прибрежную башню, на которой Пушкин провел целую ночь, и что башня с тех пор называется Овидиевой. «Не потому ли, — прибавляет он, — что поэт здесь, может быть, вел свою вдохновенную беседу с тению Овидия? В самом деле, воспоминание о римском изгнаннике так легко и естественно могло возбудиться городом, украшенным его именем, который отсюда виднеется на краю горизонта, сливающегося с лиманом, во всей своей пустынной красе»***.

* Со слов В. П. Горчакова.

** Москов. Медицин. Газета 1860 г., № 49.

*** Одесский Альманах 1840 г., стр. 330.

Но мы знаем, что Овидий уже давно занимал Пушкина. Еще в послании к Чаадаеву, в апреле 1821 г. он уже упоминает его. Сочинения Овидия, вероятно, были с ним в Аккермане. Как внимательно читал он их, видно, между прочим, из примечания к первой главе Онегина и из критической статьи его в *Современнике* о стихотворениях Теплякова, который также обращался к тени Овидиевой. Из сочинений Овидия после Превращений он отдает особенное предпочтение Понтийским элегиям. «Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! Сколько живости в подробностях! И какая грусть о Риме, какие трогательные жалобы!.. Овидий добродушно признается, что он и смолodu не был охотником до войны, что тяжело ему под старость покрывать седину свою шлемом и трепетной рукой хвататься за меч при первой вести о набеge (см. *Trist. Lib. IV, El. I.*)» При стихах своих к Овидию Пушкин замечает, сколько лет Овидий прожил в изгнании. Стихотворение вышло плодом изучения; оттого-то он так любил его и предпочитал даже Наполеону. В нем действительно много задушевности. «Каковы стихи к Овидию? — пишет Пушкин к брату по выходе их в свет, — душа моя, и Руслан, и Пленник, и Noel, и все дрянь в сравнении с ними». В некоторых стихах, обращенных к Овидию, слышится намек на собственную участь сочинителя, отчего, может быть, в печати Пушкин не выставил под ними своего имени (в Полярной Звезде 1823 г.).

Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть;
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут...
О други, Августу мольбы мои несите,
Карающую длань слезами отклоните!

Около этого времени Пушкин действительно хлопотал о помиловании и писал в Петербург, чтобы ему выпросили позволение возвратиться в столицу.

Под стихами к Овидию выставлено 1821, декабря 26. Что они писаны на предполагаемом месте Овидиевой ссылки, видно из самого стихотворения.

Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторял твои, Овидий, песнопенья,

И их печальные картины поверял;
Но взор обманутым мечтаньям изменял:
Уж пасмурный декабрь на Русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там, а с вешней теплотою
Здесь солнце яркое катилось надо мною.

Поездка в Аккерман была непродолжительна, и к новому году Пушкин возвратился в Кишинев: его видели в толпе офицеров, чиновников и солдат, 1-го января 1822 года, на достопамятном празднике, о котором мы говорили выше и которым М. Ф. Орлов открывал устроенный им манеж своей дивизии*. На святках Кишинев особенно оживился, и Пушкин не пропустил случая потанцевать и повеселиться. Но вскоре по возвращении ему опять пришлось драться. На этот раз противником его был человек достойный и всеми уважаемый. Это был полковник и командир егерского полка **Семен Никитич Старов**, известный в армии своею храбростью в Отечественную войну и в заграничных битвах. Старов вступился за своего офицера, которого, по его мнению, оскорбил Пушкин. Дело было так. На вечере в Кишиневском казино, которое служило местом общественных собраний, один молодой егерский офицер приказал музыкантам играть русскую кадрили; но Пушкин еще раньше условился с А. П. Полторацким начинать мазурку, захопал в ладоши и закричал, чтоб играли ее. Офицер-новичок повторил было свое приказание, но музыканты послушались Пушкина, которого они давно знали, даром что он был не военный, и мазурка началась. Полковник Старов все это заметил и, подозревая офицера, советовал ему требовать, чтоб Пушкин, по крайней мере, извинился перед ним. Застенчивый молодой человек начал мяться и отговаривался тем, что он вовсе незнаком с Пушкиным. «Ну так я за вас поговорю», — возразил полковник и после танцев подошел к Пушкину с вопросами, вследствие которых на другой день положено быть поединку.

Они стрелялись верстах в двух за Кишином, утром в девять часов. Секундантом Пушкина был Н. С. Алексеев, а одним из советников и распорядителей И. П. Липранди, мнением которого поэт дорожил в подобных случаях (вспомним опять, что повесть **Выстрел** слышана от Липранди). Но погода помешала делу: противники два

* От В. П. Горчакова.

раза принимались стрелять, и, стало быть, вышло четыре промаха: метель с сильным ветром не давала возможности прицелиться как должно. Положили отсрочить поединок, и тут-то Пушкин, по дороге заехав к А. П. Полторацкому и не застав его дома, написал экспромт, сделавшийся известным по всей России и повторяемый с разными изменениями:

Я жив,
Старов
Здоров,
Дуэль не кончен*.

Не знавшие подробностей дела говорили, будто Пушкин не захотел воспользоваться своим выстрелом и, разрядив пистолет на воздух, воскликнул:

Полковник Старов,
Слава Богу, здоров.

К счастью, поединок не возобновился. Полторацкому с Алексеевым удалось свести противников в ресторации Николетти. «Я всегда уважал вас, полковник, и потому принял ваш вызов», — сказал Пушкин. «И хорошо сделали, Александр Сергеевич, — сказал в свою очередь Старов, — я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете». Такой отзыв храброго человека, участника 1812 года, не только обезоружил Пушкина, но привел его в восторг. Он кинулся обнимать Старова, и с этих пор считал долгом отзываться о нем с великим уважением. Так, например, через несколько дней, в той же ресторации, молодые молдаване, играя на билиярде и толкуя о недавней дуэли, позволили себе обвинять Старова в трусости. Пушкин, игравший тут же, тотчас им заметил, что он не потерпит таких отзывов и что вперед будет считать их для себя личною обидою**.

* Из Воспоминаний В. П. Горчакова и вышеупомянутой записки В. И. Даля, который, впрочем, рассказывает несколько иначе (он записывал с чужих слов): «На бале, где обращение гораздо вольнее нашего, полувосточная образованность, барыни в модных венских нарядах, мужчины в чалмах и огромных шапках, — Пушкин расшалился. Он взял даму на вальс и, захопав, кричал музыкантам: вальс, вальс! Офицер подошел с замечанием, что будут танцевать не вальс, а мазурку. Пушкин отвечал: «Ну, я вальс, а вы мазурку»; музыка заиграла, и Пушкин провальсировал».

** Там же.

Но в городе не все знали о примирении Старова с Пушкиным; о каждом из противников разнеслись двусмысленные слухи, из которых для Пушкина выросла новая и крайне неприятная история.

Между кишиневскими помещиками-молдаванами, с которыми вел знакомство Пушкин, был некто Балш. Жена его, еще довольно молодая женщина, везде вывозила с собою, несмотря на ранний возраст, девочку-дочь, лет тринадцати. Пушкин за нею ухаживал. Досадно ли это было матери или, может быть, она сама желала слышать любезности Пушкина, только она за что-то рассердилась и стала к нему придирааться. Тогда в обществе много говорили о какой-то ссоре двух молдаван: им следовало драться, но они не дрались. «Чего от них требовать! — заметил как-то Липранди, — у них в обычае нанять несколько человек, да их руками отдубасить противника». Пушкина очень забавлял такой легкий способ отмщения. Вскоре, у кого-то на вечере, в разговоре с женою Балша, он сказал: «Экая тоска! хоть бы кто нанял подраться за себя!» Молдаванка вспыхнула. «Да вы деритесь лучше за себя», — возразила она. «Да с кем же?» — «Вот хоть с Старовым; вы с ним, кажется, не очень хорошо кончили». На это Пушкин отвечал, что если бы на ее месте был ее муж, то он сумел бы поговорить с ним; потому ничего не остается больше делать, как узнать, так ли и он думает. Прямо от нее Пушкин идет к карточному столу, за которым сидел Балш, вызывает его и объясняет, в чем дело. Балш пошел расспросить жену, но та ему отвечала, что Пушкин наговорил ей дерзостей. «Как же вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену», — сказал возвратившийся Балш. Слова эти были произнесены с таким высокомерием, что Пушкин не вытерпел, тут же схватил подсвечник и замахнулся им на Балша*. Подоспевший Н. С. Алексеев удержал его. Разумеется, суматоха вышла страшная, и противников кое-как развели. На другой день, по настоянию Крупянского и П. С. Пушина (который командовал тогда дивизией за отъездом Орлова), Балш согласился извиниться перед Пушкиным, который нарочно для того пришел к Крупянскому. Но каково же было Пушкину, когда к нему явился, в длинных одеждах своих, тяжелый мол-

* См. в повести **Выстрел** (стр. 171): «Офицер почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара».

даванин и вместо извинения начал: «Меня упростили извиниться перед вами. Какого извинения вам нужно?» Не говоря ни слова, Пушкин дал ему пощечину и вслед затем вынул пистолет. Прямо от Крупянского Пушкин пошел на квартиру к Пушину, где его видел В. П. Горчаков, бледного как полотно и улыбающегося. Инзов посадил его под арест на две недели; чем дело кончилось, не знаем. Дуэли не было, но еще долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия, на улицах вынимал пистолет и с хохотом показывал его встречным знакомым*.

Возмутительную историю Пушкина с Балшем мы относим к февралю месяцу 1822 г. Она произошла, как можно соображать по рассказам о ней, около масленицы. Итак, в продолжении каких-нибудь трех-четырёх месяцев три истории, три вспышки необузданного, африканского нрава: в исходе 1821 года поединок с З. из-за карт, в январе 1822-го с Старовым из-за светских отношений. Можно себе представить, сколько в Кишиневе пошло толков, как возмущались все степенные люди поведением молодого человека, каково было кишиневским молдаванам после оскорбления, нанесенного им в лице Балша. Пушкина стали бояться в городе. Но за него был его добрый начальник, приставлявший часовых к его комнате, присылавший ему книг для успокоения и развлечения. Инзов и еще несколько человек в Кишиневе хорошо знали, что Пушкину было можно и было за что прощать его увлечения. За беспорядочною жизнью, за необузданностью нрава, дерзкими речами не скрывалось от них существо, необычайно умное и свыше одаренное. Дело в том, что уже в это время в Пушкине заметно обозначилось противоречие между его вседневною жизнью и художественным служением. Уже тогда в нем было два Пушкина, один — Пушкин-человек, а другой — Пушкин-поэт. Это раздвоение он хорошо сознавал в себе; порою оно должно было мучить его, и отсюда-то, может быть, меланхолический характер его песен, та глубокая симпатическая грусть, которая примешивается почти ко всему, что ни писал он, и которая невольно вызывает участие в читателе. Он был неизмеримо выше и несравненно лучше того, чем казался и чем даже выражал себя в своих произ-

* Подробности от В. П. Горчакова. Сущность этой истории передана Львом Сергеевичем Пушкиным в его статье о брате в **Москвит.** 1854, № 10, стр. 50—58, где названо и полное имя Балша.

ведениях. Справедливо отзывались близкие друзья его, что его задушевные беседы стоили многих его печатных сочинений и что нельзя было не полюбить его, покороче узнавши. Но по замечательному и в психологическом смысле чрезвычайно важному побуждению, которое для поверхностных наблюдателей могло казаться простым капризом, Пушкин как будто вовсе не заботился о том, чтобы устранить названное противоречие; напротив, прикидывался буйном, развратником, каким-то яростным вольнодумцем. Это состояние души можно бы назвать **юродством поэта**. Оно замечается в Пушкине до самой его женитьбы и, может быть, еще позднее. Началось оно очень рано, но становится ярко заметным в описываемую нами пору. «Как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? — пишет он по поводу обвинений Байрона в безбожии. — Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности, как и добродетели. Часто, по какому-либо своенравному убеждению ума своего, он может выставить на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия; часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями» (VII, 151)⁴⁴.

В одно время с дуэлями шла сильная внутренняя и художественная работа. По удалении из Петербурга, в 1820 году, написано им, кроме Эпилога к Руслану и Людмиле, как мы видели, **десять стихотворений**. В 1821 году он написал **Кавказского Пленника** и кроме утраченной автобиографии, дневника, записок о греческом восстании и мелких прозаических отрывков — **тридцать одно** стихотворение. Мы предлагаем расположить их будущим издателям его сочинений в следующем, по временам, порядке. Жизнь Пушкина лучше всего выражается в его сочинениях⁴⁵.

1. Земля и море. **Киев, 8 февраля.**
2. Желание.
3. Муза. **14 февраля — 5 апреля.**
4. Я пережил свои желанья. **Каменка, 22 февраля.**
5. Дельвигу. (Друг Дельвиг, мой парнасский брат). **Кишинев, 23 марта.**
6. Катенину. (Кто мне пришлет ее портрет). **5 апреля.**
7. Наперсница волшебной старины (Муза).
8. Сетование. (Д. В. Давыдову).
9. Чаадаеву. **Кишинев. 6—20 апреля.**
10. П-лю.
11. К Чернильнице. **11 апреля.**

12. Еврейке. (Христос воскрес, моя Ревекка). **12 апреля, Кишинев.**
13. Кинжал.
14. Недвижный страж дремал.
15. Наполеон. **Июнь.**
16. Десятая заповедь.
17. Умолкну скоро я. **23 августа.**
18. Мой друг, забыты мной следы минувших лет **24—25 августа.**
19. Гроб юноши.
20. К Аглае. (И вы поверить мне могли).
21. Иной имел мою Аглаю.
22. Война или Мечта воина. **29 ноября.**
23. Овидию. **26 декабря.**
24. Алексееву. (Мой милый, как несправедливы).
25. К портрету кн. Вяземского.
26. Приметы.
27. Дева.
28. Подруга милая, я знаю отчего.
29. Дионея.
30. Красавице перед зеркалом.
31. Эпиграмма на Каченовского. (Клеветник без дарованья)*.

После удаления из Петербурга, в полтора с небольшим года, более сорока одних мелких стихотворений, да поэма, да сочинения в прозе. Но молодой Пушкин подавал собою пример удивительной художественной воздержности. Беспорядочный, беспечный, порою легкомысленный в жизни, он уже тогда был необыкновенно строг, осмотрителен и совестлив как писатель. Из всех названных трудов он на-

* Последние 8 стихотворений принадлежат к 1821 г., но к каким месяцам, мы пока определить не можем. В издании Анненкова (II, 288) к 1821 году отнесено еще стихотворение К*** (Зачем безвременную скуку), и в примечаниях сказано, что, по свидетельству рукописей, оно написано к Пле-еву; но в VII-м дополнительном томе того же издания, в росписи стихов (стр. 165) при нем означено К-керу. Слова эти можно читать Плещееву или Кюхельбекеру, как и прочел Г. Н. Геннади, в последнем Исаковском издании. У нас в руках собственноручный список стихотворения, доставленный г. Калошиным. Под ним Пушкин означил: **1 ноября 1826. Москва.** В тексте изменений нет против печатного, только во 2-м стихе вместо *думою* Пушкин поставил было *грустию* и потом зачеркнул. — Ожидая пояснений, думаем, что, может быть, стихи и действительно написаны в 1821 году, а в 1826 Пушкин написал их просто кому-нибудь в знак памяти: его тогда часто просили писать в альбомы, и чтобы отделаться, он иногда писал свои старые стихи. Напечатаны они в первый раз в 1827 г. в **Московском Вестнике**, № 2.

печатал всего четыре стихотворения, именно в 1820 году элегию **Погасло дневное светило**, и то без имени, а в 1821-м появились в апреле **Черная шаль**, в июне **Муза**, в сентябре **Послание к Чаадаеву**, все в **Сыне Отечества**, с полным именем, с обозначением места и времени*. Это были первые стихи Пушкина из ссылки. Если не ошибаемся, в Петербурге ждали от Пушкина, чтобы он показал раскаяние, посвятив талант свой, по примеру предшественников, восхвалению отечества, славе России, описанию воинских подвигов и т. п. Такое ожидание по временам высказывалось и в печати. Так, в **Сыне Отечества** 1822 года в № X (март), в послании какого-то А. М. **К сочинителю поэмы Руслан и Людмила**, читаем между прочим:

Почто же восторги священных часов
Ты тратишь для песней любви и забавы?..
Оставь сладострастье коварным женам!
Сбрось чувственной неги позорное бремя!
Пусть бьются другие в волшебных сетях
Ревнивых прелестниц, пусть ищут другие
Награды с отравой в их хитрых очах!
Храни для героев восторги прямые!

В **Литературных Листках** Булгарина (1824, № 1, стр. 25) прямо сказано: «Гений Пушкина обещает много для России; мы бы желали, чтоб он своими гармоническими стихами прославил какой-нибудь отечественный подвиг. Это дань, которую должны платить дарования общей матери, отечеству. Некоторые отрывки в **Кавказском Пленнике** показывают, что Пушкин столь же искусно умеет изображать славу, как и граций».

Но Пушкин не хотел насиловать своего таланта; он повиновался со всею искренностью единственно внушениям внутренним и, может быть, в ответ на подобного рода вызовы, слышанные им, без сомнения, и в Кишиневе, сказал про себя:

* Кроме того, без ведома Пушкина, напечатаны в **Сыне Отечества** 1821 года в № 11 (март) шутивная записка к В. Л. Пушкину в прозе и стихах, написанная в 1816 г., да в № 52 (декабрь) послание к Жуковскому по прочтении его книжек **Для немногих**, 1819 года. **Сын Отечества** в 1821 году издавался А. Ф. Воейковым и Н. И. Гречем. Первый, как известно, не слишком уважал права литературной собственности и напечатал названные стихи, взяв их у В. Л. Пушкина и у Жуковского и не спросив сочинителя. Да еще во 2-м номере журнала **Соревнователь просвещения и благотворения** 1821 года появилась эпиграмма А. С. Пушкина **История стихотворца**.

Но не унизил в век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной*

Кроме художественной добросовестности, желания исправить и усовершенствовать свои создания, были еще и другие причины и соображения, вследствие которых, в описываемую нами пору, стихи Пушкина так редко появлялись в свет. Во-первых, не все они могли быть напечатаны, а во-вторых, у него бродила мысль издать их отдельною книжкою. Еще в Петербурге, в конце 1819 или в начале 1820 года, вероятно нуждаясь в деньгах, он согласился на предложение приятелей напечатать собрание его стихов. Считая с лицейскими, их и тогда уже было довольно много. Решили открыть подписку на издание, и друзья Пушкина успели уже раздать от 30 до 40 билетов, как вдруг Пушкину велено было ехать в Екатеринослав. Второпях и на безденежь он взял у приятеля своего, тогдашнего бою ача Н. В. Всеволожского, тысячу рублей и за нее отдал ему рукопись свою. Весьма вероятно, что Всеволожский и не имел настоящего намерения издавать книгу, а из благородного побуждения воспользовался случаем, чтобы выручить поэта, не затрагивая его самолюбия. Как бы то ни было, но Пушкин в ссылке своей ожидал выхода своей книжки, или **анфологии**, как он называет ее в одном письме (вероятно, потому, что стихи все были в греческом духе, воспевалась любовь и наслаждения жизнью). Из Кишинева, от 27 июня 1821 года, Пушкин пишет брату: «Постарайся свидеться с Всеволожским и возьми у него на мой счет число экземпляров моих сочинений (буде они напечатаны), розданное (?) моими друзьями,— экземпляров 30». Между тем время шло, а книжка не выходила. В 1822 году князь Александр Лобанов-Ростовский вздумал купить у Всеволожского право издания**. Пушкина это встревожило; он уже стал тогда, как мы видели, гораздо строже смотреть на свою литературную деятельность, хотел исправить прежние стихи, прибавить новые и вообще явиться перед публикою с произведениями отборными. Всего проще было

* Эти стихи первоначально находились в конце стихотворения к Овидию. В печати Пушкин должен был исключить их; но ими не могло заключаться стихотворение, как сказано в **Библиографических Записках** 1858, № XI, столб. 342.

** Не тот ли это кн. Лобанов, который напечатал в 1821 году в Париже **Молитвы при божественной литургии?**— Упоминаемый ниже Я. Н. Толстой, с которым Пушкин сходил у Всеволожского на вечерах **Зеленой Лампы**, сам печатал статьи в тогдашних журналах.

бы вернуть Всеволожскому его тысячу рублей и вытребовать назад тетрадь свою. Но где было взять денег? Лучшее терпеть нужду, чем занимать, говорил он тогда, ибо, занимая и не имея потом возможности отдать, поневоле подвергаешь сомнению свою честность. Кн. Лобанов дал знать Пушкину о своем намерении через общего их знакомого Я. Н. Толстого и делал ему какие-то новые предложения, т. е., вероятно, обещал денег. Это могло быть около августа 1822 года. Пушкин пишет брату из Кишинева, от 4 сентября 1822 г.: «Явись от меня к Никите Всеволожскому и скажи ему, чтоб он ради Христа погодил продавать мои стихотворенья до будущего года. Если же они проданы, явись с той же просьбой к покупщику. Ветренность моя и ветренность моих товарищей наделала мне беды. Около 40 билетов розданы, само по себе разумеется, что за них я буду должен заплатить»; а Я. Н. Толстому он отвечал (от 26 сентября): «Предложение кн. Лобанова льстит моему самолюбию, но требует с моей стороны некоторых объяснений. Я сперва хотел печатать мелкие свои сочинения по подписке, и было роздано уже 30 билетов; обстоятельства принудили меня продать свою рукопись Никите Всеволожскому и самому отступить от издания. Разумеется, что за розданные билеты я должен заплатить, и это первое условие. Во-вторых, признаюсь тебе, что в числе моих стихотворений иные должны быть выключены, многие переправлены, для всех должен быть сделан новый порядок, и потому мне необходимо нужно пересмотреть свою рукопись. Третье: в последние три года я написал много нового. Благодарность требует, чтоб я все переслал князю Александру, но... милый друг! Подождем еще два-три месяца. Как знать? Может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад и пр.»*.

Таким образом, издание было приостановлено. Мы увидим ниже, что за него брались А. А. Бестужев и Н. И. Гнедич; надеясь сам побывать в Петербурге, Пушкин отклонял предложения, и книжка вышла в свет уже только в 1826 г. Но, конечно, она много выиграла оттого в содержании.

Когда шла вышеизложенная переписка, в печати уже появилась новая поэма Пушкина **Кавказский Пленник**.

Она обновила имя ссыльного поэта в памяти публики

* См. у Анненкова в Материалах, стр. 186—187. Там сказано, что письмо писано в 1823 году; но в VII томе, в перечне сочинений Пушкина, при нем поставлено Кишинев, 26 сентября 1822. Время, впрочем, определяется выражением в конце письма: «два года и шесть месяцев никто ни строки, ни слова».

и друзей его. Может быть, успехом ее отчасти и возобновлена мысль об издании мелких стихотворений. Своего **Пленника** еще в исходе 1821 года Пушкин послал в Петербург Н. И. Гречу, с предложением напечатать. Греч издавал бесспорно лучший тогдашний журнал, **Сын Отечества**, и Пушкин уже был с ним в сношениях, поместив у него стихи свои. Но издатель первой поэмы, **Руслана и Людмилы**, Н. И. Гнедич, выразил неудовольствие, отчего Пушкин опять не обратился к нему. «Ты говоришь, что Гнедич на меня сердит,— пишет Пушкин брату (из Кишинева, 24 января 1822 года), — он прав: я бы должен был к нему прибегнуть с моей новой поэмой; но у меня шла голова кругом; от него не получал я давно никакого известия; Гречу должно было писать, и при сей верной оказии предложил я ему **Пленника**. К тому же ни Гнедич со мною, ни я с Гнедичем не будем торговаться и слишком наблюдать каждый свою выгоду, а с Гречем я стал бы бессовестно торговаться как со всяким брадытым ценителем книжного ума». Пушкин ошибался. Н. И. Греч сам отклонил его предложение приобрести право на издание поэмы*. Тогда Пушкин поручил издание уже Гнедичу и при этом передал ему собственноручный, чрезвычайно меткий суд над поэмой, говоря, что долго не мог решиться ее напечатать,— так ясны ее недостатки, но что переделывать не в силах**.

Кавказский пленник появился в Петербурге из типографии Греча в последних числах августа 1822 года, тетрадью в 16 долю листа, на 53 стр. (цензурное дозволение А. Бюрокова, 12 июня 1822 г.). К нему приложен был портрет автора, гравированный Е. Гейтманом. Пушкин изображен лет пятнадцати, лицеистом, в рубашке, как рисовали тогда Байрона, подперши голову рукою, и в задумчивости. Тут явственнее, чем на всех других*** портретах, арабские черты его физиономии.

* За разъяснением этих сношений я обращался к Н. И. Гречу. В ответном письме, которым он почтил меня (СПб. 16 июля 1861), сказано: «Гнедич предлагал мне, убеждал меня приобрести рукопись **Кавказского Пленника** для издания ее на мой счет, но я не мог принять этого предложения».

** У Анненкова, в Материалах, стр. 96 и 97, помещено это письмо к Гнедичу, с чернового оригинала, оставшегося в бумагах Пушкина.

*** В 35 № **Сына Отечества** (от 2 сентября), в первом извещении о выходе **К. Пленника**, сказано: «Цена на веленовой бумаге 7 р., на любской 5 пуб. Продается у издателя, Кол. Сов. Ник. Ив. Гнедича в доме, принадлежащем Имп. Публ. Библ., на Невском проспекте». Гнедич тогда же издал и **Шильонского Узника** Жуковского. Про портрет сказано: «Издатели (?) сей повести говорят: «Думаем, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения

Издатель прислал Пушкину в Кишинев один экземпляр поэмы, с письмом, и с приложением 500 р. за право издания. Плата показалась Пушкину мала, но на безденежье он и тому был рад*; потому что хотя перед тем книгопродавец Слѣнин купил остальные экземпляры **Руслана и Людмилы**, но деньги, вырученные за это, не доходили до Пушкина (письмо к брату от 21 июля 1822 года). «Скажи мне, милый мой, шумит ли мой **Пленник**? A-t-il produit du scandale, пишет мне Orlov, voilà l'essentiel!**». Надеюсь, что критики не оставят в покое характер **Пленника**, он для них создан; душа моя, я журналов не получаю, так потрудись, напиши мне их толки, не ради исправления моего, но ради смирения кичливости моей»⁴⁷. Перед тем (от 4 сентября 1822 г.) он поручает брату: «Скажи Слѣнину, чтоб он мне прислал... **Сына Отечества** 2-ю половину года. Может вычесть что стоит из своего долга»

Явившись в печати с новою поэмою, Пушкин, естественно, любопытствовал узнать мнение о ней. Успех был полный: Россия с жадностью читала **Кавказского Пленника**. Можно наверное сказать, что если первая поэма Пушкина имела успех благодаря лишь легкости стиха и содержания, всем равно понятного и доступного, то **Кавказский Пленник** был встречен уже с любовью и с участием к молодому сочинителю: во-первых, все знали, что это произведение

ознаменованы даром необыкновенным!» Портрет этот перерисован в **Русском Художественном Листке** в 32-м номере нынешнего (1861) года; но еще прежде он был повторен вскоре по смерти Пушкина, в **Художественной Газете** 1837 г., № 9 и 10. Там сказано, что портрет этот нарисован был с памяти, без натуры, художником К. Б., «в нежной молодости уже обратившим на себя внимание». Не означают ли буквы К. Б. Карла Брюлова? В таком случае с этим портретом связываются две дорогие памяти русской жизни.— Когда Пушкин был в Лицее, тамошний учитель рисования и надзиратель лицейцев Чириков снял с него портрет; но где он теперь, неизвестно⁴⁶.

* В 1851 г. В. П. Горчаков передал нам письмо к нему Пушкина с замечаниями на **Кавк. Пленника**. Г. Анненков списал его у нас и поместил в своих **Материалах**, стр. 97—98; но приложенные к письму поправки печатного текста, сделанные Пушкиным в посвящении поэмы, переданы у Анненкова не вполне. Пушкин, очевидно, хотел восстановить текст, искаженный вследствие особенных соображений. В третьем стихе посвящения вм. **пустынной лиры** первоначально было **изгнанной лиры**; в 4-м от конца стихе вместо нынешнего: **Но сердце укрепив терпением** стояло: **Но сердце укрепив свободой и терпением**. Надпись письма: «Горчакову в Гургулбине» (местечко в 40 верстах от Кишинева, куда Горчаков ездил по службе).

** Произвел ли он скандал <пишет мне> Орлов, вот что существенно (*фр.*).

ссылного, во-вторых, в поэме уже много теплых, задушевных стихов.

Еще весною прошлого года, кончив **Пленника**, Пушкин писал Дельвигу, что у него в голове уже бродят новые поэмы. Он начинал их, но был сам недоволен ими, и либо вовсе бросал, либо уничтожал написанное. Только одна из этих поэм, именно **Бахчисарайский Фонтан**, дошла до нас вполне; **Вадим** остался неконченным, а **Разбойников** он сам сжег, и теперешний текст их есть только отрывок, случайно уцелевший у Н. Н. Раевского (сына). Кроме того, есть известие, что Пушкин начал было писать, вероятно тогда же, сатирическую поэму, действие которой должно было происходить в аду, при дворе сатаны; сохранилось лишь несколько стихов о карточной игре (VII, 88)⁴⁸. К 1822-му же году следует отнести и ту рукописную поэму, в сочинении которой Пушкин потом так горько раскаивался и которая впоследствии возбудила против него справедливое негодование людей благомыслящих и навлекла неприятности со стороны духовного начальства⁴⁹. Пушкин всячески истреблял ее списки, выпрашивал, отнимал их и сердился, когда ему напоминали о ней. Уверяют, что он позволил себе сочинить ее просто из молодого литературного щегольства. Ему захотелось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать что-нибудь лучше стихов Вольтера и Парни*.

Летом 1822 года покинули Кишинев двое близких знакомых Пушкина: П. С. Пущин и М. Ф. Орлов; первый был уволен вовсе от службы, второй от должности дивизионного начальника, с причислением к армии, оба, по неприятностям с своим корпусным генералом Сабанеевым⁵⁰. Дивизию в Кишиневе стал командовать Нилус. Орлов с женою уехал в Крым, куда так хотелось Пушкину, который писал тогда свой **Бахчисарайский Фонтан**.

Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь Таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.

Но ему пришлось сделать совсем другого рода путешествие, при этом обогатиться новыми впечатлениями,

* От П. В. Нащокина, В. П. Горчакова, С. Д. Полторацкого и других.

плодом которых впоследствии была четвертая поэма **Цыганы**. Во второй половине 1822 года с ним случилась опять история. Подробности нам неизвестны; но есть положительное свидетельство, что в это время Пушкин, опять за картами, повздоровивши с кем-то из кишиневской молодежи, снял сапог и подошвой ударил его в лицо. Инзов разослал их: Пушкина в Измаил, а противника его в Новоселицу* Г. Анненков (Материалы, стр. 90) говорит, что на этот раз Пушкин доходил до самых границ империи, и в доказательство приводит отрывок стихотворения, в котором, между прочим, сказано:

Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный.

Между тем из этого еще нельзя заключать, чтобы стихи были вызваны посещением места Кагульской битвы: памятника там, сколько мы знаем, нет никакого, и стихи вернее будет отнести к 1827 г., к известной колонне Румянцева в Царском Селе.

Гораздо определительнее указывает на тогдашнюю поездку Пушкина небольшое стихотворение 1822 года **Баратынскому из Бессарабии**:

Еще донныне тень Назона
Дунайских ищет берегов...
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега **крутого**.

Берег Дуная в Измаиле действительно крут, а выражение про тамошнюю сторону: **она Державиним воспе-та** прямо относится к известной оде на взятие Измаила⁵¹.

Во всяком случае поездка в Измаил, по Буджацкой пустыне, надолго осталась памятна Пушкину. Он наскучил кишиневскою жизнью; ему надоели городские толки, возбужденные его горячностью, и вообще городская жизнь. В степях он почувствовал себя на воле и захотел пожить беззаботною кочевую жизнью, снизойти на первую ступень человеческого общежития. Встретив на дороге цыганский табор, Пушкин пристал к нему и несколько времени кочевал вместе с ним. Что это было действительно так, что воспитанник богатого царскосельского Лицея проводил ночи на голой земле, у костров и под шатрами,

свидетельствует брат его, сообщивший одно выпущенное прежде место из поэмы **Цыганы**:

За их ленивыми толпами
В пустынях праздный я бродил,
Простую пищу их делил,
И засыпал пред их огнями.

То же самое говорит Пушкин, рассказывая о своей Музе:

И позабыв столицы дальной
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,⁵²
Для песен степи, ей любезной...

Любопытно, что в бумагах его нашлась заметка о происхождении и нравах **Цыган***. Опять виден умный и зоркий наблюдатель, умевший собирать с жизни двойную дань поэзии и знания. Казалось бы, что чудные южные ночи у цыганских костров, с такою роскошью описанные им, вполне принадлежат миру поэзии; но поэтическое упоение в этой крепкой природе не исключало хладнокровной наблюдательности. В этом-то и сила Пушкина. Местами (например, в **Цыганах**) поэзия его, как самые роскошные душистые цветы, почти что отуманивают голову, и рядом тут же читатель отрезвляется стройными образами самого ясного, разумного мирозерцания.

Поэма Цыганы, написанная позже, внутренним содержанием своим вполне принадлежит этому степному странствованию. Весьма вероятно, что у Цыган Пушкин и назывался именем **Алеко** (Александр). Можно догадываться, что тут не обошлось также без любви. От того такая

* «Долго не знали в Европе происхождения **Цыганов** и считали их выходцами из Египта. Донныне в некоторых землях и называют их Египтянами. Английские путешественники разрешили, кажется, все недоумения. Доказано, что **Цыганы** принадлежат к отверженной касте индейцев, называемых **Париа**. Язык их и то, что можно назвать их верою, даже черты лица и образ жизни — верные тому свидетельству. Их привязанность к дикой вольности, обеспеченной бедностью, — везде утомила меры, принятые для преобразования праздной жизни сих бродяг. Они кочуют в России, как и в Англии; мужчины занимаются ремеслами, необходимыми для первых потребностей, торгуют лошадьми, воя медведей, обманывают и крадут; женщины промышляют ворожбой, песнями и плясками».

* Зеленецкий в **Москвит**. 1854, № 9, стр. 6, передавая этот случай со слов одного из чиновников Наместничьей канцелярии, В. З. Писаренко, прибавляет, что П. С. Пушкина тогда уже не было в Кишиневе и что Инзов после помирил противников.

искренность, такая жизненность поэмы. В жилах поэта текла та же восточная кровь. Покинув душный город, где ему было столько неприятностей, Пушкин радовался широкою волею степной жизни:

Под сенью мирного забвенья
Пускай Цыгана бедный внук
Не знает нег и пресыщенья
И гордой суеты наук...
Нет, не преклонишь ты колен
Пред идолом безумной чести;
Не будешь жертвой злых измен,
Трепеща тайной жаждой мести.
О Боже! если б мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой Остяка,
В глухой расселине утеса! (VII, 69).

Дорогою в Измаил, или может быть на обратном пути, Пушкин заезжал в Тульчин, где находилась, как мы сказали, главная квартира корпуса и жили некоторые знакомые его: при одном анакреонтическом стихотворении **Мальчик, солнце встретить должно**, означено им: **Тульчин, 1822**⁵³.

Кажется, что к ноябрю месяцу этого же года следует отнести новую и последнюю поездку его в Чигиринский повет Киевской губернии, в село Каменку, к Давыдовым. Там встретился с ним один его петербургский знакомый, из записок которого извлекаем следующее место⁵⁴: «Приехав в Каменку, — рассказывает он, — я был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями... С генералом был сын его, полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдовых целую неделю. Пушкин и полковник Раевский прогостили тут столько же. Мы всякий день обедали внизу у старушки-матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена А. Л. Давыдова, впоследствии вышедшая в Париже за генерала Себастиани, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, девочка лет двенадцати. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать. Мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину

вполголоса: посмотрите, что вы делаете! Вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя. «Я хочу наказать кокетку, — отвечал он, — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться. В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе. При этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то пошло. Зато когда заходил разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов, и не только отдавал каждому из них справедливость, но в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочел одно из его неизданных стихотворений, и он очень удивился, как я его знаю... В то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который бы не знал наизусть его запрещенных стихов»*.

С 1822 года положение Пушкина в Кишиневе становится все тяжелее и для его горячего нрава невыносимее. Рассказанные нами истории должны же были оставить свои следы на нем. Сон перед поединком Пушкин впоследствии сравнивал с ожиданием замешкавшейся карты в азартной игре (VII, 139),⁵⁵ и мы уже знаем, что он действительно не слишком дорожил жизнью и любил отважно идти на всякую опасность; но все же эти встречи со смертью необходимо потрясали все его нравственное существование и не могли проходить даром. Конечно, глядя теперь со стороны, можно с уверенностью утверждать, что кишиневская жизнь была полезна Пушкину, как поэту, что эти страсти разработывали его душу и вызывали нам из нее новые живые звуки, которыми теперь мы так наслаждаемся; но каково было самому поэту в болезненные минуты поэтического развития? Вот вопрос. Нашлись ли люди, возле которых он мог отдохнуть, которых участие было бы

* В записках Я<кушки>на эта встреча с Пушкиным отнесена к ноябрю месяцу 1820 г.; но, по соображению обстоятельств, это указание кажется нам не точным. Пушкин мог быть в Каменке в ноябре месяце либо 1821-го, либо 1822-го года. (Дата указана Якушкиным правильно.— Сост.).

не оскорбительно, кому бы он мог вполне открыться и довериться? Он отвечает отрицательно. У него были в Кишиневе добрые приятели: Алексеев, Горчаков, Полторацкий и другие; но не было настоящего друга вроде Дельвига, Малиновского, Пушина (И. И.), или каким был позднее П. В. Нащокин; не было и таких людей, как Карамзин и Жуковский, к которым бы он мог прийти, рассказать все, требовать совета и не оскорбляясь выслушать упреки и наставления. Вдобавок, на ту пору, разбрелся и кружок М. Ф. Орлова. Правда, их горячие, иногда только заносчивые речи и требования, ввиду практической неисполнимости, которая не могла укрываться от наблюдательного и зоркого поэта, должны были порою тревожить его и наводить грусть; но он искренно дорожил этими людьми, и отсутствие их, без сомнения, было ему чувствительно.

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?

Такого человека, конечно, не было. Между тем из Петербурга приходили неутешительные вести, надежда на возвращение из ссылки оставалась по-прежнему только надеждою; положение при Инзове, без определенной деятельности, было какое-то праздное и двусмысленное, и в довершение всего недостаток денежный. Впоследствии Пушкин мог говорить про себя, вспоминая прошедшее:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве ветренной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях
Мои утраченные годы...

Само собою разумеется, что большинство людей, с которыми он встречался в Кишиневе, не могли дорожить высокими достоинствами поэта, и всего чаще лишены были способности открывать и замечать их. К тому же им досадно бывало видеть, как этот, едва вышедший из детства, баловень природы, без видимого занятия, без всяких наглядных заслуг, пользуется уважением людей высокопоставленных, водится с первыми лицами города, не хочет знать привычных условий и внешних форм подчиненности, ни перед чем не останавливается и все ему проходит. Сте-

пенное кишиневское чиновничество не в силах было простить ему, напр., небрежного наряда. Досадно им было сморять, как он разгуливает с генералами в своем архалуке, в бархатных шароварах, неприбранный и нечесанный, и размахивает железною дубинкою. Вдобавок, не попадайся ему, оборвет как раз. Молодой Пушкин не сдерживал в себе порывов негодования и насмешливости, а в кишиневском обществе было, как и везде, немало таких сторон, над которыми изошрялся ум его. Находчивостью, резкостью возражений и ответов он выводил из терпенья своих противников. Язык мой — враг мой, пословица, ему хорошо знакома. Сюда относится большая часть анекдотов, которые ходят про него по России. Так, напр., на одном обеде в Кишиневе какой-то солидный господин, охотник до крепких напитков, вздумал уверять, что водка лучшее лекарство на свете и что ею можно вылечиться даже от горячки. «Позвольте усумниться», — заметил Пушкин. Господин обиделся и назвал его **молокососом**. «Ну, уж если я **молокосос**, — сказал Пушкин, — то вы, конечно, **виносос**». И вот уже враг, готовый радоваться всякой ошибке и распускать всякую клевету! Какая-то дама, гордая своими прелестями и многочисленностью поклонников, принудила Пушкина написать ей стихи в альбом. Стихи были написаны, и в них до небес восхвалялась красота ее, но внизу, сверх чаяния, к полнейшей досаде и разочарованию, оказалась пометка: 1 Апреля*. Подобных случаев, без сомнения, было немало. Кто-то выразился про Пушкина, играя словом **бессарабский** с намеком на его физиономию: **бес арабский**. Иногда поэту приходилось тяжело в обществе, враждебно против него настроенном. В альбоме Онегина есть строфа, в которой выражены эти отношения:

Меня не любят и клеветуют;
В кругу мужчин несносен я,
Девчонки предо мной трепещут,
Косятся дамы на меня.
За что? За то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что важным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла;
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит.

* В. П. Горчаков: Выдержки из Дневника.

Так он писал про себя, сознавая хорошо свое положение. Но пенять на судьбу, жаловаться на то, что его не понимают, выставять себя напоказ было вовсе не в его нраве. «Кюхельбекерно мне на чужой стороне», — только этим и выражались его пени, даже и в письмах к ближайшим людям. Озлобления в нем незаметно. С гордым равнодушием он продолжал являться всюду и по-прежнему посещал разнообразное кишиневское общество. На ту пору оно сделалось еще пестрее. Вследствие греческого восстания, которое в 1822 году охватило уже всю Турцию, многие семейства, из княжеств и из самой Турции, спасались бегством в Россию и находили убежище, между прочим, в Кишиневе. Так, напр., в одном отрывке из записок своих Пушкин мимоходом упоминает, что в 1822 году какая-то «старая молдавская княгиня, набеленная и нарумяненная», умерла в его присутствии от холерных припадков (I, 281)⁵⁸. К тому же 1822 году относится временное сближение его с одним греческим семейством, как показывают тогдашние стихи к **Гречанке (Ты рождена воспламенять воображение поэтов)**. Это была известная в Кишиневе Калипсо, приехавшая из Константинополя вместе с матерью своею Полихронией и с другими греками. Калипсо была красавица, но ее несколько безобразил длинный нос. Она прекрасно пела с гитарой турецкие песни. Пушкин тогда восхищался Байроном, а про Калипсо ходили слухи, будто она когда-то встретила с знаменитым лордом и впервые познала любовь в его объятиях:

Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал,—
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу:
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им...

Сближение с Байроном, без сомнения, придавало Калипсо особенную заманчивость в глазах Пушкина; но любовь к ней была минутным увлечением. Стихи свои (великолепные, но сравнительно-холодные) Пушкин скоро отдал в печать (с полным своим именем), и уже одно это обстоятельство достаточно показывает, что настоящей любви тут не могло быть. Через год Пушкин знакомил с

Калипсо и ее матерью одного приезжего*, и по словам сего последнего, в нем уже не оставалось и следов любовного жара.

Другое стихотворение, биографического содержания, принадлежащее к 1822 году, это **К друзьям**. Оно написано после прощальной пирушки, которая устроилась у братьев Полторацких по случаю отъезда из Кишинева общего приятеля их свитского офицера **Валерия Тимофеевича Кека**. Пушкин говорит, что друзья отличили его особой почетной чашею:

...жажду скифскую поя,
Бутылка полная вливалась
В ее широкие края.

Пили из складных походных стаканов, которые вставляются один в другой; Пушкину дали самый большой, наружный:

Я пил, и думою сердечной
Во дни минувшие летал,
И горе жизни скоротечной
И сны любви воспоминал.

Превосходный, художественный разбор этой пиесы, которая так живо изображает положение ссыльного поэта в Кишиневе, среди военной молодежи, находим у Белинского (Сочинения, т. VIII, стр. 330). «Пушкин,— говорит он,— никогда не расплывается в грустном чувстве; оно всегда звенит у него, но не заглушая гармонии других звуков души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, он как будто встряхивает головою, как лев гривою, чтоб отогнать от себя облако уныния, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, дает ей какой-то особенный освежительный и укрепляющий душу характер».

Меня смешила их измена:
И скорбь исчезла предо мной,
Как исчезает в чашах пена
Под зашипевшею струей.

Поэт сам был доволен этими стихами и отослал их в Петербург, где они потом прочитаны были в публичном заседании Вольного Общества Любителей Российской

* Ф. Ф. Вигеля, приехавшего тогда на службу в Кишинев. Покойный Вигель в 1853 году позволил нам сделать отметки из его записок и выписать места, в которых говорится о Пушкине.

Словесности, в доме Д. А. Державиной, и в печати появились с полным его именем*.

Совсем другого содержания, но также в биографическом отношении чрезвычайно любопытны и важны стихи 1822 года: **Люблю ваш сумрак неизвестный**, набросанные, неконченные Пушкиным и сохранившиеся в двойном виде, черновом и более отделанном (II, 323—325):

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество, пустой призрак,
Не жажду твоего покрова!
Мечтанье жизни разлюбя,
Счастливых дней не зная от века,
Я все не верую в тебя:
Ты чуждо мысли человека.
Тебя страшится гордый ум!..
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне станет мир земной?

Эти мысли о смерти, о загробной жизни, о бессмертии души находятся, очевидно, в связи с тогдашними его обстоятельствами. Может быть, стихи эти и написаны накануне одного из поединков.

Наконец, есть еще стихотворение 1822 года, в котором отразилась его кишиневская жизнь, это **Уединение**. После сообщенных выше подробностей тут каждое слово становится понятно и получает смысл автобиографический:

Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали **взыскательных** невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрыт, по милости Творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала⁵⁹.

Так и видится Пушкин в его уединенной комнате, под развалинами, на отдаленном конце Кишинева: он на время мирится с судьбою и работает, полный памятью о

* В XXII-й части Трудов Вол. Общества Люб. Р. Словесности (1823 года). В Летописях Общества, в описании этого публичного заседания (22 мая) на стр. 296 и 297 сказано, что один из членов Общества, «цензор библиографии» А. А. Бестужев прочел **Прощание**, сочинение А. С. Пушкина (в стихах). Такого стихотворения за то время мы не знаем у Пушкина, и думаем, что **Прощанием** названы здесь стихи **К друзьям**.

прежних веселых днях и оживляемый надеждою на более светлое будущее.

Эти воспоминания и надежды относились к Петербургу. Почти все время кишиневской жизни Пушкин рассчитывал, что ссылка его скоро кончится и что ему позволят возвратиться в столицу. Еще в 1821 году, в письме к брату (27 июля) он говорит: «Пиши ко мне, покамест я еще в Кишиневе». В письмах 1822 года беспрестанно выражается надежда на скорое свидание. К брату он пишет, от 24 января: «Постараюсь сам быть у вас на несколько дней, тогда дела пойдут иначе»; 21 июля: «Радость моя, хочется мне с вами увидеться, мне в Петербурге дела есть; не знаю, буду ли к вам, а постараюсь»; 6 октября: «Я карабкаюсь и, может быть, явлюсь у вас, но не прежде будущего года». То же самое в письме к Катенину от 19 июля, говоря о постановке на сцену Корнелевой трагедии Сиды, переведенной Катениным: «Как бы то ни было, надеюсь увидеть эту трагедию зимою, по крайней мере постараюсь»; или к Я. Н. Толстому, от 26 сентября: «Может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад».

Так как официальной ссылки не было, то Пушкин, вероятно, надеялся, что его переведут по службе обратно в Петербург, или хотя уволят в отпуск. Через кого шли эти сношения, у кого именно просил он ходатайства, определенно мы не можем сказать, по крайней мере по имеющимся у нас материалам. Знаем только, что он писал письмом к гр. Нессельроду, который тогда заведывал министерством иностранных дел*. Весьма вероятно, что заступниками и ходатаями были те же лица, что и прежде: Карамзин, Жуковский и братья Тургеневы. Но испросить помилование было довольно трудно. Обстоятельства не только не улучшились сравнительно с 1820-м годом, когда Пушкин оставил Петербург, напротив, сделались еще тяжелее. В самый год удаления Пушкина произошла Семеновская история; в министерстве просвещения и духовных дел, к которому принадлежал Пушкин по роду своей деятельности, наступили времена крутые: профессора Куницын и Арсеньев потерпели по службе; имел большое влияние знаменитый ревизор Магницкий, торжествовало его направление, и в 1822 году даже самый Царскосельский лицей передан в ведомство военно-учебных заведений. К тому же,

* В письме к брату от 6 октября 1822 г. «Министру я писал, он и в ус не дует».

удаленный по высочайшему (хотя и не гласному) повелению, Пушкин не иначе мог быть и возвращен. Отлучки императора Александра, его беспрестанные поездки то во внутренние губернии, то за границу, на Люблинский и Веронский конгрессы, тоже могли быть помехою. К императору, естественно, посылались только дела первой важности, и отнюдь не могла быть послана бумага о перемещении из одного места в другое какого-нибудь коллежского секретаря Пушкина⁶⁰. Оттого Пушкина так занимает вопрос, когда возвратится государь (письмо к брату от 30 января 1823 года). Неуверенность в своем положении, надежда, что, может быть, завтра выйдет разрешение ускакать из Кишинева, должны были усиливать душевную тревогу Пушкина. Он жил изо дня в день, как будто не на месте, и беспрестанно готовый в дорогу.

За невозможность свидания, сношения с петербургскими друзьями ограничивались перепискою, и то довольно редко, отрывочною. Переписка эта далеко не вся обнародована и, может быть, значительная часть ее утратилась: время и быстрая смена обстоятельств истребляют следы прошедшего, и к тому же не в наших нравах было дорожить письмами и беречь их. Впрочем, просим читателей помнить, что мы не пишем полной и связной биографии Пушкина, а только собираем и приводим в порядок материалы для нее. Доступа к бумагам Пушкина и его ближайших друзей мы не имели; может быть, многое из тогдашней переписки его еще сберегается и со временем будет сообщено во всеобщее сведение. Сколько можно судить по тому, что у нас есть, Пушкин хотя и переписывался со многими лицами, но довольно редко. Он был слишком молод и беспечен и слишком надеялся на скорое свидание, чтобы вести правильную и постоянную переписку за полторы тысячи верст.— С Карамзиным, как кажется, он вовсе не переписывался: лета и положения были слишком розны. Не знаем, уцелели ли письма его к А. И. Тургеневу; но он наверное писал к нему. Сам Тургенев говорит в одном из отрывков своей **Хроники Русского из Парижа**, что, перебирая бумаги, попал на письмо к нему Пушкина из Кишинева, от 21 августа 1821 года. «Письмо коротко,— замечает Тургенев,— но ноготок востер»*. В 1822 году он ему послал свою **Песнь о вещем Олеге**, так как Тургенев был большой охотник до русской старины. Через Жуковского шли, кажется, переговоры о возвращении

* См. *Современник* 1841 года, том XXV, стр. 5.

из ссылки; но Пушкин жалуется брату, что редко получает письма от Жуковского, просит, чтоб он, по крайней мере, продиктовал своему человеку Якову несколько строчек к нему. Дело в том, что Жуковский в 1820 и 1821 г. ездил за границу с великой княгиней Александрой Феодоровной и потом был обременен своею должностью при дворе. Тогдашние письма к Чадаеву, как мы видели, утратились, но Пушкин не забывал своего друга, что показывают два стихотворные послания, одно из Крыма, другое из Бессарабии. Писем к Баратынскому тоже, как мы слышали, не сохранилось, хотя они, наверное, были, как видно по двум обращениям к нему в стихах (1822), находящимся в печати. Без сомнения, также шла переписка с Н. Раевским-сыном, с М. Ф. Орловым, после его отъезда из Кишинева, с Д. В. Давыдовым и др. Из тогдашних писем к П. А. Катенину напечатано в издании Анненковой (I, 58) только одно письмо от 19 июля 1822 г., и там же изложены бывшие между ними недоумения. В письме этом особенно важно для биографии Пушкина следующее, для нас пока не совсем понятное, место: «Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих был я жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием об них?» **Минутные друзья минутной молодости**, общество гусарское и Зеленой Лампы, Всеволожский, Каверин, Юрьев, Мансуров, Молоствов, Василий Олсуфьев и другие забыли Пушкина в его далекой ссылке. «Два года и шесть месяцев ни строки, ни слова»,— пеняет Пушкин в вышеупомянутом письме к одному из них, Я. Н. Толстому (I, 187). Не знаем, была ли переписка с Малиновским и И. И. Пушиным, но к третьему лицейскому другу своему, барону Дельвигу, Пушкин написал из ссылки в первый раз только в марте 1821 года (см. выше) известное письмо прозою и стихами. Все-таки, если бы можно было собрать и издать эти письма вместе с ответами, такая книга вышла бы наилучшим пояснением жизни нашего поэта и в то же время была бы живою картиною тогдашнего умственного и литературного движения в России.

Переписка, более или менее непрерывная, поддерживалась, кажется, только с братом. К сожалению, и она дошла, по крайней мере до нас, не вполне; во-первых, мы не имеем ответных писем брата, во-вторых, самые письма Александра Сергеевича, очевидно, не все уцелели*. Лев Сергеевич,

* Лев Сергеевич скончался в Одессе в 1854 году. Тогда же я

не кончив курса в пансионе при педагогическом институте, проживал в Петербурге в доме родителей, не имея определенных занятий и не торопясь поступать на службу. В 1822 году, о котором у нас теперь идет речь, ему было всего 16 лет. Он был очень похож на брата и лицом и отчасти нравом. Приятели Пушкина любили его: он им живо напоминал ссыльного поэта. К тому же он имел родовую склонность к занятиям словесностью. Таким образом Лев Сергеевич прямо с ученической скамейки вступил в кружок друзей своего брата. Пушкин покинул его в Петербурге еще совсем мальчиком и долгое время потом сохранял в отношении к нему нежное и в то же время покровительственное чувство старшего брата. В воспоминаниях о Петербурге он занимал у него первое место, и мы видели, как он заботливо поручает его Дельвигу. Переписываться с ним, знать о нем было для него потребностью сердца. Выше приведено письмо его к брату с рассказом о путешествии и другое, французское, с наставлениями, как вести себя в свете. От 1821 года уцелело только одно письмо (27 июля), из которого два отрывка, с вопросами о новостях словесности и с поручением к Всеволожскому, также приведенные выше. «Здравствуй, Лев,— пишет он ему,— не благодарю тебя за письмо твое, потому что ты мне дельного ничего не говоришь; я называю дельным все, что касается до тебя. Пиши ко мне покаместь (sic) я еще в Кишиневе. Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью... Скажи ему (Всеволожскому), что я люблю его, что он забыл меня, что я помню вечера его, любезность его. V. C. P. его, L. D. его, Овощникову его, лампу его и все елико друга моего*. Поцелуй, если увидишь, Юрьева и Мансурова, пожелаю здравия Калмыку и напиши мне обо всем». Эти поручения

обратился с просьбою к опекуну детей его, С. А. Соболевскому, поискать в его бумагах писем Пушкина. Из нижегородской деревни прислана была пачка писем, всего 34. С. А. Соболевский позволил нам снять с них копии, которыми мы теперь и пользуемся. Потом письма эти были напечатаны в *Библиогр. Записках* 1858 г. (№ 1, 2 и 4), но не вполне, и не в строгом порядке.— Писем было, конечно, больше, нежели сколько теперь у нас в руках. Недавно найдено еще одно чрезвычайно любопытное письмо (1825 года) г. Титовым в бумагах П. М. Л-вой и напечатано в *Библиогр. Записках* 1861, № 13.

* V. C. P.— значит *Veuve Cliquot. Pontchadrain* — клеймо на пробках шампанского. Что такое L. D., не знаем. Авдотья Ивановна Овощникова — петербургская танцовщица. Калмык — мальчик, слуга у Всеволожского. См. о нем заметку г. Журавлева в *Москов. Вестн.* 1855 г. № 143.— Для характеристики этого общества молодых повес можно прибавить, что у них, напр., разыгрывалось *Изгнание Адама и Евы из рая*, а один из них назывался *содомским гражданином*. Кто такие были Юрьев и Мансуров — не знаем⁶¹

ввели Льва Сергеевича в общество Зеленой Лампы и познакомили со всеми его шалостями. «Пришли мне Тавриду Боброва»,— заключает Пушкин. **Таврида или мой летний день в Таврическом Херсонесе** — старинная поэма, сочинение Семена Боброва (Николаев. 1798). Пушкину захотелось взглянуть на нее: он тогда занят был своим **Бахчисарайским Фонтаном**.

От 1822 года сохранилось четыре письма к брату. «Сперва хочу с тобою побраниться,— пишет Пушкин 24 января,— как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не московская кузина; во-вторых, письма твои слишком коротки: ты или не хочешь, или не можешь мне говорить открыто обо всем. Жалею: болтливость братской дружбы была бы мне большим утешением. Представь себе, что до моей пустыне (sic) не доходит ни один дружеский голос, что друзья мои как нарочно решились оправдать мою эгегическую мизантропию,— и это состояние несносно. Письмо, где говорил я тебе о Тавриде, не дошло до тебя, это меня бесит. Я давал тебе несколько препоручений самых важных в отношении ко мне, черт с ними; постараюсь сам быть у вас на несколько дней, тогда дела пойдут иначе». Далее говорится о посылке **Кавказского Пленника** Гречу, что приведено у нас выше. «Спроси Дельвига, здоров ли он,— продолжает Пушкин,— все ли, слава Богу, пьет и кушает; каково нашел мои стихи к нему и пр. О прочих дошли до меня темные известия. Посылаю тебе мои стихи, напечатай их в **Сыне** (без подписи и без ошибок)*. Если хочешь, вот тебе еще эпиграмма, которую ради Христа не распускай, в ней каждый стих правда». Следуют две эпиграммы: **Иной имел мою Аглаю**, и другая на Каченовского. «Покушай, пожалуйста,— кончает он.— Прощай, Фока, обнимаю тебя. Твой друг Демьян». И стихи, и особенно эпиграммы, разумеется, разнеслись по Петербургу. Лев Сергеевич становился везде приятным гостем: от него можно было узнать новые стихи и остроты ссыльного брата.

От 21 июля: «Ты на меня дуешься, милый; не хорошо. Пиши мне, пожалуйста, и как тебе угодно; хоть на шести языках, ни слова тебе не скажу. Мне без тебя скучно. Что ты делаешь? В службе ли ты? Пора, ей-Богу пора. Ты меня в пример не бери; если упустишь время, после будешь тужить. В русской службе должно непременно быть в 26 лет полковником, если хочешь быть чем-нибудь когда-нибудь,

* Какие именно эти стихи, мы не могли доискаться.

следственно, разочти. Тебе скажут: учись, служба не пропадет, а я тебе говорю: служи, учение не пропадет. Конечно, я не хочу, чтоб ты был такой же невежда, как В. И. Козлов, да ты и сам не захочешь. Чтение — вот лучшее учение. Знаю, что теперь не то у тебя на уме, но все к лучшему. Скажи мне, вырос ли ты? Я оставил тебя ребенком, найду молодым человеком. Скажи, с кем из моих приятелей ты знаком более? Что ты делаешь, что ты пишешь? Если увидишь Катенина, уверь его ради Христа, что в послании моем к Чаадаеву нет ни одного слова об нем; вообрази, что он принял на себя стих **И сплетней разбирать игривую затею**; я получил от него полукислое письмо, он жалуется, что писем от меня не получил. Не моя вина. Пиши мне новости литературные. Что мой **Руслан**? Не продается? Не запретила ли его цензура? Дай знать. Если же Слёнин купил его, то где же деньги? А мне в них нужда. Каково идет издание Бестужева? Читал ли ты мои стихи, ему посланные? Что **Пленник**? Радость моя, хочется мне с вами увидеться; мне в Петербурге дела есть; не знаю, буду ли к вам, а постараюсь. Мне писали, что Батюшков помещался. Быть нельзя; уничтожь это вранье. Что Жуковский, и зачем он ко мне не пишет? Бываешь ли ты у Карамзина? Отвечай мне на все вопросы, если можешь, и поскорее. Пригласи также Дельвига и Баратынского. Что Вильгельм? Есть ли об нем известия? Прощай. Отцу пишу в деревню»*.

От 4 сентября. «На прошедшей почте (виноват, с Долгоруким) я писал к отцу, а к тебе не успел, а нужно с тобою потолковать кой о чем. Во-первых, о службе. Если б ты пошел в военную, вот мой план, который предлагаю тебе на рассмотрение. В гвардию тебе незачем; служить 4 года юнкером вовсе не забавно. К тому же тебе нужно, чтоб о тебе немножко позабыли. Ты бы определился в какой-

* Батюшков в это время, вернувшись из Италии, жил на Каменном острове, уже несколько поврежденный в уме. Вскоре его послали лечиться в Крым; в Симферополе он покушался было на жизнь свою, но потом к нему опять приходили ясные минуты, ум его проявлялся во всем своем природном блеске, и он даже писал прекрасные стихи. В январе 1823 г. Пушкин упоминает о нем в письме к брату: «Батюшков в Крыму. Орлов с ним видался часто. Кажется мне, он из ума шутит». — Дельвиг служил тогда в имп. публичной библиотеке. — В. К. Кюхельбекер, кажется, жил в Париже, на службе в канцелярии Нарышкина. — Баратынский, тогда подпрапорщик Нейшлотского пехотного полка, приезжал в Петербург из Фридрихсгама. Некоторое сходство участия влекло особенно к нему Пушкина. — О В. И. Козлове знаем только, что в 1823 году он издавал с Воейковым **Новости Литературы**.

нибудь полк корпуса Раевского, скоро был бы ты офицером, а потом тебя перевели бы в гвардию. Раевский и Киселев оба не откажутся. Подумай об этом, да, пожалуйста, не слегка, дело идет о жизни. Теперь, моя радость, поговори о себе». Следует опять поручение к Всеволожскому касательно запрошенных стихов.

Как ни мало печатал Пушкин в сравнении с другими писателями, но литературное значение его быстро возрастало. Еще до появления в печати **Кавказского Пленника**, к Пушкину обращены уже были ожидания любителей словесности и читающей публики. Издатели журналов начинали заискивать его участия. В первой половине 1822 года гвардии драгунского полка поручик **Александр Александрович Бестужев** и отставной артиллерии подпоручик (печальной и тяжелой памяти) **Кондратий Федорович Рылеев** задумали составить сборник из разных новых произведений русской словесности, наподобие тех литературных календарей или альманахов, которые тогда в Германии и Англии во множестве выходили к каждому новому году. У нас, кажется, такого рода изданий прежде не было, если не считать **Аонид Карамзина**, появившихся еще в прошлом столетии. Оба издателя, люди молодые и талантливые, побывавшие с войсками в чужих краях и в Париже, были уже довольно известны в печати. Рылеев напечатал уже несколько исторических **Дум**, а Бестужев (прославившийся впоследствии под псевдонимом **Марлинского**) еще до 1822 года принадлежал к замечательным деятелям в словесности. Перебирая тогдашние журналы с 1819 года, беспрестанно встречаешь его имя и удивляешься разнообразию его занятий. Он переводит с польского, английского и немецкого языков, обнаруживает замечательные познания и в русской истории и в старинной нашей словесности, представляет в Обществе соревнователей просвещения и благотворения (где был цензором библиографии) какой-то каменный лен, пишет повести и рассказы, из которых сделалась особенно известною **Поездка в Ревель**, но всего чаще является как остроумный критик*. Мнения его были всегда оригинальны и свежи, выражались смело и с убеждением. Преследуя, напр., своими замечаниями Катенина, одного из представителей шишковской партии,

* Псевдоним **Марлинского**, под которым впоследствии так прославился Бестужев в нашей словесности, был им принят еще в 1822 году. В **Сыне Отечества** встречаются его критические разборы с этою подписью. **Марли** — так называется один из Петергофских дворцов. Там, вероятно, стоял драгунский полк, в котором служил Бестужев.

он в то же время не только не увлекается Карамзиным, но даже отвергает предложения его почитателей, которые хотели познакомить его с историографом*.

Из своей ссылки Пушкин не мог не обратить на него внимания. Впрочем, и Р<ылеев> и Бестужев встречались с Пушкиным еще до 1820 года и были потом хорошо знакомы с его приятелями, бароном Дельвигом и Баратынским. Собираясь издать **Полярную Звезду**, Бестужев обратился к Пушкину с просьбою о стихах для этого альманаха или, как они тогда называли, календаря. Вот ответное письмо Пушкина, из Кишинева, от 21 июня 1822 года: «Милостивый государь Александр Александрович, давно собирался я напомнить вам о своем существовании. Почитая прелестное ваше дарование и, признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме не из одного самолюбия, но также из любви к истине. Вы предупредили меня. Письмо ваше так мило, что невозможно с вами скромничать. Знаю, что ему не совсем бы должно верить, но верю поневоле, и благодарю вас как представителя вкуса и верного стража и покровителя нашей словесности. Посылаю вам мои бессарабские бредни, и желаю, чтобы они вамгодились. Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей приятельнице. Кажется, голубушка еще не поумнела. Не понимаю, что могло встревожить ее целомудренность в моих элегических отрывках. Однако должно нам постоять из одного честолюбия. Отдаю их в полное ваше распоряжение. Старушку, по-видимому, пострашали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно (например, услужливого Плетнева, или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по **Тавриде**). Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло, и все будет слажено. С живейшим удовольствием увидел я в письме вашем несколько строк К. Ф. Рылеева; они порука мне в его дружестве и воспоминании; обнимите его за меня, любезный Александр Александрович, как я вас обниму при нашем свидании».

Этим начались сношения. Вскоре Пушкин заочно подружился с Бестужевым, и между ними завязалась довольно деятельная переписка, продолжавшаяся более трех лет сряду, и судя по тому, что у нас есть из нее, очень важная для истории Русской словесности. В то время Бестужев

* См. **Русский Вестник** 1861, март и апрель, в письмах Бестужева к братьям Полевым.

еще принадлежал к числу пылких почитателей Пушкина. Впоследствии, как увидим, он переменял мнения свои⁶².

Бессарабскими бреднями, отданными в **Полярную Звезду**, Пушкин называет **Мечту воина**, **Овидию**, **Гречанке** и **Элегию (Увы! зачем она блистает)**. О первых трех стихотворениях мы уже говорили; кому или про кого написано четвертое, относящееся к 1819—1820 годам, нам неизвестно⁶³. Печатание стихов видимо занимало Пушкина. «В послании к Овидию, — поручает он брату (4 сент. 1822), — перемены таким образом:

Ты сам дивись, Назон, дивись судьбе превратной,
Ты, с юных дней презрев волненье жизни ратной,
Привыкнув и пр...»

Мы уже видели, что любимые стихи эти появились в печати не так, как они были написаны. В это же самое время вышел в свет и **Кавказский Пленник**. Пушкин, как кажется, оживился; письма его наполняются запросами о том, что делается в литературе. «Кстати об стихах, — продолжает он в том же письме, — то, что я читал из **Шильонского Узника**, прелесть. С нетерпением жду успеха **Орлеанской...**; но актеры, актеры! 5-стопные стихи без рифмы требуют совершенно новой декламации. Слышу отсюда драммо-торжественный рев **Глухорева**. Трагедия будет сыграна тоном смерти Роллы. Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена: Господи, защити и помилуй, но боюсь. Не забудь уведомить меня об этом и возьми от Жуковского билет для первого представления на мое имя». Предположения Пушкина не сбылись: Жуковский не ставил на сцену своего перевода Орлеанской Девы, и актеру Глухареву не пришлось декламировать пятистопных стихов без рифм. — Далее в том же письме Пушкин говорит о литературных упражнениях своего товарища Кюхельбекера, каких именно, мы не могли доискаться: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремии. Что бы сказали Гомер и Пиндар, но что говорят Дельвиг и Баратынский? Ода к Ерм<олову> лучше, но стих: **Так пел в Суворова влюблен Державин...** слишком уже греческой. Стихи к Грибоедову достойны поэта, некогда написавшего: **Страх при звоне меди заставляет народ устранный толпами стремиться в храм священный. Зри, Бо-**

же! число великое унылых тебя просящих сохранить им цель, труд многим людям принадлежащий и проч. Справься об этих стихах у б. Дельвига». Видно, как Пушкин весь был предан словесности, как его занимали самые мелочи в этом отношении.

Следующее за тем место того же письма дало Пушкину нового корреспондента из Петербурга и повело потом к крепкой на всю жизнь дружеской связи. Мы говорим о возникшей в 1822 году переписке нашего поэта с другим тогдашним критиком и стихотворцем **Петром Александровичем Плетневым**. В первый раз П. А. Плетнев встретил Пушкина в доме его родителей, когда он был еще лицеистом. Потом, служа вместе с Кюхельбекером в Екатерининском институте, он через него сошелся и подружился с Дельвигом. Все трое хаживали на литературные субботние вечера к Жуковскому, где часто бывал Пушкин. Там они и познакомились. Любовь к словесности соединяла молодых людей. Поздними вечерами они возвращались вместе от Жуковского и в одушевленных беседах не замечали дальних расстояний столицы. Плетнев напечатал тогда роман одного своего покойного товарища студента **Ивана Георгиевского: Евгений или письмо к другу** (Спб., 1818, 2 части), и к этому довольно слабому произведению написал предисловие, в котором рассказана жизнь рано умершего сочинителя. «Зачем вы напечатали роман? — заметил ему Пушкин, — вам бы выдать одно предисловие: это вещь прелестная». Сношения пока ограничивались обыкновенным знакомством, а потом Пушкин уехал. В 1821 году, в 8-м (февральском) номере **Сына Отечества** появилась, без подписи, Элегия Плетнева, под заманчивым заглавием **Б<атюшк>ов из Рима***. Поэт Батюшков жил тогда в Италии, и от него ждали новых стихов. Вышла забавная мистификация. Профессор Кошанский в Лицее, прочитав Элегию своим слушателям, говорил: Вот сей час виден талант, чувствуется стих Батюшкова. В литературных кружках разошелся слух, будто Элегия написана Батюшковым. Прошло несколько месяцев; но в 1822 году поэт возвратился в Петербург, и как известно, в беспокойном, близком к помешательству состоянии. Слух об Элегии дошел до него, и по справке оказалось, что она получена в журнал от Плетнева. Батюшков подозревал

тогда, что у него множество врагов, желающих уронить его славу, что против него какой-то заговор и что Плетнев нарочно выбран, чтоб повредить ему. Пушкину обо всем написали в Кишинев, и на это он замечает в письме к брату: «Батюшков прав, что сердится на Плетнева; на его месте я бы с ума сошел со злости. **Б<атюшк>ов из Рима** не имеет человеческого смысла, даром что новость на Олимпе очень мила*. Вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели (sic) стихи, Он не имеет никакого чувства, никакой живости, слог его бледен как мертвец. Кланяйся ему от меня и пр.». Лев Сергеевич не отличался скромностью. Письма от брата читались у него целою компаниею. Тогда Плетнев послал в Кишинев по почте известное, прекрасное послание свое:

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;
И, может быть, взыскательный урок
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы престопадной:
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.
Притворство прочь. На поприще моем
Я не свершил достойное поэта:
Но мысль моя божественным огнем
В минуты дум не раз была согрета и пр.

Читая теперь это послание, видишь, как сбылось предчувствие, выраженное в конце его:

Мне в славе их участие дано,
Я буду жить бессмертием мне милых**.

Такое простое, благородное и откровенное обращение не могло не тронуть Пушкина; он отвечал Плетневу, как давнишнему приятелю, а своему брату написал 6 октября: «Если б ты был у меня под рукой, моя прелесть, то я бы тебе уши выдрал. Зачем ты показал Плетневу письмо мое? В дружеском обращении я предаюсь резким и необдуманным суждениям; они должны оставаться между нами; вся моя ссора с Толстым*** происходит от нескромности

* Что такое **Новость на Олимпе**, нам непонятно.

** В то время не спешили печатанием. Послание Плетнева появилось в свете только в 1824 году, в **Трудах Вольного Общ. Люб. Рус. Слов.** в XXVI-й (апрельской) части.

*** Стр. Ф. И. Толстым. Об этой ссоре будет речь в 6-й главе нашего труда.

* В **Сыне Отечества** 1822 г., № 7, напечатано стихотворение Плетнева **Ж<уковск>ий из Берлина**, с подписью. Жуковский перед тем ездил в Берлин.

к. Шаховского. Впрочем, послание Плетнева, может быть, первая его пиеса, которая вырвалась от полноты чувства. Она блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением; тон его смел и благороден. На будущей почте отвечу ему». — Надо прибавить, что перед тем, в июльской (XIX) части **Трудов Общества Любителей Русской Словесности** появилась статья Плетнева об антологических стихотворениях, где несколько теплых, сочувственных страниц посвящено разбору Пушкинских стихов **Муза**, а в следующей за тем октябрьской части того же журнала напечатан его разбор **Кавказского Пленника**, замечательный по строго-нравственному требованию, предъявленному критиком в отношении характера самого **Пленника** (стр. 41 и 42). «Несчастный любовник мог бы сказать ей: «мое сердце чуждо новой любви»; но кто имеет причину признаваться, что он не стоит восторгов невинности, тот разрушает всякое очарование насчет своей нравственности... Впрочем, встречая в этой поэме пропуски, означенные самим сочинителем, мы полагаем, что какие-нибудь обстоятельства заставили его представить публике свое произведение не совсем в том виде, как оно образовалось в первом его состоянии». Кстати сказать здесь, что пропуски, означаемые рядом точек и впоследствии в таком обилии появившиеся в **Онегине**, давали повод к обвинению, будто Пушкин нарочно ставит их для возбуждения любопытства читателей. Издеваясь над этим, Грибоедов прислал однажды письмо в Петербург, начавшееся множеством точек.

Вскоре в переписке между Пушкиным и Плетневым вы заменилось словом **ты**, и они совершенно сблизились.

Нам остается сказать еще о двух приписках в том же письме к брату от 4 сентября. Одна французская: «Mon père a eu une idée lumineuse, c'est celle de m'envoyer des habits, garpez la lui de ma part*». Это поручение напоминает стихи 1822 года **Жалоба**⁶⁴.

Увы! никто в моей родине
Не шьет мне даром фраков модных
И не варит обеда мне**.

* Отцу пришла в голову блестящая мысль — прислать мне одежду, напомни ему от меня об этом (фр.).

** Кроме упомянутых нами, к 1822 году относятся еще следующие стихотворения:

1) 2) **Два Путника и Сон** — это отрывки неконченной поэмы **Вадим**, из которой приятели Пушкина помнят еще два неизданные стиха:

Другая приписка относится к Рылееву. В **Сыне Отечества** того года (№ 23, июнь) Пушкин прочел **Думу** его: **Богдан Хмельницкий**, которая начинается стихами:

Средь мрачной и сырой темницы,
Куда лишь в полдень проникал,
Скользя по сводам, луч денницы
И ужас места озарял и пр.

«Милый мой, — приписывает Пушкин сбоку письма, — у вас пишут, что луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого. Это не Хвостов написал, вот что меня огорчило. Что делает Дельвиг, чего он смотрит?»*

Ты видел Новгород, ты слышал глас народа:
Жива в их памяти славянская свобода.

3) **Послание к Ф. Н. Глинке** (Когда средь оргий жизни шумной). Ф. И. Глинка служил тогда при петербургском генерал-губернаторе гр. Милорадовиче. Не через него ли, может быть, шли сношения о позволении Пушкину возвратиться в Петербург? Позднее Пушкин писал о нем брату: «Я рад, что Глике (sic) полюбились мои стихи, это была моя цель; в отношении его я не Фемистокл, мы с ним приятели». К чему это сказано, мы пока не можем себе объяснить; равно непонятно, почему Пушкин несколько раз пишет **Глика** вместо **Глинка**. (Несомненно просто описка. — *Сост.*.)

4) **Горишь ли ты, лампада наша?** — в упомянутом письме к Я. Н. Толстому.

5) **Адели**.

По общему преданию написано к дочери А. Л. Давыдова; но в Крыму живет семейство, приписывающее эти стихи одному из своих членов.

6) **Приятелю** (Не притворяйся, милый друг)

7) **У Кларисы денег мало**.

8) **Нет ни в чем вам благодати**.

Намеки, заключающиеся в последних трех стихотворениях, остаются пока непонятны для нас. Всего от 1822 года имеем **восемнадцать стихотворений**, — меньше предыдущего года; но теперь Пушкин занял ся поэмами.

* То же замечание повторено в письме к брату, написанном в начале следующего года, при вторичной посылке стихов к Глинке (в первый раз они не дошли до него): «Душа моя, как перевести порусски *Bevues*? Должно бы издавать у нас журнал *Bevue des Bevues*** Мы бы поместили там выписки из критик Воейкова, полудневную денницу Р<ылеева>, его же герб Российский на вратах византийских (Во время Олега герба русского не было, а двуглавый орел есть герб византийский и значит разделение империи на зап. и вост.; у нас же он ничего не значит). Поверишь ли, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб не найти с десяток этих *bevues*; поговори об этом с нашими». — Говорится о стихах в **Думе Рылеева**. **Олег Вещий**:

Прибил свой щит с гербом **России**
К Царьградским воротам.

** промахи... Обзорение промахов (фр.).

Следующее за тем письмо (от 6 октября) Пушкин оканчивает опять вопросом о своих стихах: «Кстати, получено ли мое послание к Овидию? Будет ли напечатано? (sic) Что Бестужев? Жду календаря его. Я бы тебе послал и новые стихи, да лень. Прощай, милый».

Ожидаемый Пушкиным календарь Бестужева, или **Полярная Звезда**, карманная книжка для любителей и любителей Русской Словесности на 1823 год, изданная **А. Бестужевым и К. Рылевым**, вышла в последних числах декабря 1822 года (ценз. дозволение А. Бирюкова 30 ноября), в 16 долю листа, 390 и 4 нен. стр. Успех был небывалый. И новость предприятия, и самое содержание, даже и теперь, через сорок лет, не утратившее отчасти своих достоинств, и наконец имена издателей обратили всеобщее внимание на этот первый у нас альманах. Публика, еще до объявления о выходе, стала раскупать его*. Кроме Карамзина, занятого своей историей и никогда не раздроблявшего ее в печати, тут участвовали все лучшие писатели: Жуковский, кн. Вяземский, Давыдов, Дельвиг, Гнедич и пр. Об участии Пушкина мы уже говорили. Много шуму возбудила передовая статья Бестужева **Взгляд на старую и новую словесность в России**. После общего обозрения, Бестужев перечислял писателей, и о каждом сказал по несколько довольно уклончивых, но замысловатых изречений. Одни обиделись этими приговорами, другие тем, что об них вовсе не было упомянуто, и в журналах поднялась полемика. Приверженцев старины, представителем которых был **Вестник Европы**, особенно оскорбляло то, что молодой драгунский офицер-самоучка судил и рядил заслуженных писателей. Но к Пушкину **Полярная Звезда** была очень любезна. Он поставлен наряду с Жуковским и Батюшковым и про него сказано (стр. 24—25): «Еще в младенчестве он изумил мужеством своего слога, и в первой юности дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии. Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами... Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не

Через два года, когда вышло собрание **Дум Р<ылеева>**, Пушкин не позабыл написать ему: «Ты напрасно не поправил в Олеге герба России. Древний герб, св. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега. Новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III-го, не прежде. Летописец просто говорит: «тоже повеси щит свой на вратах, на показание победы».

* Так именно сказано в последнем номере **С. Отеч.** 1822 года. Цена **Полярной Звезды** была на белой бумаге 8 р., на веленой 10; за пересылку 2 р.— по-теперешнему это очень дорогая цена.

говору уже о благозвучии стихов — это музыка; не упоминаю о плавности их — по русскому выражению, они катятся по бархату жемчугом!» Кроме того, Бестужев поместил четыре стиха из **Кавказского Пленника** эпиграфом в своей повести из быта древних новгородцев: **Роман и Ольга**, напечатанной в **Полярной Звезде**. Повесть эта очень замечательна, как одна из первых попыток рассказа, с соблюдением исторической обстановки. Мысль, очевидно, вызванная романами Вальтер-Скотта, от которых все тогда сходили с ума, и сильно занимавшая потом Пушкина.

Альманах был немедленно послан к Пушкину вместе с деньгами за стихи. «Благоразумный Левинька,— пишет Пушкин к брату 30 января 1823 года,— благодарю за письмо. Жалею, что прочие не дошли. Пишу тебе окруженный деньгами, афишками, стихами, прозой, журналами, письмами, и все то благо, все добро. Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился подобно **Кавказскому Пленнику**. Бестужев прислал мне **Звезду**, эта книга достойна всякого внимания. Жалею, что Баратынский поспешил*, я надеялся на него. Каковы стихи к Овидию? Душа моя, и **Руслан**, и **Пленник**, и **Noel** и все дрянь в сравнении с ними. Ради Бога, люби две звездочки, оне обещают достойного соперника знаменитому Панаеву, знаменитому Р<ылееву> и прочим знаменитым нашим поэтам. **Мечта война** привела в задумчивость война, что служит в иностранной коллегии и находится ныне в бессарабской канцелярии. Эта мечта напечатана с ошибочного списка: **призванье** вместо **взыванье**, **тревожных дум** — слово, употребляемое знаменитым Р<ылеевым>, но которое по-русски ничего не значит. **Воспоминание и брата и друзей** — стих трогательный, а в **Звезде** просто плоской**. Но все это не беда, были бы деньги. Я рад, что Глике полюбились мои стихи — это была моя цель. В отношении его я не Фемистокл; мы с ним приятели... Гнедич у меня перебивает лавочку:

Увы, напрасно ждал тебя жених печальный

и проч. непростительно прелестно; знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места на Парнассе. Дельвиг, Дельвиг!

* Баратынский дал в **П. Звезду** 1823 года стихи **Весна** (На звук цевницы голосистой) и автобиографическое **К Дельвигу** (Дай руку мне, товарищ добрый мой).

** Следовало привычных дум; а вместо и брата в **Звезде** было и братьев.

Пиши ко мне и прозой и стихами; благословляю и поздравляю тебя, добился ты наконец до точности языка, единственной вещи, которой тебе недоставало. En avant! marche»*.

Намек о Глинке остается для нас непонятен, Гнедич заслужил такую похвалу за Элегию **Тарентинская Дева**, где описана смерть Эвфросины, которая плыла на корабле к жениху и утонула; двумя звездочками помечены два стихотворения самого Пушкина; а Дельвиг поместил в **Полярной Звезде** известную песню свою: **Ах ты, ночь ли, ноченька, Сельскую Элегию**, прекрасный сонет **Вдохновенье** и еще песню **Роза ль ты, розочка**, которую до сих пор распевают наши провинциальные барышни.

Довольно замечательно, что к самому Бестужеву на присылку **Полярной Звезды** Пушкин отозвался только чрез несколько месяцев. Вот его письмо к нему, уже от 13 июня 1823: «Милый Бестужев. Позволь мне первому перешагнуть через приличия и сердечно поблагодарить тебя за **Полярную Звезду**, за твои письма, за статью о литературе, за **Ольгу** и особенно за **Вечер на биваке**. Все это ознаменовано твоей печатью, т. е. умом и чудесной живостью. **О** взгляде можно бы нам поспорить на досуге. Признаюсь, что ни с кем мне не хочется так спорить, как с тобою, да с Вяземским: вы одни можете разгорячить меня. Покамест жалуясь тебе об одном: как можно в статье о Русской Словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это молчание непростительно ни тебе, ни Гречу, а от тебя его не ожидал. Еще слово: зачем хвалить холодного, однообразного Осипова, а обижать Майкова. **Елисей** истинно смешон: ничего не знаю забавнее обращения поэта к порткам:

Я мню и о тебе, исподняя одежда,
Что и тебе спастись худа была надежда.

— А любовница Елисея, которая сожигает его штаны в печи:

Когда для пирогов она у ней топилась,
И тем подобною Дидоне учинилась.

А разговор Зевеса с Меркурием; а герой, который упал в песок:

* Вперед! марш (фр.).

И весь седалища в нем образ напечатан,
И сказывали те, что ходят в тот кабак,
Что виден и поднесь в песке сей самый знак.

Все это уморительно*. В рассуждении 1824 г. постараюсь прислать тебе свои бессарабские бредни, но нельзя ли вновь осадить цензуру и со второго приступа овладеть моей анфологией. Разбойников я сжег, и поделом. Один отрывок уцелел в руках у Николая Раевского. Если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог не испугают нежных ушей читательниц **Полярной Звезды**, то напечатать его. Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на Русской земле, да и жалеть не о чем. Я уверен, что те, которые приписывают новую сатиру Арк. Родзянке, ошибаются; он человек благородных правил и не станет воскрешать времена слова и дела. Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости, да и стихи сами по себе недостойны певца сократической любви**. Дельвиг мне с год уже ничего не пишет. Попеньяйте ему и обнимите его за меня. Он вас, т. е. тебя, обнимет за меня. Прощай до свиданья.

Письмо это уже писано из Одессы. Когда именно Пушкин переехал туда, мы не можем определить с точностью⁶⁵. В Генваре 1823 года он еще не теряет надежды возвратиться в Петербург, как видно по письму его к брату от 30 числа этого месяца: «Прощай, душа моя! если увидимся, то зацелую, заговорю и зачитаю. Я ведь тебе писал, что кухельбекерно мне на чужой стороне... Неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется». Но, видно, Пушкину надоело дожидаться разрешения из Петербурга и захотелось непременно прогуляться. К тому же и средства на этот раз нашлись. Он в это время был при деньгах. Так, на святках с 1822 на 1823 год, в Кишиневе устроился боль-

* Во **Взгляде** Бестужева сказано: «В шутовском роде известны у нас **Майков** и **Осипов**. Первый (1725—1778) оскорбил вкус своею поэмою **Елисей**. Второй, в **Энеиде на изнанку**, довольно забавен и оригинален». Елисей действительно неприличен во всех отношениях, но смешон необыкновенно, и едва ли не выше **Опасного Соседа**.— В **Опыте Краткой Истории Русской Словесности**, Н. И. Греча, появившемся в начале 1822 года, не сказано ни слова о Радищеве. Про себя Пушкин прочел там такой отзыв: «Важнейшее его сочинение есть романтическая поэма **Руслан и Людмила**: в ней видны необыкновенный дух пиитический, воображение и вкус, которые, если обстоятельства им будут благоприятствовать, обещают принести драгоценные плоды»...

** **Аркадий Гаврилович Родзянка**, стихотворец и приятель Пушкина. То, что о нем здесь говорится, требует пояснения, которого мы дать не можем⁶⁶.

шой бал по подписке. Молодые молдаване задумали было дать праздник, но приглашали на него по выбору. Тогда русская молодежь, нарочно им в укор, сложилась между собою и на свой бал пригласила все общество, не обходя никого. Пушкин тоже дал вкладу 100 рублей: «Смотри же, ни копейки больше», — сказал он, отдавая эти деньги В. П. Горчакову. Кстати здесь привести любопытную черту, сообщенную тем же приятелем Пушкина. У него накопилось несколько золотых монет: он суеверно берег их и ни за что не хотел тратить, как бы ни велика была нужда.

Сам Пушкин так рассказывал брату о своем переселении в Одессу: «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело. Здоровье мое давно требовало морских ванн; я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напоминали мне старину и, ей-Богу, обновили мою душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково; объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Кажется и хорошо, да новая печаль мне сжала грудь; мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехав в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически, и, выехав оттуда навсегда, о Кишиневе я вздохнул»*.

Это писано из Одессы, 25 августа; но выражение **три месяца**, кажется, не точно; вышеприведенное письмо к Бестужеву, от 13 июня, противоречит этому показанию. Кроме того, в записках Ф. Ф. Вигеля определительно сказано, что Пушкин приезжал из Одессы в Кишинев на две недели, в половине марта месяца. Стихотворение 1823 года **на выпуск птички** по тону своему принадлежит еще, как нам кажется, Бессарабии и свидетельствует, что день Благовещения он провел в Кишиневе⁶⁷. Вигель написал ему в Одессу, что старик Инзов зовет его к себе назад и что кишиневские дамы соскучились по нем. Пушкин тотчас явился проститься с Кишиневом. Эти две недели он прожил в квартире Н. С. Алексеева, которому писал впоследствии (в ноябре 1826 года), вспоминая Бессарабию и начиная письмо стихами Жуковского:

Приди, о друг, дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизньию повеяй.

* Сличи заключительные стихи Шильонского Узника:

Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул,
Я о тюрьме своей вздохнул.

Не могу изъяснить тебе мои чувства при получении твоего письма... Кишиневские звуки, берег Быка... Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии. Я опять в своих развалинах, в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой чистой избушке».

Вскоре переезд Пушкина в Одессу получил официальное подтверждение. Указом 7 мая 1823 года новороссийское генерал-губернаторство и вместе наместничество в Бессарабии поручены были графу М. С. Воронцову. Инзов остался, как за три года перед тем, только попечителем колонистов Южного края. Бессарабская наместничья канцелярия переехала в Одессу, которую гр. Воронцов назначил по-прежнему центром управления. Вместе с другими чиновниками и Пушкин перечислился в Одессу, что огорчило старика Инзова. Несмотря на хлопоты, которые доставлял ему Пушкин, старый добрый генерал горевал о нем и говорил про него Вигелю: «Ведь я мог бы удержать его: он был прислан ко мне, попечителю, а не к бессарабскому наместнику».

Так отъезжал человек, приставленный смотреть за его поведением. Так точно было и во всем кишиневском обществе: Пушкину простили его дуэли, заносчивые речи и шалости, и имя его остается памятно и любезно городу Кишиневу.

О СТИХОТВОРЕНИИ ПУШКИНА «ПАМЯТНИК»

(Я памятник себе воздвиг нерукотворный)

В подлинной рукописи стихотворение это не озаглавлено и имеет эпитафией первые два слова из известной оды Горация¹. Слова эти (как видно из приведенного выше наброска)² приходили на мысль Пушкину еще в Одессе, когда он писал строфы Онегина, в которых говорит о своем поэтическом бессмертии:

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как некий друг,
Напомнил хоть единый звук³.

В одной из ранних тетрадей его находится заметка, где он говорит, что, при всей несоизмеримости способов, он имел в последние годы Александровского царствования более влияния, чем все министерство народного просвеще-

ния. В светлые минуты свои Пушкин отличался необыкновенно-ясным сознанием своих сил и своего значения. Нет, однако, сомнения, что он никогда бы не решился печатно говорить о памятнике самому себе, как это сделал в оглашенном при жизни духовном завещании своем другой великий наш писатель⁴.

Стихотворение «Памятник» имеет значение поэтической автобиографии, писанной про себя, в последние месяцы жизни, когда мысль о близкой кончине беспрестанно занимала Пушкина и после того, как он уже заказал себе могилу в Святогорском монастыре, где теперь лежит.

«Памятник» напечатан в первый раз через четыре года по смерти Пушкина, в дополнительном издании его сочинений 1841 года. Через шесть лет после этого вышла известная «Переписка с друзьями», где Гоголь говорит Жуковскому по поводу этого стихотворения: «Хотя в **Наполеоновом столбе** виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, пред многими из венценосцев, слышал в то время всю малость звания своего пред званием венценосца» и проч. (Соч. Гоголя, изд. 1880, IV, 602). Признаемся, что мы не видим тут «доказательства», о котором говорит Гоголь. Это место в «Переписке» Гоголя долго оставалось загадочным. Мы напрасно обращались к П. А. Плетневу и князю П. А. Вяземскому за разъяснением, и только теперь подлинная рукопись Пушкина выясняет, в чем дело⁵.

Прибавим, что в тетради стихов Пушкина, писанной рукою писца и по всем признакам назначенной для сдачи в печать, последний стих первой строфы изменен еще так: «Великолепного столба». Но и это показалось слишком прозрачным намеком на Александровскую колонну перед Зимним дворцом. Пушкин, как видно теперь по его Запискам, не хотел быть на ее открытии 30 августа 1834⁶, а Жуковский написал и напечатал о том известное превосходное письмо свое. Для того, чтобы стихотворение прошло в печати, пригодился «Наполеонов столб».

Отношения Пушкина к Александру Павловичу и к его памяти будут предметом особого расследования; здесь заметим только, что известные стихи, которые Пушкин, по обычаю своему, прикрыл заглавием: «К бюсту Завоевателя» и которых, впрочем, сам не напечатал, изображают Александра Первого. Пушкин, без сомнения, видел его мраморный бюст (ныне украшающий собою одну из зал

Императорской Публичной Библиотеки), изваянный Торвальдсеном в 1818 году, во время открытия первого Варшавского сейма (когда в России уже пользовался полною силою Аракчеев): прекрасный лоб с морщиною, а на устах приветливая Екатерининская улыбка.

Таков и был сей властелин,
К противочувствиям привычен и пр.

Что касается до Жуковского, изменившего смысл Пушкинских стихов, то винить его невозможно, когда знаешь, что иначе стихотворение могло бы погибнуть; что бумаги Пушкина, вслед за его кончиною, немедленно были опечатаны чиновником III-го отделения*; что были властные люди, радостно потиравшие себе руки в надежде отыскать в рукописях Пушкина и в его переписке новых якобы улик по делу 14 декабря; что участь, например, князя Вяземского висела на недоразумении; что Булгарин с братьею был свой графу Бенкендорфу и Дубельту, подпись которого и теперь красуется на Пушкинских тетрадах, хранящихся в Румянцовском музее, откуда взят прилагаемый снимок.

Читатели обратят внимание на четвертую строфу стихотворения «Памятник». Любопытно, что сначала Пушкину пришел в голову Радищев, которым он перед тем занимался, обрабатывая статью о нем для своего «Современника». Пушкин зачеркнул это имя; но видно, что свое мнение о Радищеве он долго менял и не знал, как отнестись к нему окончательно. Кстати сказать, что в известной статье: «Александр Радищев» у него в рукописи зачеркнуты следующие характерные слова: «Отымите у него честность, в остатке будет Полевой».

Итак, вот в каком виде оставил нам Пушкин свое знаменитое стихотворение:

Подлинный текст Пушкинского «Памятника»

Elegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа;

* Сургуч в доме нашелся только черный, так как не прошло еще года с кончины матери Пушкина (слышано от П. А. Плетнева).

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столба.

Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и Финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей Калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о Муза, будь послушна.
Обиды не страшись, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

1836. Авг. 31. Кам. Остр.

Для сличения приведем первоначальный Горациев образец и Державинское стихотворение, которому (по замечанию еще Белинского) подражал Пушкин.

Гораций

(книга 3-я, ода 30)

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Passit diruere, aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum,
Non omnis moriar multaque pars mei
Vitabit dibitinam: usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex.
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
Et qua pauper aquae Daunus agrestium
Regnavit populorum, ex humili potens
Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos. Sume superbiam
Quaesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam.

Державин

(Гротовское изд. 1, 785)

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный;
Металлов тверже он и выше пирамид:
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном Русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О Муза, возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай,
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твое зарей бессмертия венчай.

В заключение несколько слов о бронзовом памятнике, открытом в Москве 6-го июня 1880 г. Можно бы составить целую большую книгу из того, что говорилось и печаталось по поводу этого события. На радостях, что открытие, наконец, последовало, забыли обратить внимание на то, что памятник обошелся слишком дорого. По оглашенным отчетам выходит, что напр. памятник князю Воронцову в Одессе, представлявший художнику больше затруднений, украшенный тремя превосходными барельефными картинами и отлично исполненный, стоил слишком вдвое дешевле Пушкинского. На собранные деньги можно было, кроме постановки памятника, выкупить право издания сочинений Пушкина и издать поэта в подобающем ему виде, а не так спешно, как он теперь в последний раз издан.

Лицо, близко знавшее Пушкина, на вопрос наш, как ему нравится памятник, отвечало: «Я недоволен им по двум причинам. Во-первых, такой шляпы Пушкин не имел, да и с трудом мог бы добыть ее, так как таких шляп

тогда не носили; во-вторых, главная прелесть Пушкина в его безыскусственности, в том, что он никогда не становился на ходули и отличался необыкновенною искренностью и простотою; а тут Пушкин представлен в несвойственном ему, несколько вычурном положении». — Нас уверяли, будто шляпа на памятнике переделывалась и сначала была круглая, с какою Пушкин представлен на одном из снятых при его жизни портретов.

Недоумеваем мы также, отчего ограничились одною панихидою в церкви и отчего не последовало окропления памятника святою водою, как это было с памятниками Ломоносова, Державина и Карамзина: Пушкин умер верующим христианином.

Самое празднование происходило как-то торопливо. Оставлена почему-то мысль собрать на площади избранных воспитанников учебных заведений. Кстати: дочери известной писательницы, графини Е. П. Ростопчиной (дарование которой ценил Пушкин, бывавший в ее доме обычным гостем) просят нас заявить, что не были положены к подножию статуи венки и ленты, присланные ими из Италии и Парижа.

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» А. С. ПУШКИНА. ВНОВЬ НАЙДЕННЫЕ СТИХИ

Екатерина Вторая, женщина, как известно, вовсе не слезливого нрава, говорит (в одном из писем своих к Гримму), что она умилилась и растрогалась, когда перед нею открылся воздвигнутый по ее замыслу памятник Петру Великому. Это было 7 августа 1782 года, на другой день праздника **Преображения**, и Государыня смотрела на торжество открытия из нынешнего помещения Правительствующего Сената в Петербурге. Екатерина, государственным умом своим и отлично-усвоенным Русским чувством, постигала великое значение этого памятника. Это не только медная хвала преобразованию, но и олицетворение всей новой Русской истории. Медный Всадник попирает змею недоумений и безоглядно мчится вдаль, грозный и в то же время ликующий. Сравните это изображение с памятником под Липами в Берлине, и вам ясно представится характер обоих народов и стран¹. Оба изваяния отличаются сходством со своими подлинниками. Самый конь Берлинского изваяния выступает с какою-то оглядкой и осторожностью, а

В сем коне какой огонь,
Какая сила в нем сокрыта!

В наши дни утратилось несколько обаяние медного Петербургского Всадника: стеснена площадь, на которой он красуется; самое изображение заслонено чрез меру раздвинутым садом, и вечером, когда проезжаешь теми местами, уже не так отчетливо, как прежде, выступает Петр

Во мраке медной головой.

Чудесно-художественный образ Петра Великого памятен и дорог Русскому сердцу: он будит в нас потребность и обязательство учиться; он живо напечатлен в каждом из нас, кто сколько и когда-нибудь останавливался мыслью и болел душою над судьбами родной земли. Глядя на этого Всадника либо вспоминая про него, Русский человек невольно задумывается о значении Петровского переворота, об наших отношениях к старшим братьям общей Европейской семьи, о том, сколько потрачено сил на созидание Петровской столицы, как много пролито Русской крови ради нашей совместной политической жизни с Европою, как мало узнано и усвоено, и зато как много пренебрежено и позабыто...

Петр вдвинул нас в Европу, и не прошло столетия с его кончины, как Европа уже припожаловала к нам с мечом и огнем. Запылала Москва, и Русскому Государю пришлось заботиться о том, как бы снять с гранитной скалы и увезти в безопасное место гениальное произведение ваятельного искусства, предмет многолетних забот его бабки. Статс-секретарь Молчанов определенно передавал князю П. А. Вяземскому, что в 1812 году, когда Петербургу грозила опасность французского нашествия, Александр Павлович поручал ему, Молчанову, спасение Медного Всадника, для чего секретно получил он из казначейства и нужные деньги*. Памятник предназначался к упаковке и вывозу из Петербурга водою. «И подлинно, — прибавляет князь Вяземский, — слишком было бы грустно старику видеть, как чрез прорубленное им окно влезли воры».

Мысли и чувства, возбуждаемые памятником Петру Великому, часто и много занимали Пушкина. Самое то, что статую хотели увозить из Петербурга, могло быть ему известно, и может быть даже еще в Лицее, где он чутким

* Русский Архив 1873, стр. 1027.

отроком следил за событиями 1812 года, как это видно из многих его стихотворений. В одной из трех рукописей «Медного Всадника», хранящихся ныне в Румянцовском Музее в Москве (по описи, тетради XI, XII, XIII), встречаем следующие неконченные стихи:

Была ужасная година;
Об ней начну простой рассказ.
Давно, когда я в первый раз
Услышал мрачное преданье,
Я дал тогда же обещанье
Стихом... передать.

Пушкин находился у себя в Псковской деревне, когда случилось страшное наводнение, грозившее гибелью уже не только Медному Всаднику, но и всему Петербургу. Судя по сохранившимся отметкам на Петербургских домах, надо полагать, что вода заливала самое подножие кумира. Поэт имел известия об этом событии не в одних газетах. Друзья, навещавшие его в изгнании, Пущин, Дельвиг, конечно, передали ему подробности бедствия, к которому он относился с тревожным любопытством и с участливым сердоболием: известно, что он поручал брату Льву Сергеевичу помогать пострадавшим от наводнения из денег, выручаемых за «Онегина»². Вслед за тем Петровская площадь еще сильнее стала привлекать к себе поэтические думы Пушкина: на ней произошло роковое событие 14 декабря, в котором принимали участие многие приятели его и к которому он во всю жизнь потом обращался мыслию. — Еще через несколько лет Пушкин с большим усердием и усидчивостью занялся за историю Петра. Известно, что у него всякое занятие, всякое даже новое впечатление обращалось в достояние его художественного творчества. Повесть «Арап Петра Великого» по отношению к этой разработке Петровских бумаг то же, что «Капитанская Дочка» относительно труда о Пугачевском бунте. Пушкин волновался и тревожился, не зная, как оценить Петра: то восхищался он его гением, то утверждал, что Петр презирал человечество еще более, чем Наполеон, и находил в нем совмещение свойств Наполеона и Робеспьера³. Медный Всадник преследовал его воображение, и хотя он не успел выдать эту лучшую свою поэму (при жизни его напечатано только Вступление с описанием Петербурга), но мы видим в ней необыкновенное совершенство отделки. Нигде стих Пушкина не достигает такой силы, такой, можно сказать,

отчеканки: это стихи металлические, которые не забываются.

Рукописи «Медного Всадника» исполнены помарок и переправок. Писан он осенью 1833 года, в Нижегородской деревне, куда Пушкин заехал на обратном пути из Оренбургской поездки. Начат он 6-го Октября:

На берегу Варяжских волн
Стоял, задумавшись глубоко...
Отсель стеречь мы будем Шведа.
На зависть грозного соседа...

Мы уже знаем, что «Родословная моего героя» должна была входить в состав «Медного Всадника»⁴. Она писана вперемежку с ним. Тут встречаем следующие стихи:

К тому же это подражанье
Поэту Байрону. Наш лорд,
Как говорит о нем преданье,
Не только был отменно горд
Великим даром песнопенья,
Но и ... рожденья.
Ламартин,
Я слышал, также дорожил...
Гюго, не знаю...
В России же мы все дворяне,
Все, кроме двух иль трех; за то
Мы их и ставим ни во что,
Угодно знать происхожденье,
И род, и племя, и года Евгенья?..
А впрочем, гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму,
Ничем от братьи неотличный
Ни по лицу, ни по уму,
Мне скажут, может быть: зачем
Ничтожного героя
Взялся я снова воспевать?
...Что за мода!
Не лучше ль, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет?..

Хоть человек он не военный,
Не демон, даже не Цыган,
А просто молодой чиновник,
Довольно смиренный и простой,
Ленивый телом и душой...
Хоть не похож он на Цыгана...
Не тигр...
Не чернокожничек молодой,
Не демон, даже не убийца,
Не белокурый мизантроп,
Гонитель дам и кровопийца,
(Не чалмоносный кровопийца)

И не лунатик...*
А малый добрый и простой.

Какой вы строгий литератор!
Вы говорите, критик мой,
Что уж коллежский регистратор
Никак не должен быть герой;
Что выбор мой совсем ничтожен,
Что в нем я страх неосторожен,
Что должен брать себе поэт
Всегда возвышенный предмет...
Что в списках целого Парнасса
Героя нет такого класса.
Вы правы; но, божиться рад,
И я совсем не виноват.

Он одевался нерадиво,
На нем сидело все не так;
Всегда бывал застегнут криво
Его зеленый, узкий фрак;
Но должно знать, что мой чиновник
Был сочинитель и любил...
Мы будем звать его Евгений,
Затем, конечно, что язык
Ко звуку этому привык.

Но о прошедшем очень мало
Иван Езерский помышлял;
Лишь настоящего алкало
В нем сердце...

Известные строфы, в которых Пушкин говорит о том, что обедняло наше старинное дворянство, так читаются в его рукописях.

Мне жаль, что дома наши новы,
Что прибываем мы на них
Не льва с мечом, не щит гербовый,
А ряд лишь вывесок цветных.
Мне жаль, что мы, руке наемной
Вверяя чистый свой доход,
С трудом в столице круглый год
Влачим ярмо неволи темной
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто...
Что не живем семьею дружной,
В довольстве, в тишине досужной,
В своих владеньях родовых;
Что наши села, нужды их
Нам вовсе чужды; что науки
Пошли не в прок нам, что с проста

Из бар мы лезем в tiers-état*,
Что будут нищи наши внуки;
Что Русский ветренный боярин
Теряет грамоты царей,
Как старый сбор календарей;
Что исторические звуки
Нам стали чужды...
Что нищи будут наши внуки...
Мне жаль, что мы руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом ярем заботы темной
Влачим в столице круглый год;
Что не живем семьею дружной
В довольстве, в тишине досужной,
Старея близ могил родных
В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва и т. д.,

как в общеизвестном издании.— Пушкин испытал всю разорительность Петербургской жизни, и, как известно, денежное расстройство держало его в том раздражительном состоянии, которое отчасти было одною из причин его гибели. Осенью 1836 года он думал покинуть Петербург и поселиться совсем в Михайловском; по словам покойника Нащокина, Наталья Николаевна соглашалась на это, но ему не на что было перебраться туда с большою семьею, и Пушкин умолял о присылке пяти тысяч рублей, которых у Нащокина на ту пору не случилось⁵.

Тут он разнежился сердечно
И размечтался как поэт:
«А почему ж? Зачем же нет?
Я не богат, в том нет сомненья,
И у Параша нет имения,
Ну что ж! Какое дело нам!
Ужели только богачам
Жениться можно? Я устрою
Себе смиренный уголок».

Первоначально Пушкин хотел рассказать про своего героя что-то другое. Вот полуразобранный отрывок, который о том свидетельствует:

Тогда по каменной площадке
Песком усыпанных сеней
Взбежал по ступеням отлогим
Широкой лестницы своей,
...Кто-то с видом строгим

* В скобках поставлено, здесь и ниже, что Пушкин зачеркнул,

* третье сословие (фр.).

Звонил у запертых дверей.
Минуту ждал нетерпеливо.
Дверь отворилась. Он бранчиво
Вошел...
Лакею выговор прочел
И в кабинет к себе прошел.
Радостно залаял
Цербер косматый
И положил ему на плечи
Свои две лапы, и потом
Улегся тихо под столом...
Разделся: был он озабочен,
Как тот, у коего просрочен.

Просрочен... конечно вексель: дело несчастному поэту
обычное.

Во вступлении к поэме, в великолепном описании Пе-
тербурга, пропущено следующее четверостишие.

Цветные дротики уланов,
Звук труб и грохот барабанов;
Люблю на улицах твоих
Встречать поутру взводы их.

И далее:

Или крестит, средь Невских вод,
Меньшого брата Русский флот;
Или Нева весну пирует
И в море мчит разбитый лед...

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны Финские забудут
И колебать уже не будут
Гранит подножия Петра!
Была ужасная пора...
Но пусть об ней воспоминанье
Живет в моем повествованьи,
И будет пусть оно для вас,
Друзья, вечерний лишь рассказ,
А не зловещее преданье.

29 окт.

Пушкин переделал это окончание, и тут сказался в нем художественный его гений: поэзия не должна быть зловещею. Как ни занимала Пушкина мысль о столице, ежегодно угрожаемой гибельным наводнением; как ни мучили его нестройности жизни в долг, не по состоянию, но он ими не нарушал поэтической гармонии своего произведения.

Приводим описание самого наводнения, как оно написано в первоначальной тетради: читатели сами заметят отличия против общеизвестного текста.

Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И **мылом** разъяренных вод...
Но бурным морем (силой ветров) от залива
Уже гонимая Нева
Обратно шла, гневна, бурлива
И затопляла острова.
Она бродила и кипела
И пуще, пуще свирепела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
Со всею силою своею
Пошла на приступ. Перед нею
Все побежало: воды вдруг
Завоевали все вокруг.
С Невой слились ее каналы,
И захлебнулись подвалы,
И всплыл Петрополь, как Тритон
По пояс в воду погружен.
И страх, и смех! Как воры, волны
Полезли в окна. С ними челны
С разбега стекла бьют кормой.
Помчали бешеные волны
Мосты, снесенные грозой,
Обломки хижин, бревна кровли,
Запасы мелочной торговли,
Пожитки бедных, ружьядь их,
Колеса дрожек городских,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по городу.

Зачеркнутое далее в рукописи слово **гроб** напоминает нам предание, слышанное нами от современников, будто один из пльвших по Петербургу гробов, гонимый сильною волною, прошиб оконную раму в нижнем этаже Зимнего дворца и внесен был в комнату самого Государя, который, как известно, в то время страдал рожею на ноге и жил вни-зу. (На свадьбе великого князя Михаила Павловича он даже в церкви сидел в креслах.) Правда это или нет, не ручаемся; знаем только, что дворцовые кухни были залиты и население дворца в этот день оставалось без обеда. Верно также то, что сначала ужас, а потом тяжкое уныние овладели Александром Павловичем. В эти самые дни у него в Зимнем дворце умирал один из ближайших свидетелей и сподвижников его воцарения, Ф. П. Уваров: Государь беспрекословно навещал его, и тут его видал один из родственников Уварова, оставивший нам в своих Записках рассказ о том, как Государь не таил предчувствия близкой собственной кончины. Он говорил, что перед его рождением (12 декабря 1777) Нева точно так же затопляла дворец.

Надо вспомнить, что канун наводнения 1824 года был днем кончины императрицы Екатерины, по которой, конечно, и служили в дворцовой церкви панихиду. Не знаем, был ли Государь на этой панихиде; но вот что находится в рукописи Пушкина:

Тот самый год
Последним годом был державства
Царя.
Соображал...
Что лета семьдесят седьмого...
Вчера была ей годовщина...
Екатерина
Была жива, и Павлу сына
В тот год Всевышний даровал
Порфирородного младенца...

Пушкин возвращался к этому предмету, и в другом месте его рукописи читаем:

Тогда еще Екатерина
Была жива...
И гимн свой про тот день
Бряцал Державин...

Пушкину хотелось дать обращение и того, что могло происходить тогда во внутренности петербургских домов:

Со сна идет к окну сенатор
И видит — в лодке по Морской
Плывет военный губернатор.
Сенатор обмер: Боже мой!
Сюда, Ванюша! Встань немножко;
Гляди: что видишь ты в окошко?
— Я вижу-с, в лодке генерал
Плывет в ворота мимо будки.
— Ей-Богу? — Точно-с.— Кроме шутки?
— Да так-с. Сенатор отдохнул
И чаю просит. Слава Богу!
Ну, граф*, наделал мне тревогу:
Я думал, я с ума свихнул.

Предоставляем читателю удовольствие самому сличить что есть нового в нижеследующем:

И он как будто околдован,
Как будто силой злой прикован,
Недвижно, к месту одному,
И нет возможности ему

* Графом — просто в то время называли в Петербурге военного губернатора графа Милорадовича.

Перелететь! Гроза пирует,
Мостов уж нет, исчез народ.
Нева на площади бунтует!
Несчастный молча негодует,
И прямо перед ним из вод
Возникнул медною главою
Кумир на бронзовом коне,
Неве безумной в тишине
Гроза недвижною рукою.

Но вот, насытись возмущеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любясь разрушеньем.
...Так злодей
С свирепой шайкою своей,
В село ворвавшись, ломит, режет,
И жжет, и грабит.
Младенцы плачут, вопли, скрежет...
Евгений смотрит, видит лодку,
Неоцененную находку!
Сюда! он машет, он зовет...
С дворов
Свозили лодки, и Хвостов,
Пиит любимый небесами,
Воспел бессмертными стихами
Несчастье Невских берегов.
...Недвижных дум
Безмолвно полон, он скитался.

Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны ярые носились,
Бунтуя злобно, вокруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке гордою главою;
Того, чьей волей роковой
Над морем город основался...
Как грозен он стоит во мгле!
Какая сила на челе!
Какая дума в нем сокрыта!
А в звере сем какой огонь!
Куда вскакал ты, медный конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный Царь, о муж судьбы!
Не так ли ты уздой железной,
На высоте, над самой бездной
Россию поднял на дыбы?...
Вскипела кровь. Он мрачно стал
Перед великим истуканом,
И зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуюнный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!» —
Шепнул он, злобно задрожав.
«Ужо тебе!..» — и вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось
Ему, что страшного Царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось
К нему. И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-мерное (далеко-звонкое) скаканье
По потрясенной мостовой.
И видит — в темноте ночной,
Весь озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
Вдали несется всадник медной
На тяжко скачущем коне.

Вспомним известный рассказ о майоре Батурине, который передавал князю А. Н. Голицыну о своем сне, как его в 1812 году преследовал Медный Всадник по Петербургским площадям и улицам. Пушкин слышал этот рассказ от графа Виельгорского⁶.

Стихи:

Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Над морем гордо основался

зачеркнуты, и вместо них написано рукою Жуковского:

Кто неподвижно возвышался
Во мраке медной головой
И с распростертою рукою
Как будто градом любовался.

Далее зачеркнуты десять следующих стихов:

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный (властелин) баловень судьбы!
Не так ли ты скакал над бездной,
(На высоте) И осадив уздой железной
Россию поднял на дыбы?

В дальнейшем поправки рукою Пушкина:

Кругом (подножия кумира) скалы с тоскою дикой
Безумец бедный обошел
И (взоры дикие навел) надпись яркую прочел
(На лик державца полумира),
И сердце скорбью великой
Стеснилось (грудь его) в нем.

Дальше вместо:

Пред горделивым истуканом

Жуковский поправил:

Пред дивным Русским великаном

и зачеркнул следующие стихи:

И перст с угрозою подняв,
Шепнул, волнуем мыслью черной:
«Добро, строитель чудотворной,
Ужо тебе!»

Из других разноречий заметим: вместо **померкла старая Москва** Пушкин написал **главой склонилась Москва**. Вместо **живет в чулане**: живет в Коломне. Вместо **кумир с простертою рукою** Пушкин написал **Седок**, а рукою Жуковского поправлено **Гигант**.

В другом месте мы объяснили, почему нельзя винить Жуковского за изменения, которые он делал.

Нет сомнения, что проживи Пушкин далее, он еще и еще возвратился бы к «Медному Всаднику», и поэма его получила бы еще большее совершенство. Но будем благодарны судьбе и за то, что имеем.

А. С. ПУШКИН И С. С. ХЛЮСТИН

За год до рокового поединка с Дантесом-Геккерном Пушкин имел столкновение, которое едва не привело его тоже к поединку. Этот раз повод был литературный. История относится к началу 1836 года. В это время Пушкин уже получил высочайшее разрешение издать четыре книги **литературного журнала** под заглавием «Современник», которым рассчитывал он поправить расстроенные вполне денежные дела свои. Он занят был составлением первой книги (она дозволена к печати 31 марта 1836). Лучшие силы тогдашней словесности, Жуковский, Гоголь, князь Вяземский, князь Козловский, А. И. Тургенев доставили ему свои произведения; но не дремали и враги, которых нажил он себе не в высшем только обществе, но также и в ведомстве цензурном, находившемся под управлением графа Уварова, перед тем жестоко оскорбленного известною эпиграммою «В Академии Наук» и помещением в «Московском Наблюдателе» великолепных стихов «На выздоровление Лукулла». «Московский Наблюдатель» был немедленно запрещен, и стеснения грозили только что нарождавшемуся «Современнику»¹.

Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море².

В это тревожное для Пушкина время явился к нему неизвестный нам писатель с своим стихотворным переводом Виландовой поэмы «Вастола»³. Пушкин был необыкновенно участлив и сердоболел. Помог ли он переводчику «Вастолы» своими поправками или только имел слабость дать свое имя, мы не знаем; только в самом начале 1836 года* на заглавном листе плохой книжонки усмотрены магические слова: «издал А. Пушкин». Заправитель единственного тогда большого журнала «Библиотеки для чтения» Сенковский, естественно опасавшийся от «Современника» убыли в числе своих подписчиков, немедленно воспользовался неосторожностью поэта и в первой же книге «Библиотеки для чтения» на 1836 год поместил сначала такую заметку:

«Важное событие! А. С. Пушкин издал новую поэму под заглавием «Вастола или Желания сердца Виланда». Мы еще ее не читали и не могли достать; но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина? Истекший год заключился общим восклицанием: «Пушкин воскрес».

Вслед за этими строками в «Литературной Летописи» журнала появился разбор «Вастолы», который мы приводим вполне, как образец злостного уменья дразнить противника.

«Вастола, или Желания». Повесть в стихах, сочинение Виланда. Издал А. Пушкин. СПб-бург, в тип. Д. Внешней Торговли. 1836 в 8., стр. 96.

Певец Кавказского пленника сделал в новый год непостижимый подарок лучшей своей приятельнице, доброй, честной русской публике. Та, которая любила его как своего первенца, любила так искренно, так благородно, так бескорыстно; та, для чьего сердца имя его было нераздельно с драгоценнейшею вещью в мире, — славою своего отечества, та самая, в возмездие за все свои нежные чувства, заслуживающие всякого уважения, получила от него, при визитном билете, «Вастолу», с двусмысленным заглавием. Первым ее движением было посмотреть в календарь, не пришлось ли в нынешнем году в новый год первое апреля. Нет, первое апреля будет первого апреля, а теперь начало января, время изливания дружеских чувствований,

время поклонов с почтением и всяких маскарадов. Бедная русская публика не знала, что делать — гневаться ли за эту мистификацию, или приказать «кланяться и благодарить и в другой раз к себе просить...». Посланец отпущен был без ответа.

Для многих еще не решен вопрос о «Востоле». Каждый толкует по-своему слово «издал», которое, как известно, принимается в русском языке также в значении — написал и напечатал. Одни утверждают, что это действительно стихи А. С. Пушкина; другие, что они не его, а он только их издатель. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцом и «издавал» книжки для спекуляций. Мы сами сначала позволили себя уверить, что Александр Сергеевич играет здесь только скромную роль издателя; но один почтенный «читатель» убедил нас в противном. Зашедши, в первых числах января, в книжный магазин С., чтобы купить себе «Вастолу», мы застали там одного депутата от публики, одного читателя, который пришел туда с той же целью. Он держал в одной руке «Вастолу» и пробегал ее глазами по неразрезанным листам, а в другой, протянутой к приказчику магазина, красную ассигнацию. Совестьливый книгопродавец, прежде чем взять деньги, спрашивал читателя, знает ли он, что такое покупает. «Если вы хотите купить поэму Пушкина, — говорил благородный приказчик, которого за это, в нынешнем же году, надобно представить к Монтионовым премиям за добродетель, — то я должен предостеречь вас, что вы ошибаетесь: это не Пушкина сочинение-с!» Читатель посмотрел на него с изумлением и вскричал:

— Как не Пушкина? Ба!.. будто бы я Пушкина стихов не знаю!..

— Уверю вас, что не Пушкина-с.

— Подите, сударь! Да кто, кроме Пушкина, в состоянии написать у нас такие стихи?

И читатель стал тут же читать нам вслух следующие стихи из «Вастолы», постепенно одушевляясь их красотою.

Мещанка мать его, вдова весьма честная,
Уж несколько годов пряденьем промышляя,
Кормила тем себя и милого сынка.
Ее рабочая, проворная рука
Не знала никогда покоя, и в присядку
Трескучую свою вертела самопрядку;
Вертела у окна при солнечном луче;
Вертела при свече,
Вертела при лучине,
Не мысля о кручине;

* Цензурное дозволение П. Гаевского 12 марта 1835.

Но слезно и за то всегда благодаря
 Небесного Царя,
 Когда на очажке для варева какого
 Горело у нее обеденной порой
 Немного хворосту сухого,
 От коего потом все угли кочергой
 Скорей вгребала в печь, чтоб в бедности за делом
 Хоть было ей тепло в приюте устарелом.
 При тихой жизни, толь святой,
 Как ныне редкие на свете
 Живут, оставшихся вдовой,
 Имея легкий труд в предмете...
 Одна гнела ее тоска,
 Одна заботила кручина,
 Что от Перфонтьюшки, любезного сынка,
 Хоть он и дюжий был детина,
 Ни шерсти нет, ни молока.

— Кто у нас в состоянии, — торжественно сказал читатель, произнесши последние стихи с непритворным энтузиазмом: — кто у нас в состоянии так написать, кроме Пушкина?

Книгопродавец улыбался.

Читатель бросил с гневом ассигнацию на прилавок и, не дожидаясь сдачи, побежал из магазина. Я слышал еще, как он говорил у дверей: «Да я знаю наверно, что это Пушкина книга! Вот нашел кого дурачить!»

После этого я не смел и сомневаться, чтобы «Вастола» не была действительно произведением А. С. Пушкина. Не вдаваясь в объяснения с книгопродавцами, я важно потребовал для себя одного экземпляра, заплатил деньги и ушел.

Я читал «Вастолу». Читал и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Пушкин дарит нас всегда такими стихами, которым надобно удивляться, не в том, так в другом отношении.

Некоторые, однако, намекают, будто А. С. Пушкин никогда не писал этих стихов, что «Вастола» переведена каким-то бедным литератором что Александр Сергеевич только дал ему напрокат свое имя, для того, чтоб лучше покупали книгу, и что он желал сделать этим благотворительный поступок. Этого быть не может! Мы беспредельно уважаем всякое благотворительное намерение, но такой поступок противился бы всем нашим понятиям о благотворительности, и мы с негодованием отвергаем все подобные намеки, как клевету завистников великого поэта Пушкин не станет обманывать публики двусмысленностями, чтоб делать кому добро. Он знает, что должен публике

и себе. Если б в слове «издал» и не было двусмысленности, если бы оно и принято было здесь в самом тесном его значении, он знает, что человек, пользующийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени и что, в подобном случае, выставленное имя напечатлевается всею святостью торжественно данного в том слова. Он охотно вынет из своего кармана тысячу рублей для бедного, но обманывать не станет — ни вас, ни меня. Дать свое имя книге, как вы говорите, «плохой», из благотворительности?.. Невозможно, невозможно! Не говорите мне даже этого! Не поверю! Благотворительность предполагает пожертвование труда или денег, чего бы ни было, — иначе она не благотворительность. Согласитесь, что позволить напечатать свое имя не стоит никаких хлопот. Александр Сергеевич, если б пожелал быть благотворителем, написал бы сам две-три страницы стихов, и они принесли бы более выгоды бедному, которому бы он подарил их, чем вся эта «Вастола». Люди доброго сердца оказывают благотворительность приношением нищете какого-нибудь действительного труда, а не бросая в лицо бедному одно свое имя для продажи, что равнялось бы презрению к бедному и презрению к публике, к вам, ко мне, ко всякому. Нет, нет, клянусь вам, это подлинные стихи Пушкина. И если бы они даже были не его, ему теперь не оставалось бы ничего более, как признать их своими и внести в собрание своих сочинений. Между возможностью упрека в том, что вы употребили уловку (рука дрожит, чертя эти слова), и чистосердечным принятием на свой счет стихов, которым дали свое имя для успешнейшей их продажи, выбор не может быть сомнителен для благородного человека. Но этот выбор не предстанет никогда Пушкину. «Вастола», мы уверены, действительно — его творение. Это его стихи. Удивительные стихи!

Эта ядовитая выходка достигла своей цели: она раздражила Пушкина и сделалась предметом толков и пересудов. В числе светских приятелей Пушкина жил тогда в Петербурге богатый молодой человек Семен Семенович Хлюстин (род. 1811, † 28 марта 1844), родной племянник известного американца, Ф. И. Толстого, получивший за границу отличное образование, ученик известного педагога Эванса, участник Турецкой войны 1828—1829 гг., потом подобно И. И. Пущину служивший в Москве на-

дворным судьей* и пользовавшийся видным положением в обществе. С Гончаровыми он был давно знаком по Калужской деревенской жизни. Из одного письма Пушкина к его жене (№ 55) видно, что сия последняя прочила Хлюстина в супруги сестре своей⁴.

Раздосадованный Сенковским Пушкин неосторожно поговорил с Хлюстиным и 4 февраля 1836 г. получил от него следующее письмо:

Первое письмо С. С. Хлюстина к А. С. Пушкину⁵

М. г. Я только приводил в разговоре замечания Г. Сеньковского, смысл которых состоял в том, что вы «обманули публику». Вместо того, чтобы видеть в этом с моей стороны простое повторение или ссылку, вы нашли возможным почесть меня за отголосок г. Сеньковского; вы в некотором роде сделали из нас соединение, которое закрепили следующими словами: «Мне всего досаднее, что эти люди повторяют нелепости свиной и мерзавцев, каков Сеньковский». В выражении: эти люди — разумелся я. Тон и горячность вашего голоса не допускали никакого сомнения в вашем намерении, даже если бы логика допускала неопределенность значения. Но то, что повторялись нелепости, не могло, разумно говоря, вас беспокоить; следовательно, вам показалось, что вы нашли во мне и слышали их отголосок. Оскорбление было довольно ясное: вы делали меня участником «нелепостей свиной и мерзавцев». Впрочем, к стыду моему или к моей чести, я не признал или не принял оскорбления и ограничился ответом, что если вы непременно хотите дать мне участие в выражении: «обманывать публику», то его я вполне принимаю на свой счет, но что я отказываюсь от приобщения меня к «свиньям и мерзавцам». Соглашаясь таким образом, и против моей воли, сказать вам, что вы «обманываете публику» (литературно, потому что все время шел вопрос о литературе), наибольшее, что я делал — это только обиду литературную. Ею я отвечал и давал себе удовлетворение за обиду личную. Надеюсь, что я предоставил себе роль достаточно добродушную и довольно миролюбивую, так как, даже при взаимности оскорблений, ответное никогда не равняется начальному, в котором именно заключается сущность обиды. А между тем и после этого вы все-таки

* Поступление человека высокообразованного и независимого на такую должность считалось почти что гражданским подвигом. Московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын говаривал: «Настоящими судьями у меня были только Пущин да Хлюстин».

обратились ко мне со словами, возвещавшими фешенебельную встречу: «Это через чур», «это не может так окончиться», «мы увидим» и т. д. Я ждал доселе исхода этих угроз. Но так как я не получал от вас никаких известий, то теперь мне следует просить от вас удовлетворения:

1) в том, что вы сделали меня участником в нелепостях свиной и мерзавцев.

2) в том, что вы обратились ко мне с угрозами (равнозначными вызову на дуэль), не давая им далее ходу.

3) в неисполнении относительно меня правил требуемых вежливостью: вы не поклонились мне, когда я уходил от вас.

Имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим и послушным слугою

С. Хлюстин

С. П. Б. Владимирская, № 75,
4 февраля 1836

Ответ А. С. Пушкина С. С. Хлюстину

М. г. Позвольте мне восстановить некоторые пункты, по которым, мне кажется, вы ошибаетесь. Я не помню, чтобы вы приводили какую-либо ссылку из той статьи. Заставило же меня объясняться, может быть, с излишнею горячностью, ваше замечание, что я напрасно накануне принял к сердцу слова Сеньковского. Я вам отвечал: «Я не сержусь на Сеньковского; но мне нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяют нелепости свиной и мерзавцев». Вас отождествлять с свиньями и мерзавцами — несомненно нелепость, которая не могла ни прийти мне в голову, ни даже сорваться с языка моего при всем жару спора. К моему великому удивлению вы мне возразили, что вы вполне принимаете за ваш счет обидную статью С. и именно выражение «обманывать публику». Я тем менее был подготовлен к такому заявлению, исходящему от вас, что ни накануне, ни при последнем нашем свидании вы ничего ровно не сказали мне такого, что могло бы относиться к статье журнала. Мне показалось, что я вас не понял, и просил вас объясниться, что вы и сделали в тех же выражениях. Тогда я имел честь заметить вам, что то, что вы высказали, совершенно изменяет вопрос, и я замолчал. Расставаясь с вами, я вам сказал, что я не могу оставить это без последствий. Это может быть сочтено вызовом, но не угрозою. Ибо, наконец, я вынужден повто-

рять: я могу пренебречь словами какого-нибудь Сеньковского, но я не могу презирать их, как только человек подобный вам принимает их на себя. Вследствие сего я поручил г. Соболевскому просить вас от моего имени просто-напросто взять ваши слова назад, или же дать мне обычное удовлетворение. Доказательством тому, насколько мне последнее решение было противно, то, что я сказал именно Соболевскому, что я не требовал извинений. Мне при-скорбно, что г. Соболевский во всем этом поступил со свойственной ему небрежностью.

Что касается до того, что я невежливо не поклонился вам, когда вы от меня уходили, прошу вас верить, что была рассеянность совершенно невольная и в которой я от всего сердца прошу вас меня извинить. Имею честь быть вашим покорнейшим и послушным слугою

А. Пушкин

4 февраля

Второе письмо С. С. Хлюстина к А. С. Пушкину

М. г., в ответ на поручение, данное вами г. Соболевскому и дошедшее до меня почти одновременно с вашим письмом, я имею честь сообщить вам, что мне невозможно взять назад что-либо из того, что я сказал, полагая, что я достаточно в моем первом письме объяснил причину, по которой я так действовал. По отношению к обычному удовлетворению, о котором вы мне говорите, я нахожусь в вашем распоряжении.

Что касается меня лично, прося вас принять на себя труд припомнить включенные в мое письмо три пункта, которыми я счел себя вами оскорбленным, я имею честь отвечать вам, что по третьему я считаю себя вполне удовлетворенным.

Относительно же первого, уверений, вами даваемых, что у вас не было в мысли приобщать меня к св... и проч., мне недостаточно. Все мои воспоминания и все мои рассуждения заставляют меня продолжать думать, что ваши слова выражают обиду даже в том случае, если в вашей мысли ее не было. В противном случае я не мог бы оправдать в собственных глазах взятую на себя солидарность с оскорбительною статьею, побуждение, которое с моей стороны не было ни невольным, ни пылким, но совершенно спокойным. Мне предстоит, следовательно, просить ясно выраженных извинений в приемах, которые справедливо

я должен был счесть за оскорбление, вами (к великому моему удовольствию) в сущности отрицаемое.

Я признаю, как и вы, милостивый государь, что во втором пункте была с моей стороны ошибка и что я счел за угрозы выражения, которые могли быть приняты только за «вызов» (текст вашего письма). За таковой я их принимаю. Но если смысл их был не таков, какой вам угодно придавать, то мне также надо ожидать от вас извинений по поводу этого досадного недоразумения, потому что я думаю, что вызов, хотя бы ненамеренно заявленный и оставленный без последствий, равнозначущ оскорблению. Имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим и послушнейшим слугою

С. Хлюстин

4 февраля.

Письма эти, прибавляющие новую черту к биографии Пушкина и к разнообразной и поучительной истории его житейских столкновений, сохранились у дочери С. С. Хлюстина, Веры Семеновны Анненковой и ею доставлены в Русский Архив.

Дело кончилось миром. Но Пушкин не забыл «Востолы» и в первой книжке своего «Современника» поместил следующую заметку (стр. 303):

«В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель Востолы хотел присвоить себе чужое произведение, выставляя свое имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое: печатать чужие произведения, с согласия или по просьбе автора, до сих пор никому не воспрещалось. Это называется издавать. Слово ясно. По крайней мере до сих пор другого не придумано. В том же журнале сказано было, что «Востола» переведена каким-то бедным литератором, что А. С. П. только дал ему напрокат свое имя и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана тысячу рублей». Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но конечно бы не принял милостыни от кого бы то ни было. После такового объяснения не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что иск-

реннее желание ему услужить могло подать повод к намекам столь оскорбительным».

Под эту заметку не означено имени; но в последней книжке «Современника», вышедшей в исходе ноября, в числе поправок сказано, что это произошло от того, что первая книжка печаталась в отсутствие издателя и что заметка писана именно Пушкиным. Вероятно, переводчик «Востолы» пожелал такого заявления. Кто он, нам неизвестно. Вероятно, петербургские старожилы знают. Присим о сообщении в Русский Архив.

ПУШКИН И ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ

В начале 1828 года появилась в Москве прекрасно отпечатанная, с гравированными украшениями, тетрадка в четверку, под заглавием: «К Эрасту. Сатира на игроков Сочинение И. Великопольского». Тут описывается в посредственных стихах несчастное положение одного юноши, которого обыграл более опытный игрок Дамон, и приводятся наставительные рассуждения о пагубе карточной игры. Теперь подобная книжка не обратила бы на себя никакого внимания, но в 1828 году стихи у нас читались нарасхват. Вероятно, и книжка Великопольского имела покупателей (хотя продавалась по 6 рублей). В одном из мартовских номеров Северной Пчелы 1828 напечатано об ней извещение, с отметкою, что вряд ли наставления сочинителя образумят людей, одержимых страстью к игре

Этой страсти, как известно, предавался и наш Пушкин, особливо в молодые свои лета.

Повесть «Пиковая дама» (в которой, заметим кстати, есть целая автобиографическая сцена) свидетельствует, как хорошо знал он ощущение карточной игры.

Готов бывал он в эти лета,
От вечера и до рассвета,
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли влет?

Уже раздался звон обеден;
Среди разбросанных колод
Дремал усталый банкومت.
А я все тот же, бодр и бледен,

Надежды полн, закрыв глаза,
Гнул угол третьего туза¹.

Конечно, те и другие из приведенных стихов появились в печати уже только по смерти Пушкина; но его страсть к игре и увлечения ею, которым он предавался, можно сказать, запоем, ни для кого не были тайною, тем более, что общественное внимание устремлялось на него постоянно.

Пушкин прилежно и зорко следил за всеми произведениями современной ему Русской словесности: он считал это даже своею обязанностью, иногда скучною, но неизбежною. Чуткий и раздражительный, он, может быть, прочитал в стихах Великопольского какие-нибудь намеки на себя; а слыть игроком, особливо при тогдашних его отношениях к Государю, было ему вовсе невесело. С Великопольским встречался он и игрывал в Пскове, куда ездил из своего Михайловского уединения, в 1826 году, поразвлекшись от книжных и письменных занятий, повидать людей и тряхнуть стариною, т. е. покутить². С офицерами стоявшего в Пскове полка он сходил на вечерних попойках, и если не ошибаемся, к числу этих офицеров принадлежал Иван Ермолаевич Великопольский, по годам сверстник Пушкина, сын Тверского помещика, человек живого ума и нрава (впоследствии приятель С. Т. Аксакова), любивший занятия словесностью и помещавший элегические стихотворения в тогдашних альманахах.

Примите Невский Альманах:
Он мил и в прозе, и в стихах.
Вы там найдете Полевова,
Великопольского, Хвостова...³

Когда вышла «Сатира на игроков», Пушкин находился временно в Петербурге, и Северная Пчела еще за ним ухаживала. В начале 1828 г. Пушкин позволил ей напечатать большой отрывок из Онегина (приезд Тани в Москву), и в фельетонах Булгарина появлялись восторженные отзывы об его даровании. В Петербург тогда приехал с Туркманчайским трактатом Грибоедов, считавшийся другом Булгарина и своим громким именем озарявший его. Порядочные люди еще водились с знаменитым Фаддеем, и только через несколько лет Пушкин отзывался про него, что в переулке, пожалуй, он с ним раскланяется, а в людном месте не хватит духу⁴.

Булгарин выпросил у Пушкина и напечатал в 30-м номере Северной Пчелы 1828 года (от 10 марта) следующие

стихи его, с подстрочною заметкою: «Имени сочинителя сих стихов не подписываем: «ex ipse leopet». *Изд.*». Принадлежность их Пушкину оставалась неизвестною публике до издания Анненкова. Приводим их из полного собрания сочинений Пушкина, с заглавием, с каким они появились в Северной Пчеле.

Послание к В., сочинителю «Сатиры на игроков»**

Так, элегическую лиру
Ты променял, наш моралист,
На благочинную сатиру?
Хвалю поэта — дельно миру:
Ему полезен розги свист.
Мне жалок очень твой Арист.
С каким усердьем он молился
И как несчастливо играл!
Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь, и так пропал!
Дамон твой — человек ужасной;
Забудь его опасный дом,
Где, впрочем, сознаюся в том,
Мой друг, ты вел себя прекрасно;
Ты никому там не мешал,
Эраста нежно утешал,
Давал полезные советы
И ни рубля не проиграл.
Люблю: вот каковы поэты!
А то, уча безумный свет,
Порой грешит и проповедник.
Послушай, Перснев наследник,
Рассказ мой.

Некто, мой сосед,
В томленьях благородной жажды,
Хлебнув Кастанальских вод бокал,
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ, его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увя, понтировал!
Тебе знаком ли сей проказник?
Но встреча с ним была б мне праздник:
Я с ним готов всю ночь не спать,
И до полднего сиянья
Читать моральные посланья
И проигрыш его писать.

Поязвить иной раз Пушкин был мастер: назвать посредственного стихотворца наследником славного Рим-

* По котням узнаем льва (лат.).

** Так как «Сатира на игроков» вышла с полным именем сочинителя, то буква В. никого не скрывала.

ского сатирика было очень зло; печатно уличить моралиста в его собственной несостоятельности сумел он превосходно. Хотя все эти сношения имели значение легкой шутки, но Великопольский, очевидно, обиделся стихами, появившимися в Северной Пчеле, и прислал Булгарину следующее послание:

Ответ знакомому сочинителю послания ко мне, помещенного в № 30 Северной Пчелы

Узнал я тотчас по замашке
Тебя, насмешливый поэт!
Твой стих, веселый, легче пташки,
Порхает и чарует свет.

Я рад, что гений удосужил
Тебя со мной на пару слов;
Ты очень мило обнаружил
Беседы дружеских часов.

С твоим проказником соседним
Знаком с давнишней я поры:
Обязан другу он последним
Уроком ветренной игры.

Он очень помнит, как, сменяя
Былые рубрики в кисе,
I лава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе.

Блуждая в молодости шибкой,
Он спотыкался о порог;
Но где последняя ошибка,
Там первый мудрости урок.

Кстати приводим и самое письмо Великопольского к Булгарину по поводу этих стихов.

«М. г. Фаддей Венедиктович! Третьего дня получил я письмо от Ал. С. Пушкина. Он уведомляет, ссылаясь на вас, что без его согласия цензура не пропускает, как личность, моих к нему стансов; а что он согласиться не может.

Это меня очень удивило. Разве его ко мне послание не личность? В чем оно? цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами?

Я слишком уверен в благородстве Пушкина, чтобы предполагать такой донос на дружбу истинным его намерением; но дело не в намерении, а в самом деле; и стихи, вышедшие из-под типографского станка, берут направленные сами независимо от автора. Почему же цензура пола-

гает себя вправе пропускать личности на меня, не сказав мне ни слова, и не пропускает личности на Пушкина, без его согласия? Кто позволит одному посмеяться над другим, тот не обязан ли, ежели он беспристрастен, не отнимать по крайней мере у другого способов отыграться? И даже противный поступок, будучи притеснением для одного, не может ли почестся неуважением к другому? Простите, ежели я, может быть, неуместно так распространился. Я хотел оправдать себя в вашем мнении и доказать односторонность действий цензуры, при котором литературный бой никогда не может быть равен.

Но Пушкин, называя свое послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он даже дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он имеет ко мне довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни, дорожу его дружбою и прилагаемым при сем к нему письмом (которое, по незнанию адреса, имею честь вас просить доставить) отдаю на его полную волю, при некотором условии, не читать мои стансы и не печатать, предоставляя себе в последнем случае отыграться в другом месте, другим образом.

Я счел излишним вас об этом уведомить, полагая, что вам самим неприятна такая односторонность цензуры. Москва, Апреля 7-го 1828 г.

Вот повод к одному из нижеследующих писем Пушкина⁵. Первые два писаны еще раньше. Все три, равно как и стихи Великопольского и его письмо к Булгарину, печатаются с подлинников, отысканных в бумагах Великопольского и переданных нам внуком его г. Чаплиным.

И. Е. Великопольский († 7 февраля 1868 года, 72 лет) только «хлебнул Кастальских вод бокал» и затем перестал заниматься словесностью. Женат он был на дочери славного медика-масона М. Я. Мудрова. Нам случалось встречать его около 1856 года в Москве у С. Т. Аксакова и М. П. Погодина. В то время занят он был обширным предприятием по новому способу обработки льна в своем Старицком имении. Человек он был, что называется, затейный, но терпел неудачи в своих начинаниях.

Екатеринослав, в июне 1820 г. (Доставлено Н. С. Киселевым, который случайно нашел это письмо при разборе старых бумаг.)

Письмо это вдвойне замечательно: во-первых, как современное свидетельство о Пушкине, и притом свидетельство человека, к которому молодой человек был отправлен под надзор; во-вторых, как характеристика добродушного и честного генерала Инзова. Рассказывают, что когда Карамзину удалось смягчить наказание, навлеченное на себя Пушкиным, и шла речь о том, что с ним сделать, Государь Александр Павлович сам придумал перевести поэта на службу в Екатеринослав к Инзову, которого прямой характер, просвещенный ум и мистическое направление мыслей были известны императору¹. К. Я. Булгаков (1782—1835) служил тогда петербургским почтдиректором под начальством князя А. Н. Голицына, и это несколько сблизало его с мистиками; он, конечно, знал Пушкина лично, а тысячу рублей переслал ему, может быть, по поручению Сергея Львовича, или еще вероятнее, заимообразно от кого-нибудь из богатых друзей (Н. В. Всеволожского?). Возможно также, что это была плата за будущее собрание стихотворений, которые Пушкин довольно рано продал в Петербурге². Подробности читатели найдут в нашей книжке: Пушкин в Южной России. М., 1862, стр. 17—19, 40—42 и 103. Инзов поручает Булгакову оправдать его за то, что он отпустил поэта на Кавказские воды, перед гр. Каподистрией: это потому, что называемые колонисты Южного края, коими Инзов заведовал в Екатеринославе, считались в ведомстве министерства иностранных дел, т. е. под начальством гр. Каподистрии. Любопытно заметить, что через год, с конгресса в Лайбахе, гр. Каподистрия нашел нужным осведомиться у Инзова о Пушкине. (Письмо это от 14 апр. 1821 г. напечатано во 2-й книге Чтений общ. и др.³ 1862 г., стр. 245.) Исполнил ли он в этом случае приказание Государя, которому Пушкин был лично известен еще по лицейской скамейке или, будучи другом Карамзина, гр. Каподистрия по собственному побуждению вспомнил о зарождавшейся славе русского имени в русской словесности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ДВА ПИСЬМА ПУШКИНА
К ГР. А. Х. БЕНКЕНДОРФУ»*

Оба эти письма относятся к неопределенному и тяжелому периоду в жизни Пушкина, когда ему приходилось раскаиваться в так называемых заблуждениях молодости, когда ему горько напоминала о себе ежедневная жизнь с ее черствостью, неумолимую действительностью¹. Он два раза предлагал свою руку и ему отказывали степенные родители, напуганные рассказами о его прежней жизни². Вдобавок, по возвращении из своего вторичного кавказского путешествия, предпринятого единственно для рассеяния мрачных мыслей, он узнал, что Государь Николай Павлович, к которому он питал искреннюю благодарность и преданность, недоволен его поведением³.

Снова тучи надо мною
Собрались в тишине,
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне⁴.

Возвратив Пушкина из ссылки в 1826 г. и, по собственному выражению поэта, осыпав его благодеяниями, Государь имел позднее несколько поводов к неудовольствию. Во-первых, в 1828 году, во время Турецкой войны, когда Государь находился в Валахии, к нему поступило донесение на Пушкина из духовного ведомства за какие-то ходившие по рукам давнишние стихи. К счастью, Государь знал, что Пушкин сам уже принес повинную в такого рода сочинениях и, не желая взыскивать с поэта за грехи его ранней, еще кишиневской жизни, милостиво приказал остановить дело. Тем не менее Пушкин являлся уже в некоторой тени. Через год Государь выразил свое неудовольствие на то, что Пушкин с Кавказских Вод отправился без позволения и ведома своего непосредственного начальника (т. е. Бенкендорфа) в главную квартиру Паскевича и, не будучи военным человеком, следовал за нашими войсками в турецко-азиатском походе. Были, вероятно, и другие, нам неизвестные обстоятельства, на которые слышится намек в первых строках второго из печатаемых нами писем. Пушкин просится за границу и даже в Китай, и поэтический след этого намерения остался в его стихах (изд. Анненкова, II, 477).

* Печатаются с подлинников, приобретенных Чертковскою библиотекою от Н. П. Грекова.

К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов...⁵

Стихи эти помечены 23 дек. 1829 г. Побывать в чужих краях ему так и не удалось во всю жизнь; позднее, за год до смерти, он опять было собрался путешествовать по Европе, но тут помешали уже денежные затруднения. Когда он сопровождал Паскевича за Кавказом, ему случилось заезжать вперед, и он думал, что наконец перебрался за русскую границу, как тут же узнавал, что войска наши заняли и эту местность (Путеш. в Арзрум, по изд. Анненкова, V, 79), и таким образом он опять был дома: это как будто символический образ его поэзии, которая оставалась всегда русской и своеземною, какой бы предмет ни служил ей содержанием.

«Граница,— говорит он (там же),— имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были для меня любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России».

Дальше в первом письме идет речь о печатании Бориса Годунова. Так как Государь Николай Павлович выразил лестную для Пушкина волю предварительно до печати просматривать его новые произведения, то и Борис Годунов находился еще в рукописи на рассмотрении у Государя. Трагедия вышла в свет в начале следующего 1831 года, но, кажется, не принесла Пушкину тех денег, о которых он здесь упоминает.

Второе письмо останется навсегда памятником сердечной доброты и благородной признательности Пушкина, который никогда не забывал оказанных ему одолжений. Генерал от кавалерии, знаменитый Николай Николаевич Раевский, незадолго перед тем скончался (16 сент. 1829) в своем киевском сельском уединении, нося звание члена Государственного Совета. Пушкин пользовался его гостеприимством на Кавказе и Юрзуфе, в Киеве и с. Каменке, и до конца дней оставался в тесной приятельской связи с младшим его сыном Николаем, у которого в палатках и жил во время закавказского похода. Несчастное событие 14 декабря 1825 г. увлекло в изгнание либо подвергнуло немилости двух зятьев генерала Раевского, М. Ф. Орлова и кн. С. Г. Волхонского, равно и сводного брата его (от

разных отцов) В. Л. Давыдова. Незамужние дочери, о которых говорится в письме, суть Елена и Софья Николаевны. Не знаем намеренно, но можно угадывать, что доброе слово Пушкина было услышано.

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал⁶.

К гр. Бенкендорфу Пушкин обращался, во-первых, потому, что через него, как через шефа жандармов, происходили сношения Пушкина с Государем, а во-вторых, гр. Бенкендорф действительно был по душе человек добрый и готовый на помощь⁷.

ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

На странице 96-й **Русского Архива** сего года сообщено мною неточное сведение о приезде Пушкина в Москву в 1826 г., во время праздников по случаю коронавания императора Николая. Пушкин был привезен во дворец (в какой, Кремлевский или на дачу гр. Орловой, нынешнюю Александрию, где некогда жил Государь, как видно из **Северной Пчелы** 1826 г.?)¹ действительно 8 сентября, в день большого бала, не у герцога Devonширского, а у герцога Рагузинского, маршала Мармона, королевско-французского посла, помещавшегося на Старой Басманной, в доме кн. Куракина, где ныне Межевой корпус. Поблизости, на Басманной же, жил в своем доме дядя поэта Василий Львович Пушкин, к которому Александр Сергеевич и приехал прямо из дворца, так как родителей его, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, в то время не было в Москве. Весть о возвращении Пушкина, об этом высоком и знаменательном на ту пору деле царской милости, облетела многочисленных гостей герцога Мармона и с бала радостно разнеслась по Москве². Один из давних приятелей поэта тотчас же из дому кн. Куракина отправился в дом Василия Львовича и застал Пушкина за ужином. Тут же, еще в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному американцу графу Толстому с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось: графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противников помирили³.

Еще прежде, чем у Веневитиновых, Пушкин читал своего **Бориса** у С. А. Соболевского (у которого вскоре потом поселился на Собачьей Площадке, в угольном флигеле нынешнего дома Левенталья). На этом первом чтении кроме хозяина были: П. Я. Чаадаев, Д. В. Веневитинов, гр. М. Ю. Виельгорский и молодой И. В. Киреевский⁴. Вообще же Пушкин чрезвычайно редко читал свои произведения в большом обществе, отличаясь в этом отношении поучительною скромностью и даже застенчивостью. Он читал только людям более или менее близким, мнением которых дорожил и от которых надеялся услышать какое-либо дельное замечание, а не безусловную похвалу, и притом читал как-нибудь невзначай. Посему А.Ф. Писемский при следующих изданиях своего **Взбаламученного Моря** мог бы опустить начало 7-й главы, пятой части, где говорится, будто «великий Пушкин ехал читать в великосветские салоны».

ПРИМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ПЕРЕЕЗДЫ С АЛЕКСАНДРОМ ГУМБОЛЬДТОМ ПО СИБИРИ (1829)»¹.

Пушкин, встречавшийся с ним <Гумбольдтом> в Петербурге, сказал про него одной даме: «Не правда ли, что Гумбольдт похож на тех мраморных львов, что бывают на фонтанах. Увлекательные речи так и бьют у него изо рта».

ИЗ РУКОПИСЕЙ А. С. ПУШКИНА

I

Три неизданные стихотворения и первоначальная рукопись одного печатного стихотворения.

В императорской С. Петербургской публичной библиотеке хранится собственноручная тетрадь Пушкина, заведенная им на Кавказе 15-го Июня 1820-го года и заключающая в себе, сверх чернового наброска **Кавказского Пленника**, разные мелкие стихотворения, относящиеся к 1820 и 1821 годам*. Приводим из нее следующие четыре пьесы, помещенные сразу одна за другою:

* Следовало бы исчислить, какие именно стихотворения, ибо Пушкин принадлежит к числу писателей, наиболее достойных строгого

1

Эпиграмма

Хаврониос! ругатель закоснелый,
 Во тьме, в пыли, в презренности поседель,
 Уймись, дружок! К чему журнальный шум,
 И пасквилей томительная тупость?
Затейник зол, с улыбкой скажет Глупость;
Невежда глуп, зевая скажет ум.

2

Когда б писать ты начал сдуру,
 Тогда б наверно ты пролез
 Сквозь нашу тесную цензуру,
 Как видишь в царствие небес.

3

Как брань тебе не надоела?
 Расчет короток мой с тобой:
 Ну так, я празден, я без дела,
 Но ты бездельник деловой.

4

Эпиграмма

В жизни мрачной и презренной
 Был он долго погружен;
 Долго все конца вселенной
 Осквернял развратом он.
 Но исправься понемногу,
 Он загладил свой позор,
 И теперь он — слава Богу —
 Только что картежный вор.

Пьесы эти, судя по месту, занимаемому ими в тетради, писаны в конце 1820-го или в начале 1821-го года, из них одна третья известна в печати.

В той же тетради помещена **Элегия**: «Увы! зачем она блистает» с разными вариантами противу печатного текста. Вот рукописная редакция:

исторического изучения: для ясного понимания его произведений весьма важно знать точно, когда именно что написано. Выше приведенные цифры (15 июня 1820 г.) обозначают целую эпоху в его биографии, — это разрыв с первоначальной Петербургской жизнью. Первая эпиграмма, очевидно, относится к тогдашнему издателю **Вестника Европы**, вторая свидетельствует об эпохе аракчеевщины и библейских обществ, а черты четвертой, повторенные потом в послании к Чаадаеву, изображают известного американца, гр. Ф. И. Толстого; стихи эти потом едва не довели Пушкина до поединка.

Юрзуф

Увы! зачем она блистает
 Минутной, нежной красотой?
 Она приметно увядает
 Во цвете юности живой.
 Недолго жизнью молодою
 Беспечно наслаждаться ей,
 Недолго радовать собою
 Несчастной матери своей...
 Недолго милой острою
 Беседы наши услаждать
 И тихой, ясною душою
 Больную душу оживлять.
 Спешу с волнением дум тяжелых,
 Сокрыв уныние мое,
 Наслушаться речей веселых
 И наглядеться на нее...
 Смотрю на все ее движенья,
 Внимаю каждый звук речей,
 И краткий миг уединенья
 Несносен для любви моей.

Эта редакция, по всей вероятности, — первоначальная.

(Доставлено П. П. Вилинским)¹

II

Из Русалки

Разговор новобрачной с няней

Княгиня, княгinyшка,
 Дитя мое милое,
 Что сидишь невесело,
 Головку повесила?
 Ты не весь головушку, не печаль меня, старую,
 Свою няню любимую.
 — Ах, нянюшка, нянюшка, милая моя —
 Как мне не тужить, как веселой быть?
 Как была я в девицах, муж любил меня,
 Вышла за него, разлюбил меня.
 Бывало, дружок мой супротив меня сидит,
 Сидит целый день и с места не идет,
 Сидит да глядит, не смигивает.
 А нынче дружок мой, ни свет ни заря,
 Разбудит меня да сам на коня.
 Весь день по гостям разгуливает,
 Придет, не молвит словечушка мне
 Он ласкового, приветливого.
 — Дитя мое, дитячко, не плачь, не тужи,
 Не плачь, не тужи, сама рассуди:
 Удал добрый молодец что вольный петух —
 Мах-мах крылом, запел, полетел;
 А красная девица что наседочка,

Сиди да сиди, цыплят выводи.
— Уж нет ли у него зазнобы какой?
Уж нет ли на меня разлучницы?
— Полно, ты, милая, сама рассуди:
Ты всем-то взяла, всем-то хороша,
Красотой, умом-разумом,
Тихим, ласковым обычаем,
Лебединою походочкой,
Соловьиной поговорочкой².

III

Из черновой рукописи примечаний к Онегину.

Кто-то спрашивал у старушки: по страсти ли, бабушка, вышла замуж?

«По страсти, родимый,— отвечала она:— прикащик и староста обещались меня до полусмерти прибить». В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были пристрастны³.

№№ II и III списаны с подлинников, хранящихся у А. С. Норова, и обязательно сообщены нам академиком Я. К. Гротом.

В 1866 ГОДУ В ЧЕРТКОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ...

В 1866 году в Чертковскую библиотеку с признательностью приняты следующие приношения от просвещенных ревнителей общественного знания:

...От С. П. Колошина несколько записок, черновых набросков и рисунков А. С. Пушкина, в том числе шуточное шестистишие:

Душа моя Павел,
Держись моих правил,
Люби то-то-то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно,
Прощай, мой прекрасный¹.

Все эти листки принадлежали В. П. Зубкову. Из стихотворений тут черновые автографы: «Ответ X+У. Нет, не Черкешенка она» и «Зачем безвременную скуку»², подписано: «1 Ноября 1826. Москва». В рисунках находим силуэты Веневитинова, князя П. А. Вяземского и супруги его и других³.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ С. А. СОБОЛЕВСКОГО «ТАИНСТВЕННЫЕ ПРИМЕТЫ В ЖИЗНИ ПУШКИНА»

Оттого ли, что жизнь людей необыкновенных подлежит более всестороннему рассмотрению и забываемое у других обсуждается и оценивается в жизни великого поэта; или действительно в людях высшего разряда явственнее обнаруживаются неисследимые, таинственные силы человеческого бытия;— только то верно, что жизнь таких людей, как Пушкин, как Екатерина II, запечатлена чем-то чудесным, да и сами они в общем ходе истории — какое-то чудо. Можно сказать, что мысль о смерти не покидает Пушкина во все продолжение его кратковременного жизненного поприща. Так, будучи женихом, из дома невесты своей на Большой Никитской он глядел на гробовую лавку (помещавшуюся в доме ныне князя А. А. Щербатова) и написал свою повесть «Гробовщик»¹. Так, во время венчания, обходя вокруг аналоя в церкви Большого Вознесения на Никитской, он уронил крест и побледнев сказал: «Tous les mauvais augures (все дурные приметы)». Эта мысль о смерти, служившая почти бессознательною основою дум его, сообщала его произведениям задушевную меланхолию, которою они проникнуты.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ЗАПИСКА А. С. ПУШКИНА К КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЕ Н. А. ДУРОВОЙ»¹

Несомненное свидетельство того, что Пушкин принимал деятельное участие в издании довольно редкой ныне книги, появившейся в СПб. в 1836 году, в августе месяце, под заглавием: «Кавалерист-Девича. Происшествие в России. Издал Иван Бутовский». 2 части: I, 289, II, 392 стр. Но в чем именно состояло это участие, мы не вполне знаем. На книге означено, что издал ее г. Бутовский, а, между тем, во втором, вышедшем в июле 1836, томе Пушкинского Современника помещен отрывок из второй части этой книги, озаглавленный «Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным», и в прекрасном предисловии своем к этим запискам (с эпиграфом: modo vir, modo foemina*) Пушкин прямо говорит: «Мы будем издателями ее любопытных записок». Из последних строк можно

* она и мужчина, и женщина (лат.).

подумать, что Пушкин предлагал Н. А. Дуровой остановиться у него в квартире. Сам он жил тогда на даче на Каменном острове. Личность удивительной женщины, очевидно, занимала его, не познакомился ли он с нею в бытность свою в Казани в 1833 году?²

ИЗ НЕКРОЛОГА В. И. ДАЛЯ¹

То было тяжелое время для русской словесности. Перед тем погиб барон Дельвиг за помещенные в его «Литературной газете» четыре французских стиха об июльской революции, а в сущности за то, что вместе с Пушкиным, кн. Вяземским, кн. Одоевским и другими лучшими деятелями словесности противодействовал на журнальном поприще Булгарину, умевшему стать под покровительство графа Бенкендорфа. Подозрительность власти, питаемая тайными внушениями таких людей, как Булгарин, усиливалась, но, к счастью Даля, его знал еще по Дерпту Жуковский и успел его спасти. (Вот еще заслуга Жуковского перед Россией.) Общественное внимание обратилось на молодого писателя, который с этих пор стал помещать в журналах разного рода повести, рассказы и очерки, уже не подвергаясь преследованию. Сближение с Жуковским, а через него с Пушкиным утвердило Далья в мысли собрать словарь живого народного русского языка. В особенности Пушкин деятельно ободрял его, перечитывал вместе с ним его сборник и пополнял его своими сообщениями. За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Дально и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «Эту **выползину** я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спорили с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны (сюртук с дырою от пули в правой доле хранится у М. П. Погодина). Случайно находясь в Петербурге, Даль провел с Пушкиным все три дня его предсмертных страданий и получил от него с его руки изумрудный перстень, так называемый талисман. Пушкин умер на руках Даля, в буквальном смысле слова.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ДВА ПИСЬМА П. А. ОСИПОВОЙ К В. А. ЖУКОВСКОМУ»

Итак, вот в каком положении очутился несчастный поэт. Осенью 1824 года, к которой относятся вышеприведенные (из бумаг Жуковского извлеченные) письма, началось для него время полной опалы: до того он только удален был из столицы и, вспоминая Петербург, мог говорить:

Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня¹.

Теперь уже было не до шуток. В формуляр его занесены слова: «Исключается из службы за дурное поведение»; он предан тройному надзору местного губернатора, местного дворянского предводителя и ближайшего архимандрита, коему вменено в обязанность присматривать за его нравственностью (дедушка-игумен был ли нам приятен!). Жандармский чиновник, по составленному вперед маршруту, коим запрещалось заезжать в Тульчин и Каменку, привез Александра Сергеевича в село Михайловское, где тогда проводили летнее время его родители². Вот пропасть, в которую ввергнул его Одесский демон:

Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданиях, униженье...
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом,
Но если цепь ему накинул ты,
И сонного врагу предал со смехом*.

Понятно, что Сергей Львович неласково принял сына. Поэт нашел себе нравственное убежище у Прасковьи Александровны Осиповой, которая, вместе с Жуковским, сумела понять чутким, всеизвиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзвуками сохранились во всей чистоте не одна гениальность, но и глубоко доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми.

Да простит нам великая тень обнаружение этих под-

* Писано именно осенью 1824 года и относится несомненно к А. Н. Раевскому³.

робностей. Сам он виною, что все к нему относящееся делается достоянием общеизвестности. Его трудно судить по нашей мерке, и из напечатанных выше писем мы убеждаемся, как много жгучих ощущений перегорело в его страдальческой груди, дабы разлилось из нее благоухание поэзии.

...В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я!.. Вы во мне прияли
Усталого пришельца. Я еще
Был молод, но уже судьба
Меня борьбой неровной истомила.
Я был ожесточен. В уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях,
О строгости заслуженных упреков,
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной —
И горькие кипели в сердце чувства!⁴

Эти стихи, очевидно, относятся к первым, тяжким месяцам ссылки 1824 года.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ТРИ ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА К В. А. ЖУКОВСКОМУ»*

Примечание к фразе первого письма: «отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие».

Обвинение, объясняемое в устах Сергея Львовича Пушкина тогдашним настроением императора Александра Павловича, распространившимся в ближайших ко двору сферах. Это было именно то время, когда первенствовал Магницкий и архимандрит Фотий, клеймившие именем безбожника даже самого кн. Александра Николаевича Голицына. Вдобавок поводом к ссылке Пушкина послужило перлюстрированное письмо его в Москву к издателю Бахчисарайского фонтана¹, с шутливо-похвальным отзывом об англичанине докторе Гучинсоне, глухом атее. Нет сомнения, что забавное ханжество высших лиц, еще так недавно глумившихся над святынею, вызывало противодейственные отзывы в душах искренних, каковою была пыл-

кая душа А. С. Пушкина. Он был, что называется, бельмо в глазу для мундирно-богомолствовавшей власти, тем паче, что с выходом в свет Бахчисарайского фонтана (в начале 1824 г.) его имя всюду произносилось с восторгом. А тут еще вдобавок он дружен с Раевскими, Давыдовыми, он ездит в Каменку, он волен духом и вполне независим в своем творчестве.— Всего этого не знал Сергей Львович, и мы не вправе даже обвинять его за то. С сыном у него было мало общего. Поступив в Лицей 12 лет от роду, он вырос и развился вдали от родительского дома, почти что ему чуждый. Вскоре по приезде Александра Сергеевича в Михайловское, его вызывали (в том же августе месяце) в Псков, где он должен был дать губернатору Адеркасу письменное обязательство «жить безотлучно в деревне родителя и вести себя благонамеренно».

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ «ПИСЬМА ПУШКИНА К П. В. НАШОКИНУ»

Павел Воинович Нашокин (внук известного в прошлом столетии генерала и автора Записок) был одним годом моложе Пушкина, который подружился с ним еще в Царскосельском лицее, навещая брата своего в Лицейском пансионе Гауэншильда, где воспитывался некоторое время и Нашокин. Своеобразный ум Нашокина, его талантливая, широкая натура и превосходное сердце рано полюбили Пушкина. Нашокин поступил в ополчение и потом в Измайловцы, не кончив курса в пансионе. С отъездом Пушкина на Юг прекратились их сношения; но в 1826 г., когда он возвращен был в Москву и встретил там Нашокина, они снова сблизились и подружались крепко. Наезжая в Москву, Пушкин останавливался у Нашокина (и всегда радовался, что извозчики из Почтамта умели провести к нему, несмотря на то, что он часто менял квартиры). Хотя Нашокин мог служить лучшим образцом плохого хозяина, прожив на своем веку не одну тысячу душ и спустив на разные затеи целый ряд наследств, тем не менее Пушкин признавал в нем житейскую опытность и любил следовать его советам. П. В. Нашокин скончался в Москве 6 Нояб. 1854 года. Письма к нему Пушкина были списаны нами с подлинников, в 1851 году, и здесь печатаются с позволения вдовы Нашокина. Некоторые из них были помещены в Москвитянине 1854 года¹.

* Печатаются с подлинников, сохранившихся в бумагах В. А. Жуковского.

К записке начала декабря 1830 г.²: «Сей час еду Богу молиться и взял с собою последнюю сотню. Узнай, пожалуйста, где живет мой Татарин, и коли можешь, достань с своей стороны тысячи две».

Писано в исходе 1830 года. Н. И. Гончарова возила дочь свою и ее жениха по соборам и к Иверской. Пушкин пишет: **мой Татарин**, потому что купил у него шаль для своей невесты. Нащокин принимал большое участие в устроении дел Пушкина перед его свадьбою. У него сохранялся пригласительный билет на помолвку его друга: «Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным, сего мая 6 дня 1830 года». — Отец Пушкина, владевший значительными, но расстроеными поместьями, не выделял сына, но перед свадьбою его позволил ему перезаложить одно из них. В одной из бумаг, сохранявшихся у Нащокина, сказано, что Пушкину было отдано в распоряжение имение чиновника 5 класса и кавалера Сергея Львовича Пушкина, заложенное в Спб. Опек. Совете в 1827 и 1828 годах, Нижегородской губ. Сергачьского уезда, сельцо Кистенево, Тимашево тож, на речке Чеке, муж. пола 476 д., земли всей 1461 дес. 95 саж. Пушкин получил из Опек. Совета до сорока тысяч, сыграл свадьбу и весною 1831 года, отъезжая в Петербург, уже нуждался в деньгах, так что тот же Нащокин помогал ему в переговорах с закладчиком Веером.

К письму 11 июня 1831 г.³

Пушкин очень внимательно следил за ходом Гальского восстания. Еще в исходе 1830 года, наскучив тем, что свадьба его оттягивалась вследствие разных препятствий со стороны будущей тещи, он говорил Нащокину, что бросит все и уедет драться с Поляками. — «Там у них есть один Вейскопф (белая голова): он наверное убьет меня, и пророчество гадалщицы сбудется». В 1831 г. один знакомый встретил его в Петербурге на улице задумчивого и озабоченного. «Что с вами?» — «Всё читаю газеты!» — «Так что же?» — «Да разве вы не понимаете, что теперешние обстоятельства чуть ли не так же важны, как в 1812 году?» — отвечал Пушкин.

К письму около (не позднее) 20 июня 1831 г.⁴

По словам Нащокина, Пушкин был щедр на деньги и

бедному не подавал меньше 25 р., но как бы старался быть скупее и любил показать, будто скуп. Перед свадьбою ему надо было сшить новый фрак, но для сбережения денег он не заказал себе фрака, а надевал Нащокинский и даже венчался в нем.

К письму 8 и 10 января 1832 г.⁵

Нащокин тоже бывал суеверен. Он носил кольцо с бирюзой против насильственной смерти и в последний приезд Пушкина настоял, чтобы он принял от него такое же кольцо. Оно была заказано. Его долго не несли, и Пушкин не хотел уехать, не дождавшись его, Кольцо было принесено позднею ночью. По свидетельству Данзаса, кольца этого не было на Пушкине во время предсмертного поединка; но перед самою кончиною он велел Данзасу подать ему шкатулку, вынул из нее бирюзовое кольцо и подавая сказал: «От общего нашего друга».

К письму 2 декабря 1832 г.⁶

Так называл Пушкин свою повесть [«Островский»], напечатанную после его кончины под именем Дубровского. Она написана по рассказу Нащокина, который сам видел в остроге этого Островского, Белорусского дворянина, доведенного до нищеты богатым своим соседом; так как Дмитрий Васильевич Короткой состоял на службе и знал производство тяжёбных дел, то Пушкин и пишет, что пришлет ему на критику свою повесть.

По вызову Пушкина Нащокин написал несколько очерков своего детства и рассказов о своих предках. Два-три его анекдота попали в посмертные издания сочинений Пушкина. Рассказ о сношениях его отца с великим Суворовым был отдан Пушкиным великому князю Михайлу Павловичу.

Нащокин сообщал нам, что у него было еще два письма Пушкина, которых он лишился следующим образом. Был в Москве некто К<ашинцов>, родственник известного Леонтия Васильевича Дубельта. Он получил через последнего должность в Москве, состоявшую в том, чтобы частным образом следить за литературою. Он-то выпросил у Нащокина на один день для прочтения с семейством своим письма Пушкина, и два из них удержал. В одном

из них П<ушкин> извещает, что Государь пожаловал ему 5.000 рублей годового жалования, pour faire jouer та магните*; больше он дать не мог, ибо это превышало бы и генеральский оклад**. Пушкин писал письма Нащокину и с Кавказа, во второе свое путешествие. В одном из таких писем, сколько помнил Нащокин, Пушкин говорит, что он путешествовал с особым денщиком, и солдатки, видя его, может быть, одного из Русских в тех местах разъезжающим в статском платье, почитали его немецким попом.

Нащокин помнил еще одно письмо Пушкина, об утрате которого особенно можно пожалеть. Письмо было писано незадолго до смерти; после последнего их свидания (которое было весной 1836 г.) Пушкин писал, что ему надо достать 5 тысяч, чтобы разделаться с Петербургом: он хотел увезти жену в Псковскую деревню и зажить там, но 5 тысяч у него не было. Видно, он их не достал. Нащокин глубоко жалеет, что не догадался послать ему эти 5 тысяч, которые у него тогда были.

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТИХА ПУШКИНА

В кружке приятелей и людей любимых Пушкин не отказывался читать вслух свои стихи. (Читал он превосходно, и чтение его, в противность тогдашнему обыкновению читать стихи нараспев и с некоторою вычурностью, отличалось, напротив, полною простотою.) Однажды, поздно вечером, перед тем, как собравшимся надо было разъезжаться, его попросили прочитать известное стихотворение **Демон**, которое кончается двестишестью:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Только что прочитав эти стихи, Пушкин заметил, что одна из слушательниц, молодая девица по имени Варвара Алексеевна¹, зевнула, и мгновенно сказались следующие четыре стиха:

Но укротился пламень гневный
Свирепых адских сил,
И он Варвары Алексевны
Зевоту вдруг благословил.

* чтобы побудить к деятельности (фр).

** Были возвращены Нащокину по кончине Пушкина.

Это значило, что засиделись слишком поздно, что пора ехать спать.

ЧЕРТА ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА

22 Августа 1829 г. Тифлисский военный губернатор С. С. Стрекалов писал Московскому военному генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну, что «известный поэт, отставной чиновник 10-го класса Александр Пушкин отпавился по делам из Тифлиса в Москву». Имея в виду высочайшее повеление о состоянии Александра Пушкина под секретным надзором правительства, Тифлисский военный губернатор счел нужным уведомить Московского военного генерал-губернатора об отъезде Пушкина из Тифлиса.

Вследствие такого уведомления Московский военный генерал-губернатор немедленно предписал Московскому обер-полицеймейстеру «иметь под секретным надзором полиции означенного чиновника 10-го класса Александра Пушкина».

Тогдашний Московский обер-полицеймейстер генерал-майор А. С. Шульгин, донося Московскому военному генерал-губернатору о выезде (12 Октября 1829 г.) Пушкина из Москвы в Петербург, писал, что по надзору полиции в поведении Пушкина ничего предосудительного не замечено и что об учреждении за ним надзора он сообщил исправляющему должность Петербургского обер-полицеймейстера полковнику Дершау. 13 Марта 1830 г. Пушкин возвратился из Петербурга в Москву и остановился Тверской части в доме Черткова, в гостинице Коппа (нынешнем доме г. Обидина, в Глинищевском переулке, между Тверскою и Большою Дмитровскою). В поведении его опять ничего предосудительного замечено не было, а 16 Июля 1830 г. он опять выехал в Петербург, откуда возвратился 9 Декабря 1830 г., останавливался Тверской части, в гостинице Англия, а 16 Октября 1832 г. снова выехал в Петербург. 19 Апреля 1833 г. С. Петербургский военный генерал-губернатор просил Московского военного генерал-губернатора уведомить его, по какому случаю признано нужным иметь г-на Пушкина под надзором полиции. На это Московский военный генерал-губернатор отвечал, что сведений о том, по какому случаю признано нужным иметь Пушкина под надзором полиции, у него не имеется.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ АЛЬФРЕДА РЕМБО

«Императрица Екатерина Вторая в переписке с иностранцами».

С гениальным изваянием Фальконета для Русских людей неразрывно связано словесное воспроизведение его в **Медном Всаднике** Пушкина. Отделенный от Фальконета целым полувеком, Пушкин сошелся с ним в основной мысли: конь Петра Великого — это наша Россия, угаданная сыном Французского простолюдина.

И в сем коне какой огонь,
Какая сила в нем сокрыта!
Куда ты мчишься, борзый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты, над самой бездной,
На высоте, уздой железной,
Россию вздернул на дыбы?..

Пушкин не кончил своего произведения, и только вступление к нему напечатал сам; остальное найдено в его бумагах¹. Герой поэмы, лишенный наводнением (в котором он винит Петра) всего, что ему было дорого, в припадке умоисступления, высказывал Преобразователю упреки, от которых сохранились только следующие неотделанные стихи:

И руки стиснув, пальцы сжав,
Добро, строитель чудотворный!
Шепнул он, мрачно задрожав².

Мысль о **Медном Всаднике** пришла Пушкину вследствие следующего рассказа, который был ему передан известным графом М. Ю. Виельгорским*. В 1812 году, когда опасность вторжения грозила и Петербургу, государь Александр Павлович предположил увезти статую Петра Великого, и на этот предмет статс-секретарю Молчанову было отпущено несколько тысяч рублей. В приемную к князю А. Н. Голицыну, масону и духовидцу, повадился ходить какой-то майор Батуриин. Он добился свидания с князем (другом царевым) и передал ему, что его, Батуриина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по Петербургским

* См. о нем стихотворение князя Вяземского «Поминки» в 1-й книге Русского Архива сего года.

улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. Батуриин, влекомый какою-то чудною силою, не сдается за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменноостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. «Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?— говорит ему Петр Великий.— Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!» Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скаканье. Пораженный рассказом Батурина князь Голицын, сам сновидец, передает сновидение государю, и в то время, как многие государственные сокровища и учреждения перевозятся вовнутрь России, статуя Петра Великого оставлена в покое³.— Судя по этому рассказу (который случилось нам слышать от современников, и в числе их от С. А. Соболевского), надо думать, что первоначальными звуками чудесной поэмы, родившимися в голове Пушкина, были стихи:

Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

Пушкин, как известно, был необычайно впечатлителен, и поэтические черты рассказа о странном сне, в связи с воспоминанием о судьбе России в 1812 году, поразили его. Таково первоначальное происхождение его **Медного Всадника**⁴.

НЕИЗДАВАННЫЕ ДЕСЯТЬ СТИХОВ А. С. ПУШКИНА

На подлинном листке, принадлежащем Николаю Платоновичу Хвицкому, рукою Пушкина написано неизданное место, относящееся к концу 4-й песни **Руслана и Людмилы**, после стиха «Ужели счастлив будет он?»

К ее пленительным устам
Прильнув увядшими устами,
Он мыслит хладными трудами
Сорвать сей юный, нежный цвет,
Хранимый Лелем для другого.

Уже... но бремя поздних лет
Тягчит бесстыдника седого;
Стеная, дряхлый чародей
Пред юной девой упадет.
В нем сердце рвется, плачет он¹.

Далее следует так, как во всех изданиях сочинений Пушкина: «Чу... вдруг раздался рога звон» и пр.

Н. П. Хвицкий, будучи молодым человеком и служа в гвардии, встречался с Пушкиным в обществе и на прогулках и однажды выразился ему, что в 4-й песни его поэмы должен быть пропуск.— «Как же,— живо подхватил Пушкин.— Хотите, я вам дам этот пропуск? Где вы живете? Как-нибудь я найду к вам и напишу». Действительно, чрез несколько времени Пушкин пришел к молодому офицеру и написал ему вышенапечатанные стихи, некогда искаженные цензурою последних лет царствования Александра Павловича, которая даже Жуковскому не пропускала вполне «Смальгольмского барона». Встреча Пушкина с Н. П. Хвицким относится уже к 1836 году, незадолго до кончины поэта.

ПУШКИНСКИЙ «ПРОРОК» В ПОЛЬСКОМ ПЕРЕВОДЕ

В 1855 году Виленским Вестником заведовал известный польский писатель Антоний Эдуард Одынец, друг Мицкевича, заслуживший себе почетную известность как дарованиями, так и благородством характера. Однажды вечером сидел он у тогдашнего Виленского губернатора Аркадия Осиповича Россета. Говорили, между прочим, о Мицкевиче и Пушкине, и хозяин прочел своему гостю стихотворение Пушкина **Пророк**. Одынец восхищался мощною силою образов и звуков в этом необыкновенном произведении. По его желанию А. О. Россет повторил ему великолепные стихи. Гость ушел, а хозяин вслед за ним отправился в экипаже, куда ему было надо. Одынец, идя пешком, остановил экипаж и попросил еще раз прочитать ему последние строфы. На другое утро по обыкновению у губернатора был прием просителей, и в их числе оказался Одынец с бумагою в руке. Губернатору показалось странно, какое может быть дело у Одынца, тем более, что он мог еще накануне переговорить о своей надобности. Очередь дошла до Одынца, и вместо прошения он подал А. О. Россету листок с ниже помещаемым переводом. «Всю ночь,— говорил он,— не мог я освободиться

от впечатления этих стихов, и так как вы тому причиною, то вам подношу я мою работу».

ПРИМЕЧАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ «ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА К С. А. СОБОЛЕВСКОМУ»

1

Четыре письма Александра Сергеевича относятся к тому времени, когда Соболевский, будучи так называемым «архивным юношей», проживал в Москве в полнейшем раздолье, богатым шалуном, балуемый своей матерью и преданный всем прихотям образованности и просвещенного материализма. Пушкин, как известно, поселился у него осенью 1826 года, по возвращении из ссылки. От него он уезжал на короткое время в Псковскую деревню, и из Пскова писал ему нижеследующее...¹

2²

Пока Пушкин ездил в деревню, Соболевский в Москве печатал вторую главу Онегина³. Между тем Погодин собирался издавать Московский Вестник, который и начал выходить с 1827 года и в котором Пушкин преимущественно помещал свои стихи.— Пушкин забавлялся словом **альманажник**, и позднее в Петербургской Гражданской Палате совершил доверенность на имя Плетнева, поручая ему вести денежные счета вместо него «с альманажниками обеих столиц»⁴.

Василий Петрович Зубков, заметное лицо в тогдашнем московском обществе, человек образованный и занимавшийся зоологию (в которой известен жук его имени *Carabus Zubkovius*), был женат на родственнице Пушкина, который в то время влюбился в сестру ее (впоследствии Панину) и проводил беспрестанно время у Зубковых. У них написал он свои знаменитые стансы: «В надежде славы и добра», в Декабре 1826 года⁵.

Следующее письмо должно относиться к 1827 году, когда Пушкин уехал в Петербург, где и вышла в свет третья глава Евгения Онегина⁶.

Третье письмо писано вслед за кончиною матери Соболевского, которая во всю его жизнь была ему святынею. Избалованный юноша очутился только с теми деньгами, которые мать записала на его имя еще при его рождении, и должен был прекратить широкую жизнь и барские затеи. Богатые поместья его матери достались законным наследникам Давыдовым и Апраксиным, а сыну любви пришлось подумать, как упрочить свое благосостояние⁸, для чего он и занялся Самсоновскою бумагопрядильнею в Петербурге, предварительно побывав в чужих краях и выучившись фабричному производству и порядкам управления. Когда умирала старуха-мать, друзья Соболевского уговаривали его, чтоб он напомнил ей о своем обеспечении; но огорченный Соболевский не решился беспокоить умирающую. Узнав об этом, А. С. Пушкин написал ему очень сочувственное, горячее письмо, но которого теперь в его бумагах не оказалось; в этом письме Пушкин говорил, что до тех пор только любил его, а теперь и уважает.

Последнее из сохранившихся писем должно относиться к 1829 году. Пушкин называет своего приятеля именем Шекспировского Калибана (в «Буре»), разумея его непомерную чувствительность. Четвертая и пятая главы Онегина вышли вместе в Петербурге, в самом начале 1829 года¹⁰. Кто «мудрец», написавший разбор их в Атенее, нам неизвестно¹¹.

Есть еще пятое письмо Пушкина с известными стихами, в которых он дает наставление молодому сибариту, как ехать в Петербург: «У Гальяни иль Кальони», и т. д. Письмо это напечатано в Исааковском издании Сочинений А. С. Пушкина, 1859 года, I, 357. Оно должно быть отнесено к 1828 году. Кстати заметить, что в первом стихе заключена игра слов¹².

**ИЗ ЗАМЕТКИ «НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ» (1831),
СТИХОТВОРЕНИЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА»**

Летние месяцы 1831 года принадлежали к тяжким эпохам новейшей Русской истории. Шла ожесточенная борь-

ба на западной окраине, внутри России свирепствовала холера.

Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор,
Ее, беснуясь, потрясали...¹

Покойный граф Е. Е. Комаровский рассказывал, что в это время однажды встретил он Пушкина на прогулке, задумчивого и тревожного. — «Отчего не веселы, Александр Сергеевич?» — «Да всё газеты читаю!» — «Что ж такое?» — «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году!»

**ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
«ПИСЬМА КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО К А. С. ПУШКИНУ»**

Князь Вяземский, связанный близким знакомством с родителями великого поэта и тесною дружбою с его дядею, известным Василием Львовичем, вероятно, знал Пушкина еще ребенком в Москве. Позднее в Московский дружеский кружок Карамзиных, Пушкиных, Жуковского стали приходить известия из Царского Села о необыкновенном стихотворческом даровании лицеиста — Пушкина, который в школьном своем номере уже был, что называется, записным литератором: он тогда еще познакомился с тем, что было до него писано по части Русской словесности, перечитывал с Дельвигом сочинения М. Н. Муравьева, чтоб научиться изящной простоте изложения мыслей, знал наизусть целые страницы Ломоносова, Державина, Карамзина и т. д. Уже это одно должно было привлечь к нему князя Вяземского, который тоже страстно любил словесность и занимался ею с младенчества до гробовой доски. Знакомство началось весною 1816 года: князь Вяземский на пути из Петербурга в Москву навещал лицеиста, который вслед за тем вступил с ним в переписку и обратился к нему со стихами. Единство вкусов и занятий тотчас их сблизило, несмотря на то, что один на шесть лет был старше другого, и этим сблизением князь Вяземский уплачивал долг дружбы своему приятелю Василию Львовичу Пушкину, которому значительное старшинство не мешало относиться к нему по-товарищески. Дружба заключена была просто, и со второго письма (от 1 Сентября 1817) Пушкин уже пишет князю Вяземскому ты. Юноша, еще не достигший двадцати лет, одарен был уди-

вительным проницанием и в надписи к вышедшему в то время гравированному портрету князя Вяземского сделал такую характеристику своего приятеля, лучше и выразительнее которой мы до сих пор не имеем:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с пленительным умом,
И добродушие с язвительной улыбкой¹.

Князь Вяземский принадлежал к числу людей, которые, раз полюбив человека, уже на всю жизнь остаются ему верны. Его чудесное сердце, даже и в глубокой старости, когда мы его знали, было необыкновенно деятельно. Когда Пушкина сослали, он непрестанно заботился о нем и, находясь сам под правительственной опалю, всячески старался об освобождении Пушкина, об улучшении его участи. Несомненно, что Пушкин отчасти обязан ему позволением жить где угодно. Из Ревеля летом 1826 года мать Пушкина послала новому Государю в Москву письмо с просьбою о даровании свободы ее сыну. Письмо это до сих пор не найдено; но оно, конечно, подействовало, отличаясь в ряду всякого рода прошений убедительным красноречием искреннего сердца: его сочинял князь Вяземский².

Все это сочли мы нужным предпослать нижеследующим письмам. Нечего напоминать читателям про значение писем вообще. Эти мимолетные фотографии быстро текущей жизни не выражают собою всей полноты отношений, какие существовали между писавшим и получавшим их; но они бесценно дороги, сохраняя на себе всю непосредственность, все, так сказать, тепло старины. Недавно Гете из всех исторических свидетельств отдавал решительное предпочтение письмам.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «НОВЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ ЗАПИСОК А. С. ПУШКИНА»

Пушкин с ранних лет своих принимался писать записки. В 1826 году, перед отъездом из Псковской деревни в Москву, он сжег целые тетради их и сожалел о том впоследствии. Впоследствии он опять стал записывать виденное и слышанное, и по кончине его осталась начатая

тетрадь в большой лист, первые 114 страниц которой исписаны его дневником. На переплете тетради стоит № 2-й, и, как видно, эта помета сделана самим Пушкиным. Уцелел ли номер первый, неизвестно. Старший сын Пушкина, Александр Александрович, дозволил мне и А. С. Юрьеву напечатать возможные извлечения из этой тетради. Сообщаем их с некоторыми пояснительными примечаниями. Одаренный зорким умом и чуткою впечатлительностью, Пушкин бывал в самых разнообразных обществах, от царских дворцов до калмыцких кибиток. В Кишиневе, в самом кипении страстей своих, он выслушивает Записки князя Болховского; в Одессе начальник края, Ланжерон, дает ему читать письма к себе императора Александра Павловича; там же он находит возможность собственноручно списать Записки Екатерины II. И там Пушкин мог передать потомству много важного... Покамест надо довольствоваться немногими отрывками.

Этим оканчиваются сделанные нами выписки. Настанет время, когда все, что сохранилось из Записок Пушкина, будет обнародовано. Некоторые места очень важны, наприм., то, где Пушкин рассказывает, как он встретился в Петербурге с кишиневским своим знакомцем, участником Ипсилантиевского восстания 1821 года, князем Суцою, и как тот изумился, узнав от Пушкина, что императора Александра Павловича уверил, будто Греческое восстание есть только ветвь зловредного карбонаризма не кто иной, как Пестель... Любопытен также разговор с великим князем Михаилом Павловичем, отчасти приведенный у Анненкова (Вестн. Европы, 1880, 6).

ПРИМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА К ГОНЧАРОВЫМ»

Вот выдержка из записанного нами (17 ноября 1864) рассказа Сергея Николаевича Гончарова: «Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил Американца графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтоб он к ним съездил и попросил позволения привести Пушкина. На первых порах Пушкин был очень застенчив, тем более что вся семья обращала на него большое внимание. Наталья Николаевна была младшая дочь. Пушкину позволили ездить. Он беспрестанно бывал. А. П. Малиновская (супруга извест-

ного археолога) по его просьбе уговаривала в его пользу; но с Натальей Ивановной (матерью) у них бывали частые размолвки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче, а у Натальи Ивановны была особая молебеня со множеством образов, и про покойного Государя она выражалась не иначе как с благоговением. Пушкину напрямик не отказали; но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что дочь еще слишком молода и пр. С. Н. Гончаров помнит хорошо приезд Пушкина с Кавказа. Было утро; мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина в постели».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА К П. Я. ЧААДАЕВУ ПО ПОВОДУ ЕГО «ФИЛОСОФИЧЕСКИХ ПИСЕМ»

Найдено в бумагах В. А. Жуковского и сообщено сыном его, Павлом Васильевичем. Письмо подлинное, свое-ручное. Из того, что оно нашлось в бумагах Жуковского, возникает сомнение, было ли оно послано по назначению. Разве сам Чаадаев отдал его впоследствии Жуковскому? Но поводов к тому трудно сыскать. Может быть, письмо это было черновое и осталось в пушкинских бумагах. Эти бумаги, как известно, разбирал Жуковский наспех (перед самым отъездом в большое путешествие по России с наследником-цесаревичем); вероятно, это письмо к Чаадаеву, по важности его содержания, он отложил особо и не успел приобщить его к пушкинским бумагам, впоследствии возвращенным его вдове. Остается еще предположение. Письмо писано 19 октября 1836 г. На другой же день Пушкин мог узнать о начавшемся против Чаадаева деле и о строгости, с которою оно поведено. Может быть, Пушкину стало жаль своего старого друга и, не желая, так сказать, добивать его доводами ума, знаний и твердого убеждения, он не послал к нему своего опровержения. То, что на последней странице записана Пушкиным шотландская пословица, по-видимому к делу не относящаяся, отчасти подтверждает это предположение.

Вот еще предание, за достоверность которого вполне не ручается сообщивший его нам младший современник Пушкина и Чаадаева, живший тогда в Москве и уже начинавший принимать деятельное участие в умственной русской жизни, Николай Николаевич Боборыкин. По его словам, в то время ходил слух, что государь Николай Павлович, встретив Пушкина, сказал ему: «А каков приятель-то твой Чаадаев? Что он наделал! Ведь просто с ума спятил!» Пушкин полушутя отвечал, что действительно Чаадаев зачитался иностранными книг и в голове у него что-то неладно. В Москве говорили, что этот разговор с Пушкиным подал государю мысль подвергнуть сочинителя «Философических писем» медицинскому осмотру и надзору.

Читатели сами оценят важное значение нижеследующей новой страницы великого писателя, которая надолго останется убедительною апологией древней Руси и основных начал нашей жизни от навета недоброхотов. П. Б.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ЧЕРНОВОЕ ПИСЬМО ИЗ ССЫЛКИ К ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ»¹

В феврале этого года <1820> убит Лувелем в Парижском театре наследник французского престола герцог Беррийский. Покойный Д. Н. Свербеев передавал нам, что Пушкин в театре, ходя по рядам кресел, показывал знакомым портрет Лувеля и позволял себе при этом возмутительные отзвывы².

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА К А. И. КАЗНАЧЕЕВУ¹

Письмо это писано в Одессе, летом 1824 года, вероятно к Александру Ивановичу Казначееву, человеку отменной доброты и благожелательства, находившемуся в близких отношениях к князю Воронцову (при котором он состоял еще во Франции адъютантом), в то же время умевшему ценить высокую душу и Пушкина.— Кажется, что, после знаменитого донесения о саранче, Пушкин сначала получил увольнение только от службы, и уже потом пришла бумага из Петербурга об его ссылке на жительство в Псковскую губернию. Наказание поразило

всех своею строгостью и для самого Пушкина было неожиданностью. Князя Воронцова в то время не было в Одессе (он объезжал свой край). Пушкин сделался сам не свой. Он пропадал целыми днями. Жившая в то время в Одессе добрая его знакомая спрашивает его: «Что вас не видно? Где вы были?» — «На кораблях: трое суток сряду пили и кутили». Тем не менее хоть и реже прежнего, он появлялся на даче Рено, у княгини Воронцовой. После известной его эпиграммы на ее мужа (в которой потом сам он раскаивался), конечно, обращались с ним очень сухо. Перед каждым обедом, к которому собиралось по несколько человек, княгиня-хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: что нынче дают в театре? Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положив руку на сердце (что он делывал, особливо когда отпускал свои остроты), с улыбкою сказал: «*La sposa fidele, comtesse*» (Верная супруга, графиня). Та отвернулась и воскликнула: *Quelle impertinence!* (Какая наглость!). — Прошли года. Россия оплакала своего поэта. В год его кончины князь Воронцов приезжал в Петербург и посетил его вдову². А княгиня Е. К. Воронцова († 1880) до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух и притом сподряд, так что когда кончались все томы, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама была одарена тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ним соединялись для нее воспоминания молодости.

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял;
А демон, мрачный и мятежный...³

ЕЩЕ ЗАГРОБНЫЙ ГОЛОС ПУШКИНА

В нынешнем 1887 году протекает полвека с рокового дня 29 Января, в который Россия лишилась Пушкина. Ему было бы 88 лет, и ныне здравствуют лишь очень немногие из его сверстников: в Одессе граф Александр Григорьевич Строганов, в Москве Геннадий Владимирович

Грудев, Александр Петрович Петерсон*. Скончался последний его лицейский товарищ канцлер князь Горчаков; в прошлом году 18 июля отошла в вечность и княгиня В. Ф. Вяземская (до конца дней сохранявшая живую, сочувственную память о нем). Да и младших современников, знавших лично Пушкина в своей молодости, в настоящее время наперечет: барон А. И. Дельвиг, А. А. Краевский, графиня А. Г. Толстая; из поколения позднейшего — князь П. П. Вяземский, граф А. В. Адлерберг, С. И. Мальцов, графини А. Д. Блудова и К. Ф. Тизенгаузен.

Нам доводилось беседовать подолгу со многими из людей, близко знавших Пушкина. Некоторые из них в своих рассказах не скрывали личных недостатков его, но решительно никто, даже и граф М. А. Корф (изобразивший его в особой записке с самой неприглядной стороны) не мог говорить о нем без увлечения и не был чужд художественного и умственного обаяния, которое производил этот человек не одними своими произведениями, но еще более своею беседою, в особенности с дамами (которые называли его, как позднее Тютчева, *irrésistible*, *неодолимый*). То, что от него осталось, не выражало собою и малой доли того обилия дарований, которыми он был полон. Брат его Лев Сергеевич уверял, что его разговор, в минуту одушевления, стоил целой лучшей его поэмы. Покойный друг его П. В. Нащокин († 1854) говаривал, что поприще словесное было для Пушкина лишь случайностью, что если бы судьба велела ему быть воином или отвела ему на долю какую-либо другую деятельность, он везде оставил бы по себе след своего гения. Действительно, Пушкин представляет собою удивительное это соединение пламенного Юга со здравою рассудительностью северянина: в нем и пыл воображения и великороссийская сметка, и западноевропейское просвещение, и верность простонародной старине. Эта последняя черта с годами развивалась в нем все более и более. В частных беседах иногда он даже увлекался до исключительного предпочтения всего русского привозному. Друзья его князь Вяземский и А. И. Тургенев часто спорили с ним по этому поводу, а последний говаривал ему: «Милый, да съездил бы ты хоть в Штетин!»** Но Пушкин, некогда желавший

* Жив еще во Франции и убийца Пушкина, барон Дантес-Геккерн.

** Слышано от князя П. А. Вяземского.

побывать в чужих краях, собиравшийся даже ехать в Китай, в последние месяцы жизни своей думал, как бы перебраться ему со всею семьею в Псковскую деревню, которая в 1836 году, по кончине его матери, досталась ему в наследство. Он вздыхал по своему Михайловскому, куда некогда его сослали из Одессы. В тогдашних произведениях его можно указать несколько мест, которые свидетельствуют об этой тоске по деревне и о желании выпутаться из тяжких условий разорительной петербургской жизни.

Прошлою осенью в Ревеле удалось нам встретить (в списке) пушкинское осмистишие, написанное под этим настроением. Вновь приводим его, с дополнением, полученным недавно от того же источника.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частицу бытия; а мы с тобой вдвоем
Располагаем жить. И глядь, все прах: умрем!

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля.
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Вслед за этим в пушкинской рукописи читаем:

Юность не имеет нужды в *at home**, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу: тогда удались он **домой**. О скоро ли перенесу я свои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc. Религия, смерть.

А после этого наброска Пушкин писал, переносясь мыслью к жизни в Михайловском, за двенадцать лет перед тем:

И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы,—
Приют, сияньем Муз одетый,
Младым Языковым воспетый;
Когда из капища наук
Явился он в наш сельский круг,
И Нимфы Сороти прославил,
И оглашал поля кругом
Очаровательным стихом.
Но там и я свой след оставил

* Английское выражение, означающее домашний уют, свой дом.

И ветру в дар на темну ель
Повесил звонкую свирель.

Конечно, в печати Пушкин бы оставил 9-й стих и не назвал бы Дерпта «капищем наук», но в целом нам дороги и эти не вполне настроенные звуки задушевной лиры, этот родной как бы загробный голос великого поэта, зовущий нас домой, в русскую деревню.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Пушкин говорил М. А. Максимовичу, что князю Юсупову хотелось от него стихов и затем только он угощал его в Архангельском.— «Но ведь вы его изобразили пустым человеком».— «Ничего, не догадается!» Пушкин смеялся над Полевым, который в известном послании «К Вельможе» видел низкопоклонство.

Известное пушкинское четверостишие княгине Радзивил (урожд. княжне Урусовой): «Не веровал я» и пр. оказывается подражанием Вольтеру. В 1759 году посетил Вольтера пастор Верн (Vernes) с женою, для которой Вольтер сочинил следующие стихи:

Oui, j'en conviens, chez moi la Trinité
I présent n'avait par fait fortune;
Mais j'aperçois les trois Grâces en une!
Vous confonder mou in crédulité!

Читатель согласится, что пушкинская шутка гораздо лучше выражена.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ПИСЬМАМ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЧУЖИЕ КРАЯ К А. О. СМИРНОВОЙ»*

К письму от февраля 1837 г. (фр., перевод П. И. Бартенева)¹. К фразе: «Брат ваш, вероятно, сообщает вам подробности обо всем происшедшем».

* Сообщены дочерью А. О. Смирновой, Ольгою Николаевной Смирновой, и печатаются с дозволения князя Павла Петровича Вяземского. Первое письмо писано по возвращении князя Петра Андреевича из его первого заграничного путешествия. В Риме скончалась у него в 1835 году взрослая дочь, княжна Прасковья Петровна, память которой посвящены трогательные стихи княгини Зинаиды Волконской (может быть, единственные, какие ей вполне удалось. См. Р. Архив, 1867, стр. 313). Три остальные письма в особенности любопытные по отношению к А. С. Пушкину.

Из братьев А. О. Смирновой знали мы лично Аркадия Осиповича (скончавшегося сенатором в Москве). Он до конца сохранил благоговение к памяти Пушкина, который, высоко ценя сестру, любил и ласкал ее молодых братьев. А. О. Россети вспоминал нередко, как обедал он у Пушкина, когда принесли (в конце 1836 года) письмо от Дантеса-Геккерна. Прочитав его, Пушкин через стол подал его старшей своей свояченице, Екатерине Николаевне, промолвив: «Поздравляю!» Та, как только пробежала письмо, стремительно кинулась из-за обеда к себе в комнату. Оказалось, что красавец-кавалергард просил ее руки. Стали толковать, что она переселится в дом к голландскому посланнику (старому холостяку) и будет играть роль хозяйки, т. е. принимать дипломатов. Свадьба совершилась в первых числах января следующего года; но до того времени жених так дурно вел себя, что Пушкин не принял молодых и некоторое время запрещал Наталье Николаевне бывать у сестры. — А. О. Россет участвовал в перенесении тела со стола в гроб. «Удивительно был легок!» — припоминал он.

К фразе: «Горько его оплакивать; но горько также и знать, что светское общество (или по крайней мере некоторые члены его) не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлобляется против его трупа». Нам известно, что в числе их была графиня Нессельроде.

Живы еще лица, помнящие, как С. С. Уваров (воспитанник аббата и выученик князя Адама Чарторижского, а тогда угодник графа Бенкендорфа) явился бледный и сам не свой в Конюшенную церковь на отпевание Пушкина, и как от него сторонились. Он и его положение припомнились нам недавно на отпевании И. С. Аксакова, при виде одного писателя, который был тоже совсем растерян и от которого тоже сторонились.

К фразе: «Вот что он сделал: вдове и детям он уже дал пенсию в 11.000 рублей и оказал им еще много других милостей, вполне обеспечивающих будущность семейства».

Д. В. Дашков передавал князю Вяземскому, что Государь сказал ему: «Какой чудак Жуковский! Пристает ко

мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?»

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО АНГЛИЙСКОГО КЛУБА»

В палате Английского клуба —
Народных заседаний проба —
Онегин, в думу погружен...

Пушкин¹

Пушкин, в краткие сроки своего московского жития, посещал Английский клуб, в котором в его время соединились главные представители московской знати и образованного общества. До 1833 года он был и его членом (как видно из письма его к жене от 27 августа этого года). Клуб находился тогда уже в нынешнем своем помещении на Тверской. «Львы на воротах», упоминаемые в «Евгении Онегине» при описании Москвы, и до сих пор уцелели. Здание это, ныне принадлежащее П. И. Шаблыкину, воздвигнуто графом Львом Кирилловичем Разумовским еще до 1812 года². Выражение Пушкина *палата* вполне соответствует обширности и красоте этого дома, хотя Пушкин в этом случае играет словом и намекает на политические прения Английской палаты лордов. В приведенных выше стихах, конечно, рисовался его воображению приятель его Петр Яковлевич Чадаев; он почти ежедневно проводил в Московском Английском клубе досуги холостой своей жизни, и многие черты Чадаева, как известно, Пушкин придал своему Онегину (напр., в описании кабинета и образа жизни). К тому же Чадаев в клубе не играл в карты, а постоянно был центром кружка людей, обсуждавших тогдашние дела. То было время, когда и Государь Николай Павлович иной раз справлялся, что говорят о той и другой правительственной мере в Московском Английском клубе. Позднее написаны и стихи о том, начинавшиеся так:

Чета московских краснобаев,
Михаил Федрович Орлов
И Петар Яковлич Чадаев
Витийствуют средь пошляков...

Хотя и Пушкин относился иронически к этим политическим толкам, тем не менее Московский Английский клуб

несомненно имел видное общественное значение, и неч которые черты его истории могут быть любопытны. У А. Н. Столпакова сохранилась тетрадь, под нижеприводимым заглавием, составленная, вероятно, кем-нибудь из членов клуба. Приводим из нее выдержки. Надо заметить, что Московский Английский клуб основан, по преданию, еще при Екатерине. Павел приказал закрыть Английские клубы в Москве и Петербурге, вероятно, вследствие разрыва нашего с Англиею в последние месяцы его царствования. При Александре Павловиче клуб возобновился.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ «ПИСЬМА ЖУКОВСКОГО К ПУШКИНУ»¹

Жуковский и Пушкин — люди не только разного, но почти противоположного характера. В стихах и жизни Пушкина ощущается пыл и зной Африки, по свидетельству лиц, близко наблюдавших его, он иногда чувствовал такую горячность и приливы крови, что должен был освежать себе голову водою, для чего вдруг посреди оживленной беседы убежал в другую комнату. Вертлявый и непосестный, Пушкин был весь жизнь и движение. Мать Жуковского — турчанка из нынешней Бессарабии, и в сыне ее сказались тихая, задумчивая созерцательность турецкого племени. По природе своей Жуковский был ленив и неподвижен, охотно привязывался к месту и обстановке, мог проводить целые часы на диване, потягивая трубку, и самый голос у него был протяжно-медлительный, а движения всегда спокойны. В беседе — добродушие и нередко затейливая шутка у Жуковского; краткое, меткое и заостренное слово у Пушкина. К несходству нрава присоединялась и разница возраста: один другого старше был на тринадцать лет. И несмотря на это они связаны были тесною дружбою. Их уравнивало и соединяло единство призвания, и оба они оставили нам собою высокий пример верности этому призванию.

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв².

Пушкину, при всех его увлечениях и шероховатости в сношениях с людьми, Жуковский оставался голосом совести и непререкаемой святости. Чертовски-небесная

душа, говаривал он про него. Жуковский, уже покрытый славою в то время, когда возникал Пушкин, исполнился безграничной любви к его гению и в течение всей его жизни охранял и лелеял его своею заботою.

К сожалению, переписка их дошла до нас не вполне. Немногие письма Пушкина к Жуковскому теперь собраны в изданиях его сочинений. Письма Жуковского печатаются в первый раз. Мы уверены, что со временем отыщутся они в большем количестве.

Повторяем сказанное нами в другом месте: список добрых дел Жуковского разнообразнее и обильнее списка его сочинений.

Сверчок — шуточное прозвище Пушкина в арзамасском обществе, избравшем его своим сочленом, когда он еще был в Лицее. Вигель говорит, что члены Арзамаса смотрели на выпуск Пушкина из Лицея «как на торжество, особенно Жуковский, восприемник его в Арзамасе, казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо». Сверчок поминается в балладах Жуковского, откуда арзамасцы брали себе прозвища. «В некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами подавал он оттуда свой звонкий голос» (Вигель, **Воспоминания**, V, 52).

В ту пору благочестивого государственного фарисейства особенно деятельно занимались вскрытием чужих писем. В 1824 г. Пушкин потерпел исключение из службы и вторичную ссылку на основании перехваченного письма его из Одессы в Москву, к князю Вяземскому³.

Пушкин просил Жуковского пристроить в Петербурге малолетнюю сироту Родосю Сафианос, дочь грека, павшего в Скулянской битве за освобождение Греции (1821): она воспитывалась у бессарабской вице-губернаторши Крупенской. Нам неизвестно, успел ли Жуковский что-либо сделать в ее пользу.

Родившийся 26 мая Пушкин по общему и до сих не совсем оставленному обычаю считался именинником в ближайший ко дню его рождения день того святого, именем которого он назван: 2 июня память Александра, архиепископа Константинопольского.

На придворных балах Пушкину бывало просто скучно. Покойная Л. Д. Шевич передавала нам, как стоя возле нее, полузевая и потягиваясь, он сказал два стиха из старинной песни:

Неволя, неволя, боярский двор.
Стоя наешься, сидя напишься.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ «РУССКОГО АРХИВА»

Зимой 1836—1837 г. на одном из петербургских больших вечеров граф Владимир Федорович Адлерберг увидел, как стоящий позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий (впоследствии известный генеалог) кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами. В это время в петербургском обществе уже ходили безымянные письма, рассылаемые к приятелям Пушкина для передачи ему и содержавшие в себе извещение о поступлении Пушкина в так называемое общество роконосцев¹. Граф Адлерберг знал о том. Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на Кавказ и подрасть с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу (который тогда был главнокомандующим гвардейского корпуса), и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал и своим остроумием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную графом Адлербергом, не успели привести в исполнение.

(Слышано от покойного графа В. Ф. Адлерберга)

В начале своего долголетнего издательского поприща покойный А. А. Краевский работал у Пушкина в 1836 году и заведывал корректурами пушкинского «Современника». Очень вероятно, что Пушкину на него указал М. П. Погодин, у которого Краевский слушал лекции Русской истории в Московском Университете и потом долго находился с ним в сношениях (как ныне видно из превосходной биографии Погодина, издаваемой Н. П. Барсуковым), а может быть, и сам Пушкин заметил в Петербурге смышле-

ного и трудолюбивого юношу. Как бы то ни было, Краевский часто видался с Пушкиным в последние годы его жизни. Однажды, собираясь в Москву, где у него жила мать (по фамилии фон-дер Пален, державшая довольно известный пансион для девиц) Краевский зашел к Пушкину проститься и напомнил ему его обещание дать стихотворение «Московскому Наблюдателю». Пушкин достал свою тетрадь, вырвал из нее листок и подал его Краевскому. Это были стихи «Последняя туча рассеянной бури»². Прочитав его и складывая, чтобы положить в карман, Краевский видит на обороте листка еще небольшие стихи, но только что он прочел первый стих: «В Академии наук...»³ Пушкин мгновенно вырвал у него листок, переписал посылаемые «Московскому Наблюдателю» стихи на отдельной бумаге, отдал Краевскому, а первый листок спрятал. Краевский помнил, что в последнем стихе было: «Оттого, что есть чем сесть».

Через несколько месяцев Краевский приносит Пушкину корректуру «Современника». «Некогда, некогда,— говорит Пушкин,— надобно ехать в публичное заседание Академии. Хотите? Поедем вместе: посмотрите, как президент и вице-президент будут торчать на моей эпитаграмме».

(Слышано от А. А. Краевского)

Злосчастная эпитаграмма эта, вызванная собственно цензурными преследованиями, имела роковое значение для Пушкина, который столько раз платился и, наконец, поплатился жизнью за неудержимый язык свой. Теперь известна в подробности его житейская обстановка со всею сложною неурядицей денежных и других обстоятельств. Но все могло бы уладиться: Наталья Николаевна соглашалась переехать с ним на житье в Михайловское; не приносивший доход «Современник» сам собою прекращался, тем более, что первоначально разрешен был на один 1836 год; деньги для расплаты крайних долгов тоже нашлись бы. Но как было совладать с самим собой? И в прежние годы случалось ему, можно сказать, захлебываться своим дарованием. Меткое слово, жгучий стих неудержимо вырывались наружу, и сам он потом, в дружеской беседе и в тетради своих заметок, осуждал свою необузданность. В ранней молодости едва не погубила его строфа с описанием ночи на 12 марта 1801 года⁴, и только благодаря ходатайству Карамзина, указавшего в облегчение вины его на стих: «падут преступные удары», удалось

спасти Пушкина от заточения в Соловецком монастыре: он отделался ссылкой на Юг, и в Киеве мог легкомысленно отвечать на вопрос приятеля, как он попал туда: «язык до Киева доведет!»⁵ Через четыре года, уже в полном расцвете дарования, уже известный на всем пространстве России, заклеил он эпиграмму своего начальника, которого внутренне не мог не уважать и про которого потом писал, что ни с кем в России так не легко было служить, как с графом Воронцовым⁶. Следствием была полная ссылка: он отдан под надзор местного дворянского предводителя и соседнего архимандрита*... В 1836 году вооружил он против себя представителей целых ведомств...

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ПИСЬМО БАРОНА ДЕЛЬВИГА К П. А. ОСИПОВОЙ, 1826»

Барон Дельвиг, гостивший у ссыльного Пушкина в 1825 году и принятый как нельзя лучше в селе Тригорском, спешит успокоить П. А. Осипову известием о счастливом обороте в судьбе поэта, который внезапно уехал или скорее был увезен из своего Михайловского с фельдшером в Москву, Государь Николай Павлович 8 сентября обласкал его. В Тригорском трепетали за него, так как не было ничего мудреного, если б он очутился в Сибири.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «НОВОНАЙДЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ А. С. ПУШКИНА. ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ»

Эти до сих пор неизвестные стихи Пушкина найдены в бумагах покойного князя Петра Андреевича Вяземского, в его «Остафьевском Архиве», в конверте, на котором рукою князя Павла Петровича Вяземского означено: «Пушкин А. И. Тургеневу — Послание». Хотя стихи сохранились не в подлинной рукописи, а в современном списке, в котором лишь немногие слова (напечатанные здесь курсивом) вписаны Пушкиным, но принадлежность их Александру Сергеевичу не подлежит сомнению: в них как живой изображен Александр Иванович Тургенев, столь известный читателям по отзывам современников и по многим его письмам в «Русском Архиве».

* Следует доискаться в архивах Св. Синода или Псковской Духовной Консistorии, не сохранилось ли донесений дедушки-игумена об эпитимийце-Пушкине.

Стихи Пушкина молоды, но уже не лицейские. Они написаны через четыре месяца после того, как он покинул царскосельские хранительные сени. В конце августа 1817 года Пушкин, зачисленный на службу в Министерство Иностранных дел, которым заведывал тогда приятель Карамзина, граф Каподистрия (через три года потом заботливо справлявшийся о нем в письме к Инзову), приехал в Петербург из села Михайловского, и для него началась светская, шумно-холодная жизнь, черты которой изображены им в первой песне «Евгения Онегина». Тогдашние произведения его полны страстью. Недаром он поставил эпиграфом к первому собранию своих стихотворений слова Проперция: *Actas prima capat veneres* (в первоначальном возрасте воспевается любовь)*.

Осенью 1817 года, всего 18-ти лет от роду, он явился в заседание «Арзамаса», где получил (конечно, от Жуковского) прозвище «Сверчок»: «спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами подавал он оттуда свой звонкий голос» (Вигель, Записки, изд. «Р. Архива», V, 51). Он приветствовал Арзамасцев остроумными стихами. Шутливо отговариваясь от труда, Пушкин, однако, внял попечительно-дружеским напоминаниям А. И. Тургенева и вскоре занялся первою своею поэмою, «Русланом и Людмилою». Легкий и несколько насмешливый тон этого послания не противоречит сердечному уважению Пушкина к истинно-доброму человеку, который некогда привез его из Москвы¹ и определил в Лицей, был крестным отцом второго его сына Григория Александровича и, наконец, отвез его прах в Святые Горы для вечного успокоения.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ «СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА (1775—1847). ДВА ПИСЬМА О НЕМ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО (к Е. М. ХИТРОВОЙ 2 СЕНТЯБРЯ 1830 г. И К Д. Г. БИБИКОВУ)»

1 сентября 1830 года. Пушкин был в то время женихом. Перед тем скончался в Москве бездетный дядя его Василий Львович, после которого брату его (отцу Пушкина, Сергею Львовичу) досталось в наследство довольно значительное имение, село Болдино. Отец позволил Пушкину заложить это имение и полученные деньги

* Эпиграф имел и продолжение: *extrema dumultus* (в более позднем — смятение) (лат.) — *Сост.*

взять себе на свадьбу. Вот причина поездки Пушкина в холеру 1830 г. в Болдино, которое, как и Михайловское, навсегда прославлено пребыванием поэта¹.

Покойный С. А. Соболевский любил вспоминать о своей поездке в прекрасное Архангельское вместе с Пушкиным. Они ездили раннею весною, верхами, и просвещенный вельможа Екатерининских времен встретил их со всею любезностью гостеприимства².

РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ

(Из записных книжек «Русского Архива»)

Достопочтенный академик и профессор Анучин, на основании напечатанного в «Русском Архиве» (1891, II, 101) прошения Авраама Петровича Ганнибала императрице Елисавете о даровании ему российского дворянского достоинства, произвел крайне любопытные этнографические разыскания с целью доказать, что «Арап Петра Великого», а следовательно, и его правнук А. С. Пушкин были происхождения абиссинского¹. Если это так, в таком случае надо предположить, что Петр Великий не знал про то, что между Абиссинией и Ганнибалом Карфагенским, имя которого он дал своему крестнику, нет ничего обшего².

Как ни далеки от нас абиссинцы (эти доблестные черногорцы Восточной Африки), но в нашем Посольском Приказе, конечно, знали о них несколько больше, чем даже в недавнее время (до царствования Александра III-го) в нашем Министерстве Иностранных Дел. Надо бы поискать в архивах, не писал ли цареградский резидент Вишняков Ф. А. Головину или Г. И. Головкину о посылке Арапчонка Государю, любившему всякого рода редкости и особенно так называемых «монстров», о доставлении каковых в Петербург был даже издан особый царский указ. Если купленный Вишняковым в Царьграде и посланный к Петру Великому чернокожий мальчик был абиссинец, то зачем было крестить его: ведь абиссинцы одного с нами исповедания, и мудрено, чтобы Петр Великий не слышал о сношениях Абиссинского негуса с царем Алексеем Михайловичем.

А. С. Пушкин напоминал лицом своим американских так называемых метисов, т. е. людей, происшедших от

европейской и негритянской крови. Некто, живший в Америке, приехавший в Россию, изумлялся сходству знакомого ему метиса с одним из сыновей нашего поэта³.

Д. Н. Анучин в статье своей («Русские Ведомости», 1899, № 134) называет г-на Юни, у которого куплен был князем Оболенским портрет А. П. Ганнибала, **торговцем-антикварием**. Это неверно: статский советник Юни, умерший в глубокой старости в Москве в собственном доме на Покровке, ничем не торговал. Я лично знал его и видел у него этого портрет, который, по его словам, изображает именно «Арапа Петра Великого», а не его сына⁴.

Александр Сергеевич однажды пришел к своему приятелю И. С. Тимирязеву. Слуга сказал ему, что господа ушли гулять, но скоро возвратятся. В зале у Тимирязевых был большой камин, а на столе лежали орехи. Перед возвращением Тимирязевых домой Пушкин взял орехов, залез на камин и, скорчившись обезьяною, стал их щелкать. Он любил такие проказы. (Слышано от Софьи Федоровны Тимирязевой.)

Напомним, что по словам Елисаветы Александровны Пушкиной († 1897), вдовы Льва Сергеевича, у свекрови ее Надежды Осиповны ладони были с желтыми пятнами.

Пыл Африки и трезвость Великороссиянина — вот Пушкинская поэзия. Стих его горяч и в то же время соразмерен. Чувствительность управлена разумом. Даже такие лица, как переводчик Св. Писания на русский язык, духовный подвижник, миссионер Алтайский Макарий писал в Св. Синод, что с закрытием библейских обществ наше общество вместо слова Божия увлеклось чтением стихов Пушкина, про которые он отозвался: слова часто гнилые, но для ветхого человека **необычайно сладостны**.

Пушкин говаривал про Д. В. Давыдова: военные уверены, что он отличный писатель, а писатели про него думают, что он отличный генерал. (От князя А. Ф. Голицына-Прозоровского.)

Молодой лейб-гусар граф А. В. Васильев в Царском Селе очень ранним утром ехал на ученье мимо дома Китаевой, где жил Пушкин, знавший его, как и многих других офицеров, Пушкин увидел его в окно и позвал к себе.

Перед тем появился в печати «Конек-Горбунок». «Этот Ершов,— сказал Пушкин графу Васильеву (который тоже писал стихи),— владеет русским стихом точно своим крепостным мужиком»⁵.

Выражение Пушкина про небо с кучевыми редкими облаками: **небо простоквашей.**

Аркадий Осипович Россет (брат А. О. Смирновой) в последние годы жизни Пушкина часто бывал у него. В ноябре 1836 года, когда он у него обедал, принесли письмо от Дантеса, который заявлял о своем желании жениться на старшей свояченице Пушкина, Екатерине Николаевне Гончаровой. Пушкин тут же, через стол, подал ей это письмо и ее поздравил. Та вспыхнула и убежала из столовой. Это была старшая из трех сестер. (Наталья Николаевна была средняя.)⁶

Россет переносил Пушкина с дивана, на котором он умер, на стол. Вспоминая о том, он прибавлял: «Как был он легок!»

По словам Россета, Пушкин, играя в банк, заложит, бывало, руки в карманы и припевает солдатскую песню с заменою слова **солдат**:

Пушкин бедный человек,
Ему негде взять.
Из-за зэтва безделья
Не домой ему идтить...

Известный богач Иван Алексеевич Яковлев писал Николаю Алексеевичу Муханову из Парижа от 8 (20) декабря 1829:

«Благодарю за несколько слов о Пушкине. Если он не уехал в деревню на зиму, то кланяйтесь поэту-герою. Он чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут. Помнит ли он прошедшее? Кто занял два опустевшие места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто **держит** известные его предложения и внимает погребальному звуку, производимому его засученною рукою по ломберному столу?»

Владимир Алексеевич Муханов писал своему брату Николаю из Москвы от 27 марта 1830: «Ушакова меньшая идет за Киселева... О старшей не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякой день почти»

От 1 мая того же года: «Пожалей о первой красавице здешней Гончаровой... Она идет за Пушкина. Это верно и сказывают, что он написал ей стихи, которые так начинаются:

Я пленен, я очарован,
Я совсем огончарован.

28 февраля 1825. Москва, Н. В. П<утята> пишет к Н. А. Муханову о Пушкине по поводу появления в печати первой песни Онегина: «Ах, ножки, ножки!» Но за эти ножки достанется Пушкину от оскорбленного самолюбия наших соотечественниц... Тех великих и глубоких мыслей, того верного познания сердца человеческого, сильной душевной мрачности, даже той нежной чувствительности, которая местами вырывается у Байрона, мы не находим у Пушкина, особенно в Онегине. В самих чувствах любви у сего последнего мы видим только что развращенное, доказывающее, что он истинно не постигал сих чувств, которые в его сочинениях являются одними порывами бесшного желания. Евгений так же похож на Чайльд-Гарольда, как накоротко остриженные либералы на Фокса и Бентама. В деревне он, может быть, исправится с помощью Тани и нянюшек ее, перестанет подражать моде, сделается Русским и более оригинальным»⁷.

ИЗ «НЕСКОЛЬКИХ ЗАМЕЧАНИЙ О ПУШКИНЕ»

...Главное достоинство учреждения состояло в том что лицеисты были связаны между собою тесною дружбою, которая и осталась между ними на всю их жизнь. Подглядывание друг за другом, желание отличиться перед начальством почитались гнусными. Известен анекдот о том, что однажды император Александр Павлович, войдя в класс, спросил: «Кто тут первый?» — «Здесь нет первых,— воскликнул отрок Пушкин,— здесь все вторые». Может быть, это и выдуманно, но самая выдумка есть показание важное для истории русской педагогики. А что изъянов в воспитании было много, это не подлежит сомнению: в числе старшей лицейской прислуги или так называемых «дядек» находился в течение двух лет при Лицее молодой Константин Сазонов, совершивший, по словам барона М. А. Корфа, «шесть или семь убийств в Царском Селе и его окрестностях».

Подобные дядьки, конечно, не затруднялись помогать лицеистам в покупке вина и в чем другом.

Значение прислуги мало оценивается в наших биографических разысканиях, а между тем, несомненно, что иной раз прихожие и девицы в отношении воспитательного бывают важнее гостиных и более прибранных комнат.

Не от одной няни своей Арины Пушкин учился чистоте русской речи; по уму своему он с ранних пор ценил даровитость безграмотного простонародья, а по живому и глубоко доброму своему нраву легко сходился с мужиками, дворниками и вообще с прислугой. Позднее знавали мы прекраснейших людей, твердивших о народности и о нашей от нее отчужденности и затруднявшихся беседовать с селянином-крестьянином. Не таков был Пушкин. У него были приятели между лицейскою и дворцовою царскосельскою прислугою. Покойная княгиня В. Ф. Вяземская рассказывала, как в первые месяцы супружеской жизни напугал Пушкин молодую жену свою, ушедши гулять и возвратившись домой только на третьи сутки: оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из Царского Села на починку в Петербург подсвечники и лампы, разговорился с ними и добрался с ними до Петербурга, где и заночевал.

От царскосельских старожилов Пушкин еще в Лицее мог наслушаться преданий об Екатерининском и Павловском царствовании, да и о том, что делалось при Александре Павловиче. Нельзя довольно пожалеть, что он сжег свои Записки, сохранив из них только несколько листков (о чем писал князю П. А. Вяземскому 14 августа 1826 года). Трагическая судьба Павла Петровича не могла не быть предметом его долгих и частых дум, а также позднее бесед с гр. Ланжероном в Одессе, когда сей легкомысленный генерал давал ему читать письма Александра Павловича, писанные к нему в царствование Павла. Известно, что Пушкин замыслил написать отдельное произведение под заглавием «Павел Первый». Что касается до самого Александра Павловича, то зоркий отрок Лицея имел всю возможность наблюдать его и за ним из окон своей комнаты, выходявших прямо на широкий дворцовый подъезд; и в церкви, и в садах, в которых любил подолгу прогуливаться Государь и которые были прозваны его «Зеленым кабинетом». Внимание молодого Пушкина следило за «нашим Агамемноном» и в торжественных появлениях, и в поездках в Баболовский дворец. В рукописях Пушкина сохранился

довольно схоже набросанный им портрет Государя, воспроизведенный в нынешнем академическом издании сочинений его. Позднее Пушкин изобразил его в стихах, озаглавив «К бюсту завоевателя»; стихи эти были плодом его долгих дум о Государе, но он при жизни не оглашал их, так как умел ценить и светлые стороны его личности и близко знал причины его недостатков.

Простим ему гоненье:
Он взял Париж и создал наш Лицей.

Сколько в этих стихах, тоже Пушкиным не оглашенных, высокого сердечного благородства!¹

Мы уверены, что перед Пушкиным и его наблюдательностью не скрылись те психологические осложнения, которые только в наши дни начинают вскрываться в характере удивительного Государя, недаром названного в Бородинской поминке В. А. Жуковского «мира светлая звезда». И Государь не мог не обращать внимания на мальчика-Пушкина, о котором с самого 1814 года говорил уже весь Лицей, а в следующие годы все Царское Село. К тому же и внешнею своею, подвижною, тем, почему А. О. Смирнова впоследствии так метко прозвала его «искрою», Пушкин резко выделялся в среде товарищей. На лицейском акте 1815 года, когда Державин обнял Пушкина, Государь не присутствовал, находясь на Венском конгрессе, равно и на выпускном экзамене в июне 1817 года, но, возвратившись окончательно из чужих краев и проводя подолгу даже и зимнее время в Царскосельском дворце, он имел нередко случаи слышать про Пушкина, хоть бы по поводу княжны В. М. Волконской, за которой по ошибке приволокнулся Пушкин². Известно, что Александру Павловичу нравился простой быт зажиточных чужестранцев. Его воспитатель Лагарп был женат на дочери петербургского банкира Бентинка. В Петербурге Государь ездил пить чай к банкиру Ливпо, в Царском бывал у придворного банкира португальца Велио и его супруги, брат которой преподавал музыку в Лицее и вечера которой оживлял своим присутствием лицеист Пушкин³. Велио могли передавать Государю про остроумные выходки и шутки, на которые был Пушкин такой мастер. Вот почему Государь несомненно огорчился, когда через три года по оставлении Пушкиным Царского Села петербургский генерал-губернатор граф Милорадович привез ему запрещенные его стихи, в числе их столь яркое описание центральной в жизни Государя ночи:

Молчит неверный часовой,
Опущен тихо мост подъемный.

В этой удивительной строфе слышался Александру Павловичу голос потомства, и ему было горько, что ничем не выражена была его неповинность, непризнание которой у нас и в чужих краях составляло предмет постоянной, до самой кончины, муки его чудесного сердца, с детства уязвляемого разного рода противоречиями⁴.

ПРИМЕЧАНИЯ И ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ПИСЬМУ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ГРАФИНЕ Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ».
16 ФЕВРАЛЯ 1837 ГОДА¹

Знаменитый историк Барант был тогда послом Людовика-Филиппа в Петербурге. Он ходил поклониться телу Пушкина и, говорят, отзывался, что общенародное чувство, сказавшееся по кончине поэта, походило на то, которым одушевлялись русские в 1812 году. Состоявший при его посольстве виконт Даршиак, секундант Дантеса, через несколько дней после поединка уехал в чужие края, оставив князю Вяземскому, по его просьбе, письмо о происшедшем.

Письмо князя Вяземского к А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г., извещавшее Москву о кончине поэта, ее уроженца, помещено в «Русском Архиве», 1879 (II, 243 и след.). В дополнение к нему супруга князя Вера Федоровна передавала нам (в Гамбурге, в 1875 году), что вечером 26 января 1837 года, в отсутствие князя, пришел к ней на минуту Пушкин и сказал ей, что будет драться с Дантесом. У княгини сидели В. А. Перовский и граф М. Ю. Виельгорский. Втроем они долго совещались, как быть, и до глубокой ночи ждали возвращения домой князя Петра Андреевича, который засиделся у Карамзина и на другое утро встал очень поздно. (Привычка Карамзиных не ложиться спать до бела дня не раз доводила до бед.)

Князь и княгиня Вяземские до конца долгих дней своих говорили о Пушкине с сердечным скорбным одушевлением, чему приходилось пишущему эти строки быть неоднократно свидетелем. Стихи князя на смерть Пушкина принадлежат к наилучшим его произведениям. (См. Пол-

ное собрание сочинений его, издание графа С. Д. Шереметева, IV, 207.)

Исполняя завет умиравшего мужа (*tache qu'on tóublie**), Н. Н. Пушкина уехала сначала в Полотняный завод, потом поселилась в Михайловском (где навестил ее князь Вяземский)², возвратилась в Петербург через несколько лет для обучения четверых своих детей и в 1844 году вышла замуж за конногвардейца П. П. Ланского, исполняя другой предсмертный завет Александра Сергеевича: *puis remarie-toi***.

Геккерн, голландский посланник, со своим усыновленным Геккерном-Дантесом и его супругою Екатериной Николаевной жил на Невском, в доме Влодека, где ныне Пассаж. Император Николай Павлович не дал ему прощальной аудиенции, а позднее, когда он был послом в Вене, на и тамошний посол барон Медем не захотел с ним видаться.

В нынешнем году П. фон Кауфман издал особой книгою Военно-судное дело о поединке Пушкина (с соблюдением правописания подлинника, так что вспоминается двухстишие: «бывало, важный генерал служил и грамоте не знал»)³. Дело это началось 3 февраля и продолжалось до 19 марта месяца 1837 года. Его вела особая комиссия военного суда при конногвардейском полку. 25-летний убийца († 4 ноября н. с. 1895 г. в Сульце, в Эльзасе, сенатором) показал себя французским дворянином, уроженцем Колмор-Альзаса, где за родителями его было недвижимое имение. Он учился в Королевской Сен-Сирской школе и к нам поступил на службу 8 февраля 1834 г. В день брака своего с Е. Н. Гончаровой он причащался св. тайн в католической церкви. Пушкин с женою (и, вероятно, с ее сестрою Александрою) был у него на свадьбе. Накануне поединка Пушкин, на балу у графини М. Г. Разумовской, предлагал быть у него секундантом состоявшему при Английском посольстве Мегенсу, но тот отказался. На суде аудитор Маслов 14 февраля подал голос о том, чтобы вдовы Пушкина истребовали объяснений и записок, которые она получила от Дантеса, но комиссия не пожелала «без причины оскорбить ее». Любопытно, что во всем деле Пушкин называется не камер-юнкером, а камергером. До-

* постарайся, чтобы о тебе забыли (*фр.*).

** потом снова выходи замуж (*фр.*).

прашивали только Дантеса и инженер-полковника Данзаса. Секундант Дантеса виконт Даршиак, как принадлежащий к дипломатам, не был вызываем, а читалось только письмо его о поединке, написанное им для князя П. А. Вяземского. В числе бумаг о поединке, переданных нам в 1875 году князем Петром Андреевичем (ныне многократно напечатанных), находится следующая записка к нему Даршиака: «*Soyez assez bon, mon prince, pour me donner par écrit des nouvelles. Vous apprécierer le scrupule qui m'empêche d'aller vous en demander en personne. Agruz l'assurance de ma haute considération. D'Archiac. Vendredi, matin*», (т. е. будьте добры, князь, известите меня письменно. Вы оцените, что препятствует мне быть у вас, чтобы спросить о том лично. Примите уверение в моем высоком почтении. Даршиак. Пятница утром). К чему именно эта записка относится, не знаем. Поединок Пушкина может быть предметом особой большой книги.

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА ИЗДАНИЕ «СТАРИНА И НОВИЗНА. ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК, ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ ОБЩЕСТВЕ РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го». КН. 3, СПБ, 1900. 370 с.

В этой книге, преисполненной любопытнейшими показаниями, напечатаны, между прочим, три письма о смерти Пушкина. От этой смерти содрогнулась Россия. Тогдашний французский посланник при нашем дворе граф Барант говорил, что тут сказалось ему русское народное чувство, то самое, которое проявилось в Отечественную войну <...>.

А. О. Смирнова метко прозвала Пушкина искрою. Да, Пушкин и Глинка это божественные искры, выбитые из груди России Европейским нашествием 1812 года. Смерть Пушкина была таким событием, что австрийский посол при дворе нашем граф Фикельмон счел нужным известить о ней князя Меттерниха. Приводим выдержку в русском переводе: «Император призвал к себе господина Жуковского и сказал ему: «Пушкин был голова горячая, что доводило мысли его часто до крайностей. Я прикажу, чтобы все его бумаги были переданы вам. Сожгите из них все, что хотите, я не хочу о том знать, и сберегите, что найдете достойным»¹.

Писавший мог быть хорошо осведомлен о всем, что касалось Пушкина, через супругу свою, графиню Дарью Федоровну, и тещу, вдову Елисавету Михайловну, которая и жила у него. Обе любили и почитали Пушкина, ко-

торый бывал очень близок с графинею Д. Ф. Фикельмон². Говоря про убийцу Пушкина, граф Фикельмон замечает, что покрыты тайною причины, по которым Геккерн усыновил Дантеса, дал ему свое имя и обеспечил благосостояние (*assuré sa fortune*). По кончине Пушкина Государь выразил желание, чтобы Голландия отозвала из Петербурга Геккерна, и не дал ему обычного прощального свидания. Он переехал посланником в Вену, где и умер в глубокой старости. Не найдется ли чего-нибудь о Пушкине в его бумагах? Они перешли, конечно, к его усыновленнику, о котором в примечании к письму графа Фикельмона сказано, что он родился 5 февраля н. с. 1812 года (следовательно был на полгода старше Натальи Николаевны Пушкиной).

Второе письмо о смерти Пушкина писано из Москвы к князю П. А. Вяземскому поэтом Баратынским. Оно поистине прекрасно и служит лучшим опровержением взведенной недавно на Баратынского клеветы, будто он снедаем был завистью к Пушкину. «В какой внезапной неблагоприятности к возникающему голосу России Провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждою? Я навестил отца в самую ту минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить, наконец, на общие весьма неубедительные увещания сказал: «Мне остается одно — молить Бога не отнять у меня памяти, чтобы я его не забыл». Это было произнесено с раздирающею ласковою». Отец Пушкина, вдовец, жил тогда в Москве.

Третье письмо — князя П. А. Вяземского к графине Э. К. Мусиной-Пушкиной. Оно уже появилось в переводе и с примечаниями в «Русском Архиве». Оно необыкновенно содержательно и полно внутренней силы и глубокой искренности. На погребальном выносе Пушкина из Конюшенной церкви, когда вся обширная площадь перед нею была сплошным ковром голов, рыдающий князь Вяземский лежал простертый на церковном полу. Сын его, тогда 17-летний юноша, во время, как боролся со смертью великий поэт, не покидал его квартиры. В 70-х годах, уже в глубокой старости, живучи в Гамбурге, князь Петр Андреевич и его княгиня вспоминали о Пушкине с живою сердечною скорбью.

В наших словесных и бытовых преданиях за вторую четверть XIX века имя Нашокина связано с именем Пушкина. Нашокин был одним из немногих искренних друзей Пушкина, который к нему мог относить стихи свои:

Кто клеветы про нас не сеет,
Кто нас заботливо лелеет,
Кому порок наш не беда,
Кто не изменит никогда².

Человек ума необыкновенного и душевной доброты несказанной, Нашокин оставил по себе такую память, что вдова его могла пользоваться ею в течение с лишком полувека. Он — родной внук боевого генерала Аннинского и Елизаветинского царствований, оставившего известные *Записки* (напеч. в «Русском Архиве» 1883), и сын того, тоже военного, человека, который получил печальную известность, нанеся оскорбление действием великому Суворову в ответ на его чудачливые приставания. Павел Воинович Нашокин рано лишился отца; мать его Клеопатра Петровна, урожденная Нелидова, умерла в 1828 году, оставив ему богатое наследство. Знакомство его с Пушкиным началось еще в Царском Селе, где Нашокин воспитывался в Лицейском пансионе вместе с братом Пушкина; подружился же они в Москве, по возвращении Пушкина из ссылки. Жизнь Нашокина состояла из переходов от «разливанного моря» (с постройкою кукольного домика в несколько тысяч рублей) к полной скудости, доходившей до того, что приходилось топить печи мебелью красного дерева. Он прожил несколько больших наследств. Пишущий эти строки довольно близко знал Нашокина в последние три года его жизни, бывал у него в бедной его обстановке (у Неопалимой Купины) и потом в богатом доме на Плющихе, где происходили крестины последнего сына его, крестным отцом которого был позван попечитель учебного округа Назимов. Вскоре затем 6 ноября 1854 г. Павел Воинович скончался, коленопреклоненный, на молитве, 54 лет от роду. Он похоронен на Даниловском кладбище, за Даниловым монастырем. Письма его к Пушкину наглядно изображают Нашокина и в то же время служат к биографии самого Пушкина. Выдержки из них были напечатаны нами при письмах к нему Пушкина в первой книге сборника «Девятнадцатый век» (1872). Здесь письма Нашокина помещаются все.

Русские люди вправе ожидать от Академии наук, чтобы Пушкин ею был издан так же, как Державин, т. е. не с разночтениями только по черновым рукописям и первоначальному печатному изводу, а с историческими и жизнеописательными примечаниями¹. Некоторые исследования о Пушкине страдают мелочностью, над которою посмеялся бы сам Пушкин (вспомним его стих: «Умно иль нет я мог соврать»). Всего важнее восстанавливать произведения поэта, как они были приготовлены им самим к оглашению, или как он что написал, но не мог напечатать по условиям цензурным или каким иным. Так, например, Онегина и Ленского в их деревенских беседах занимали, конечно, не племен минувших **договоры, а заговоры**. Тогдашнее юношество знало все подробности Французской революции, а договоры политические не могли занимать молодых друзей². Необходимо разыскать стихи **Медного Всадника** с упреками Петру Великому относительно его преобразований (они были у А. И. Россета, одиноко умершего в Москве, и надо искать их в его бумагах, оставшихся у его слуги-иностранца)³, или прощание с молодостью и покаяние в грехах ее, которое Пушкин читал накануне своей свадьбы, на так называемом **мальчишнике** и про которые живо вспоминал один из слушателей, И. В. Киреевский.

Кратковременная жизнь Пушкина полна содержания внутреннего и сплетается со всем, что происходило в тогдашней государственной, общественной и умственной жизни России. Он имел право сказать про себя, что его деятельность в последние годы царствования Александра Павловича имела более значение, нежели деятельность современного правительства. Надлежащее издание Пушкина есть дело нашего народного самосознания.

Почин к такого рода изданию, т. е. во всей его жизненной обстановке, сделан молодым ученым, которого труды нельзя не приветствовать. Это Б. Л. Модзалевский, делопроизводитель вышеупомянутой академической комиссии. Он ездил летом 1902 года в знаменитое Тригорское и привез оттуда целый ряд любопытных сведений и бумаг о дружественной Пушкину семье Вульфов (родственной Муравьевым), в особенности о представителе ее Алексее Николаевиче⁴. В своих письмах старшей сестре он выразил себя, может быть, полнее, нежели в автобиографии своей, сокращенно изданной Л. Н. Майковым⁵.

Добросовестность собирателя перешла, может быть, через край: кроме каталога Вульфовской библиотеки напечатаны и хозяйственные письма, даже одно 1861 года!

Электрическое имя Пушкина отдает движением и жизнью. А. О. Смирнова метко и верно прозвала Пушкина искрою.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «РОД ПУШКИНА. РАССЛЕДОВАНИЕ Б. Л. МОДЗАЛЕВСКОГО, 24 с., С ЗАСТАВКАМИ, РИСУНКОМ СТРЕЛЬЦА, ПОРТРЕТОМ ПЕТРА ПЕРВОГО РАБОТЫ ШХОНЕБЕКА, АБРАМА ГАННИБАЛА, ДВУМЯ ПОРТРЕТАМИ ЕГО СЫНА ИВАНА И С ГЕРБОМ ПУШКИНЫХ»

Небольшая объемом, но полная содержанием тетрадь, плод неутомимого, добросовестного разыскания. На пишущего эти строки она производит впечатление умиленное: до такой степени в сравнении с нею слаб и беден труд его о том же предмете, некогда пересланный Т. Н. Грановским в «Отечественные Записки» 1853 года. Как же не порадоваться тому, что с тех пор множество добыто новых сведений о предках А. С. Пушкина с обеих сторон, отцовской и материнской. Тень поэта признательна усердным разыскателям. Оказывается, что и в русских дедах Пушкина текла кровь горячая, и дарованную пылкость его можно приписывать не одному только африканскому происхождению. Их «часто волновали страсти!».

На тринадцатом году жизни, покинув Москву и подмосковное Захарьино, Пушкин не был в ней в течение 15 лет (до 8 сентября 1826 г.). Пока он учился в Лицее, отец его служил чиновником военного ведомства в Варшаве. Кажется, с тех пор Пушкины стали проводить летние месяцы в Михайловском, где и похоронена бабушка поэта Марья Алексеевна. (Арап Ганнибал ей свекор.) Сохранилась ли тогдашняя переписка Сергея Львовича с лицеистом-сыном? В 1812 г. Пушкин был у своего деда — дяди Петра Абрамовича Ганнибала, но где именно? Ведь из Лицея воспитанников не отпускали, кажется, даже и в Петербург¹.

Пушкинская родословная со стороны материнской разработана Б. Л. Модзалевским в отличной подробности, надо полагать, что откроются еще новые показания (происхождение абиссинское, на котором настаивает профессор Анучин, не вполне убедительно). Абрам Петров, назвавшийся Ганнибалом только при Анне Иоанновне,

жестоким с первою своею женою гречанкою, жил со второю с лишком 40 лет, по-видимому, мирно, и от нее имел одиннадцать человек детей (из них Софья Абрамовна была за фон Роткирхом: это бабка того фон Роткирха, который служил при укрощении польского мятежа 1861—1863 г. и печатал замечательные статьи о том в «Русском Архиве» под именем Теобальда). Любопытна в Пушкине примесь немецкой крови. Его прабабушка Христина Матвеевна, урожденная фон Шеберх, была, вероятно, доброю хозяйкой и давала возможность своему мужу, ученому африканцу, спокойно заниматься инженерною службою и комендантством в холодном Ревеле.

Относительно Ганнибалова портрета, находящегося в Московском Архиве Министерства иностранных дел, заметим, что портрет этот был приобретен директором Архива князем М. А. Оболенским у некоего Юни, который мог вывезти его из Сибири, где он служил. Ленты на портретах могли быть пририсованы (что, кажется, иногда делалось из тщеславия). Ввиду того, что воспроизведен редкий портрет Петра Великого, полагаем, что в Императорской Академии наук может сохраняться и гравюра того же Шхонебека, на которой изображено бракосочетание Петра с Екатериною и при них две девочки, тоже с коронами на головах: это привенчанье царевен Анны и Елисаветы. Гравюра эта, конечно, была уничтожаема в царствование Елисаветы Петровны. Нам ее показывал, как величайшую редкость, И. М. Снегирев.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА. ИЗД. ИМП. АКАД. НАУК. ПЕРЕПИСКА. ПОД РЕД. И С ПРИМЕЧ. В. И. САИТОВА». Т. I (1815—1826). Спб., 1906, 394 с.

С доброго почина и легкой руки А. С. Суворина Пушкин становится более и более достоянием всего грамотного люда в России.

И назовет его всяк сущий в ней язык...

Сочинения его издаются чуть ли не каждый год. Императорская Академия наук выдала второй том (стихи до 1820 года включительно), над которыми работал В. Е. Якушкин, и, предприняв издание его переписки, поручила оное В. И. Саитову, отлично доказавшему свое умение в этом деле изданием переписки князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым¹. Это наш Сомез.

Чуть из младенческих одежд Пушкин увлекал собою

старших деятелей русского просвещения. Сдержаннее относился к нему Карамзин,

Умевший, не сгибая выи
Пред обаянием венца,
Царю быть другом до конца
И верноподанным России,

некогда, в царствование Екатерины, почитатель и, может быть, знакомец Робеспьера, оплакивавший его гибель. Жгучие вопросы, которыми ныне занята Россия, подняты были уже в дни пушкинской юности. На Карамзина не могла не подействовать эпиграмма Пушкина, в которой сказано, что

Он доказал без всякого пристрастья
Необходимость палача
И прелесть самовластья¹.

Карамзин же записал про себя: *Je méprise les libéraux du jour, je m'aime que la liberté qu'aucun despote ne peut m'ôter* — (презираю современных вольнолюбцев, люблю только такую волю, какую ни один деспот не может отнять у меня). Был и личный повод в отношении к Пушкину. По достоверному преданию супруга Карамзина получила от Пушкина любовную записочку, а той женщине, которой Пушкин назначал свидание, принесено было его же письмо к Карамзиной². Покойный граф Блудов любил вспоминать, что Карамзин показывал ему в Царско-сельском Китайском доме место, облитое слезами Пушкина. Тем не менее Карамзин же спас Пушкина от ссылки в Соловки. Участие Чаадаева было ничтожное, но Государь, вероятно, внял к заступничеству своего друга, князя А. Н. Голицына, у которого правою рукою был А. И. Тургенев³.

С самых первых страниц пушкинской переписки встречаемся с новыми показаниями; так, например, он просит А. И. Тургенева оборонить молодого Соболевского от притеснений Кавелина. Князь Вяземский охлаждает Пушкина относительно Катенина: «как есть честь, истина, так есть и изящность, которой должно служить верою и правдою, и поэтому где и как можно изобличать тех, которые оскорбляют представителей ее» (оскорбление относится до Карамзина). Впоследствии Пушкин разочаровался в Катенине, оставаясь с ним в добрых сношениях, точно так же, как в П. Я. Чаадаеве: напускное, деланное было ему не по душе⁴.

Жуковский, А. И. Тургенев, князь Вяземский раньше

всех оценили расцветшее дарование Пушкина. Издаваемая переписка имеет особенную цену и для жизнеописания поэта, и для нашего исторического времени, так как Пушкин с ранних лет был отзывчив на происходившее вокруг него, и даже из окон Лицея мог следить за тем, что тогда делалось в России и Европе: император Александр Павлович жила подолгу в Царском Селе, даже и зимою, а в Государе русском тогда сосредоточивалась всеобщая политика. Пушкин видел его часто и зорко наблюдал за ним. Сохранился и карандашный набросок его портрета, сделанный Пушкиным⁵.

Князь Вяземский называет Конгрессы «кузнецами оков народных». Пушкин горячо отнесся к Греческому восстанию и в черновом письме к А. Н. Раевскому сообщает о нем подробности. Из письма его к братьям Тургеневым видно, что уже в 1821 году он просил себе пощады, а в Генваре 1822 года надеялся побывать в Петербурге на несколько дней⁷. Где переписка о том? Письмо-фотография минуты, но только минуты, и для полного его понимания нужно знать обстановку. Ее, т. е. примечаний, ждем в следующих выпусках переписки и уверены, что никто из членов академической издательской комиссии лучше В. И. Сайтова не сделает этого.

Время, к которому относится начало изданной Академиею книги, было самое бурное в жизни Пушкина. В доме (сенатора Трофимова у Калинкина моста) царил беспорядок. Отношения к родителю достигали крайнего напряжения. Событьи богачей требовал денег; ему их не давали. Тогда он с пистолетом в руке объявил, что застрелится, и это принято было за пустое утрашение. Пушкин выстрелил в себя; пистолет осекся. Последовал смех. Тогда Пушкин выстрелил в воздух, и оказалось, что пуля была (слышано от И. В. Киреевского). В декабрьской книжке журнала «Былое» за 1906 год напечатана переписка петербургского обер-полицейстера Горголи с начальником Пушкина по его службе в Министерстве иностранных дел П. Я. Убри. Оказывается, что Пушкин в театре наговорил дерзостей некоему Перевозищеву и его супруге (вероятно, это был Дерптский профессор В. М. Перевозищев, женатый на Княжевич)⁸. О той поре вспоминал Пушкин, когда в 1827 году писал про себя: «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве ветренной свободы мои утраченные годы»⁹.

Ведь был он «с кровью в жилах, знойной кровью». Многие, однако, умели так раскаиваться в заблуждениях

молодости. Впоследствии он заботливо пекся о своих хозяйственных родителях, отвез мать свою (о которой доселе имеется в печати очень мало показаний) в Святогорский монастырь* и купил себе могилу поблизости к ней.

Переписка Пушкина (которая займет, конечно, не одну книгу) изобразит его как наилучшая биография. Тут и жгучая африканская кровь, и трезвый толк великорусский, и с молодых лет ясное сознание своего значения для России.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХИ ПУШКИНА ПО РУКОПИСЯМ МОСКОВСКОГО РУМЯНЦЕВСКОГО МУЗЕЯ И ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ. К КРИТИКЕ ТЕКСТА». М., 1907, 98 с.

Изящно изданная книжка, содержащая в себе добросовестный труд по разбору и прочтению черновой подлинной тетради с лицейскими стихотворениями Пушкина. В. Я. Брюсов оказал подлинную услугу всякому, кто дорожит поэзией Пушкина. Им неопровержимо доказано, что даже академическое издание Лицейских Пушкинских стихов полно недосмотров и сделано небрежно. Благодаря В. Я. Брюсову мы теперь имеем целых четыре стихотворения Пушкина в том виде, как они создались у него еще в Лицее. Позднее Пушкин переделал их и улучшил, но они и первоначально прекрасны. Каждый новый звук его лиры есть ценное приобретение родной поэзии¹. К нему можно применить сказанное им же про стихи Жуковского. Чтобы не пачкать рукописи, Жуковский писал иногда на полосках сделанные им изменения и поправки и наклеивал их на то, что прежде было им написано, но иной раз при чтении прежнее нравилось ему больше измененного, и однажды, читая стихи своим приятелям, он сорвал ногтем наклейку и бросил ее под стол. Пушкин полез туда, положил в карман сорванную полоску и сказал: «Что Жуковский бросает, то нам дорого»².

Удивительно, отчего такой библиограф, такой знаток классической, русской и европейской поэзии, как

* Из книги ее внука Павлищева (Павлищев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.— *Сост.*) видно, что любимцем ее был Лев Сергеевич, вдова которого, с его слов, передавала нам, что у Надежды Абрамовны (описка — Осиповны.— *Сост.*) ладони были в желтых пятнах.

В. Я. Брюсов, уже заявивший себя работами по биографиям Пушкина, Баратынского, Тютчева, не состоит в числе лиц, занимающихся в Императорской Академии наук изданием сочинений великого поэта. Пожелаем, чтобы он продолжал свои отлично удавшиеся разыскания и на остальные произведения Пушкина.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА. ИЗД. ИМПЕРАКАД. НАУК. ПЕРЕПИСКА, ПОД РЕД. И С ПРИМЕЧ. В. И. САИТОВА». Т. I (1815—1826). Спб., 1906. 393 с. ТО ЖЕ, Т. 2 (1829—1832). Спб., 1908. 399 с.

В разработке минувшей Русской жизни вполне оценено ныне значение писем, этих минутных, но животрепещущих показателей о времени и о лицах, которые их писали.

Помогая графу Л. Н. Толстому в первом издании его «Войны и мира», мы указывали ему неосновательность в изображении Кутузова (который якобы ничего не делал, читал романы и переваливался грузным старческим телом с боку на бок). Доставлены были графу для прочтения тогдашние письма Кутузова к Д. П. Троицкому, исполненные забот и попечений. Граф Толстой возразил: «в письмах все лгут».

Конечно, не все. Но от художника нечего и ждать полной правды исторической, он должен быть обязательно правдив только в области изящного. Само собой разумеется, что в письмах бывает ложь односторонности, и отдельно взятые, без пояснений, они могут ввести в заблуждение, но лица, поставленные судьбою на виду, платят за свое высокое положение тем, что все, им принадлежащее, подвергается суду «к соблазну жадной» толпы. Так, например, в многотомном издании всего, что осталось своеручного после Гёте, печатаются не только все его письма, самые ничтожные, но даже перечни белья, которое отдавал он мыть прачке. Не без греха в этом отношении и наша братья, архивисты. У нас этим грешили в особенности Тихонравов и Шёнрок относительно Гоголя, не вняв его загробному негодованию. Таковое, пожалуй, испытывает и жена Пушкина по поводу издаваемых ныне его писем. Но эти письма совершенно особого склада, и читатели могут только радоваться их полному появлению в печати, так как ими невольно зачитываешься.

Сколько нам известно, изданию писем с ответами на них

и вообще всей переписки первый у нас пример подав архиепископом Саввою: в Записках своих он приводит полученное письмо и вслед за ним помещает свой ответ на него. Но самая деятельность высокопреосвященного Саввы не выходила из круга духовенства, тогда как Пушкин откликнулся на всякого рода явления современной ему жизни, и что ни писал он, все запечатлено необыкновенным его дарованием.

В. И. Саитов возымел плодотворную мысль издать письма Пушкина вместе с теми, которые он получал, и благодаря этому получается живая, разнообразная и поучительная картина, от которой оторваться жаль, особенно такому усердному любителю и почитателю Пушкина, как пишущий эти строки и теперь, благодаря двум этим книгам, узнающий про него много для себя нового. Отменно любопытны письма князя П. А. Вяземского. Он и его супруга княгиня Вера Федоровна ценили Пушкина чрезвычайно и принимали сердечное участие во всех его нуждах и невзгодах. В особенности княгиня была ему истинным другом (он был у нее накануне своего поединка и передал, что ему предстояло на другой день)¹. Беззаветным его поклонником является и П. А. Плетнев, старательно оберегавший денежные его выгоды. (Иногда тысячи рублей передавал он Пушкину, вырученные за его сочинения.)

Но особенно баловал Пушкина своею привязанностью П. В. Нащокин, безграмотные письма которого очень ценны. Он в них весь, с безобразием своего быта, с художественным чутьем, с постоянным горевшим огнем в душе, с благим помыслом в сердце. К нему мог относить Пушкин свои стихи:

...Кто все дела, все чувства мерит
Услужливо на наш аршин,
Кто клеветы про нас не сеет,
Кто нас заботливо лелеет,
Кому порок наш не беда,
Кто не изменит никогда².

Недаром вдова Пушкина извещала Нащокина о воспитании детей своих.

Для Нащокина не было у Пушкина тайны. Я знал этого необыкновенного человека на склоне его лет. Он так много делал добра, что вдова его долгие годы могла жить пособиями лиц им благодетельствованных. Подобно Американцу графу Толстому, Нащокин умер стоя на коленях

и молясь Богу.— Любопытно, что письма барона Дельвига не свидетельствуют об особенной искренности в его дружбе к Пушкину³, а письма Пушкина к А. Н. Вульфу совсем-таки холодны. Демон А. Н. Раевский вовсе не так ядовит, как про него думали (он и младший его брат не схожи друг с другом и внешнею, и нравом: первый в деда своего Грека Константинова, второй — в Самойловых). Чаадаев обличается в своем напускном значении. А. И. Тургенев пишет о нем: «Деликатно хочу напомнить ему, что можно и должно менее обращать на себя и на das liebe Ich* внимания, менее ухаживать за собою и более за другим, не повязывать пять галстухов в утро, менее даже и холить свои ногти и зубы и свой желудок, а избыток отдавать тем, кои и от крупц падающих сыты и здоровы». Тем не менее Чаадаев был, хотя и самовлюбленный, но добрый человек, и разочаровавшийся в нем Пушкин сохранил к нему дружеское чувство.

На 123 стр. 2-го тома Переписки находим любопытное указание на то, что сношения Пушкина с Филаретом продолжались и после известного обмена стихотворениями⁴. Тут посредницею была дочь князя Кутузова, Е. М. Хитрово, достойная благодарной памяти потомства за свою восторженную привязанность к этим гениальным людям. Оказывается, что отношения к графу Бенкендорфу не были так угнетательны для Пушкина, как обыкновенно думают у нас⁵, а про императора Николая Павловича (одаренного чувством изящного) и говорить нечего: он спас поэта от ссылки в Сибирь, приказав затушить дело об известной поэме: «Ты зовешь меня в Пензу, — писал Пушкин князю Вяземскому 1 сентября 1828 г., — а того и гляди, что я поеду далее, прямо, прямо на Восток». Шла война, и Государь в это время находился в Турции. Тут, может быть, действовал Жуковский через князя А. Н. Голицына, и в переписке сего последнего с Государем надо искать разъяснения для истории Гаврилады.

С нетерпением ожидаем третьей книги этого превосходного издания. Бог в помощь В. И. Саитову!

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ПОЕДИНКЕ И КОНЧИНЕ ПУШКИНА

В Москве у Власия, в одном из переулков долго проживала в своем доме девица Александра Ильинична Не-

* любимое Я (нем.).

федьева, близкая родственница и друг А. И. Тургенева, который у нее и скончался и по смерти которого († 1845) письма его были пересланы в Париж к его брату, известному якобы декабристу Николаю Ивановичу¹. Сын сего последнего, ваятель, Петр Николаевич бережно сохранил его бумаги и, приведя в порядок с помощью старичка Литвина Домейки (жившего в пресловутом польском дворце князей Чарторижских), не отказывал в сообщении их нашим изыскателям истории и словесности. Так в 1902 году, приняв кратковременное участие в разборе этих драгоценных бумаг, получил я от П. Н. Тургенева собрание писем князя Вяземского и передал их издателю его сочинений графу С. Д. Шереметеву. Недавно Императорская Академия наук получила от П. Н. Тургенева большое собрание исторических бумаг и между ними письма его дяди к А. И. Нефедьевой с новыми подробностями о последних днях жизни и о кончине А. С. Пушкина. Драгоценные, почти поденные письма эти ныне изданы в VI-м выпуске академического издания: «Пушкин и его современники»². Тут мы находим множество новых подробностей и дополнений к известному рассказу об этих несчастных для России днях, написанному В. А. Жуковским³. Надо, чтобы издано было и то, что Жуковский писал Пушкину перед его роковым поединком. Сын Жуковского передал эти письма покойному Л. Н. Майкову, и они должны храниться у вдовы его Александры Александровны. Тайна, подобавшая тому, что писано совсем не для оглашения, до такой степени нарушена, что напечатание этих писем уже не произведет соблазна, и эти письма (нами читаемые) дополняют новыми чертами страшную страницу в биографии поэта⁴.

Удивительный был человек этот Александр Иванович Тургенев. Подобно другому холостяку, Крылову, он кушал непонятно, и Жуковский сочинил, что в его желудке помещались «водка, селедка, конфеты, котлеты, клюква и брюква». Обыкновенно после еды, продолжая беседу с приятелями, он засыпал и быстро пробуждался. Грузное тело не мешало ему быть деятельным и подвижным в удовлетворении своей просвещенной любознательности и во всякого рода непоказной благотворительности не только друзьям своим, по преимуществу людям, судьбою так или иначе обделенным. Он постоянно вел свои дневники и обширную переписку со многими лицами (например, письмами его к князю Вяземскому наполнены целых четыре тома). Это был человек благоволения, всепрощения,

высокого благородства. Недаром Филарет, отказывавшийся постоянно от похорон, вызвался лично отпеть его к похоронам в Новодевичьем монастыре. Князь Вяземский говорил, что Тургенев, живучи в Москве, находился «у ног Свербеевой или митрополита». Екатерина Александровна Свербеева написала Жуковскому прекрасное душевное письмо о последних днях жизни Тургенева.

26 января (т. е. накануне поединка) Тургенев видел Пушкина на бале у гр. Разумовской, а за день перед тем провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости: «мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся»; а еще дня за два «провел с ним большую часть утра; мы читали бумаги, кои готовил он для 5-й книжки своего журнала. Каждый вечер видел я его на балах спокойного и веселого»⁵. Но не спокоен он был перед тем на балу у графа Уварова. Покойная графиня Н. В. Строганова говорила впоследствии, что не может забыть зверского выражения в лице его и что на месте его жены ни за что на свете не решилась бы возвращаться домой в одной с ним карете⁶. Граф В. А. Соллогуб писал, что Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему. Накануне поединка Пушкин обедал у графини Е. П. Ростопчиной, супруг которой мне рассказывал, что до обеда и после него Пушкин убежал в умывальную комнату и мочил себе голову холодной водою: до того мучил его жар в голове. 26 числа вечером сидели у княгини Вяземской. В. А. Перовский, граф М. Ю. Виельгорский и еще кто-то. Самого князя не было дома. Вбегает Пушкин, вызывает княгиню в другую комнату и передает ей, что у него назначена дуэль с Дантесом. Княгиня и ее собеседники не знали, как им быть, и, не дождавшись почти до утра, чтобы возвратился князь Вяземский, разошлись. Князь, вероятно, был у Карамзинных, где обыкновенно засиживался последним... Надо вспомнить, что князь и княгиня Вяземские, имевшие тогда трех дочерей-невест, перестали принимать у себя Дантеса, ввиду его наглостей. Покойный граф В. Ф. Адлерберг сказывал мне, что еще в 1836 году на одном вечере он видел, как Дантес глазами помигивая кому-то на Пушкина, пальцами показывал рога. Это побудило графа (дружного с Жуковским) рассказать о том великому князю Михаилу Павловичу и предложить ему перевести наглого кавалергарда на Кавказ согласно выраженному им как-то желанию. Великий князь не решился последовать этому

совету, так как этого нельзя было сделать без соизволения шефа Кавалергардского полка, т. е. самой императрицы Александры Федоровны, которая из собственных денег пополняла жалованье Дантеса. К тому же в обществе Дантес имел постоянный успех своим молодчеством и остроумием⁷. Собираясь издавать журнал вроде Английского Четырехмесячного Обозрения, Пушкин сказал, что еще не выбрал, какое дать название журналу. «Да вы назовите его «Квартальным Надзирателем», — сказал Дантес. Пушкин сам смеялся этому.

С виду он мог казаться бодр и весел, но что происходило в душе его? Прежде всего крайняя нужда в деньгах. П. А. Плетнев рассказывал мне, что в день смерти Пушкина у него было всего 75 р. денег, а, между тем, квартира у него была на одном из лучших мест в Петербурге, поблизости от Зимнего дворца. Это старинный дом князей Волконских. За помещение в нижнем этаже, которое занимал Пушкин, платили в 1870-х годах 3 тыс. руб. в год⁸. Пушкину с четырьмя детьми простор был необходим, особенно когда у него поселились две сестры его жены. Соболевский уговаривал его не приглашать их; но в Яропольце оставаться им было невозможно с матерью, которую окружали богомолки и над которою властвовал ее кучер. Для выездов на вечера и балы необходима была карета. Пушкин негодовал на то, что мать его пользовалась каретою Е. А. Архаровой (как передавала мне дочь сей последней А. И. Васильчикова). А сколько нужно было тратиться на одежды красавицы-жены, что обещал он еще накануне своей свадьбы ее матери! Пушкин хотел пополнить расходы карточною игрою, как (по словам князя Вяземского) делал это и Карамзин некогда в Московском Английском клубе, но Карамзин играл в коммерческую, а Пушкин просиживал ночи перед банкометом. Князь А. Ф. Голицын-Прозоровский вспоминал, как Пушкин, заложивши руки в карманы панталон, ходил у стола, где происходила игра и напевал начало солдатской песни, применяя ее к себе:

Пушкин бедный человек,
Ему негде взять.
Из-за эфтова безделья
Не домой ему идти...

(до следующей книжки)

ЕЩЕ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ И КОНЧИНЕ ПУШКИНА*. ПО ПОВОДУ ПИСЕМ А. И. ТУРГЕНЕВА К А. И. НЕФЕДЬЕВОЙ

Он человек. Владеет им мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей.

Это сказано Пушкиным про императора Александра Павловича¹. То же можно отнести к нему самому, хотя не был он, как тот, «противочувствиям привычен». В конце жизни особенно сказалось в Пушкине совмещение трезвого ума с пылом страстей и необузданностью. За немного часов до роковой развязки сохранил он наружное спокойствие. Ко многим свидетельствам о том прибавим показание, переданное нам Николаем Федоровичем Лубяновским. Он жил с отцом своим в среднем этаже того дома (князя Волконского на Мойке), где внизу скончался Пушкин. Утром 27 января Лубяновский в воротах встретился с Пушкиным, бодрым и веселым: шел к углу Невского проспекта, в кондитерскую Вольфа, вероятно, не дождавшись своего утреннего чаю за поздним вставанием жены и невестки.

Проходили дни и часы, когда он как будто не предчувствовал вовсе близкой кончины, не покидал письменной работы, не изменял образа жизни. Для занятий по истории Петра Великого Пушкин рад был приезду А. И. Тургенева с бумагами XVIII века, которые тот собирал из архивов заграничных². Гениальное сердце Жуковского сумело устроить судьбу А. И. Тургенева через благодушного и благотворительного князя А. Н. Голицына (который и при Николае Павловиче оставался другом царевым и проводником негласных милостей³). Так как Тургенев доставлял исторические материалы Карамзину (кончину которого оплакивал Николай Павлович), то Жуковский придумал выхлопотать ему высочайшее поручение собирать за границею документы и бумаги, касающиеся Русской истории, и тем самым получить беспрепятственную возможность видеться с обожаемым братом Николаем, которого неповинность в событии 14 декабря была им же, Жуковским, доказана Государю, не находившему, однако, возможности гласно заявить, что Блудовское Донесение Следственной комиссии ошибочно изобразило автора «Теории налогов»⁴. В то же время, верный памяти Карамзина, Николай Павлович покровительствовал

* Продолжение к тому, что напечатано в 7-й тетради «Русского архива».

Археографической Экспедиции Строева, и, таким образом, русская археография обогащалась и домашними открытиями и показаниями иноземцев. Мог ли не ценить этого Пушкин?⁵

В то время русская история XVIII века с ее кровавыми заговорами и государственными переворотами (вину которых Людовик XVI по прочтении записки Рюльера⁶ видел в законе Петра Великого о Правде воли монаршей) была у нас мало кому известна. Покойный граф Н. А. Адлерберг говорил мне, что про кончину Павла узнал он в Париже, когда уже был женат.

В *Записках* адмирала Литке⁷ рассказано, как подбежал к нему юношею ученик его, великий князь Константин Николаевич, с французскою хронологическою картою, где при имени императора Павла значилось: assassiné (умерщвлен), и как он немедленно доложил о том Государю, который приказал раскрыть замуравленную роковую комнату Михайловского дворца, и в ней рассказал двум старшим сыновьям своим о судьбе их деда. Плетнев передавал мне, что на субботних вечерах у него Пушкин подсаживался к Арсеньеву и пытался у него, что он читал в Государственном Архиве (зная лично Арсеньева и оборонив его некогда от Магницкого. Николай Павлович разрешил ему пользоваться этим архивом для уроков наследнику престола). Пушкин же говаривал, что в наши дни поправляют дела свои откупам, карточным выигрышем, женитьбою, а в старину для этого прибегали к государственному перевороту. Понятно, как дорог был Пушкину А. И. Тургенев и по личному расположению, и по отношению к работе над историей Петра. Что Тургенев незадолго перед тем приехал в Петербург, видно по тому, что 25 января 1837 года он служил в лавре панихиду по своему отцу и двум братьям Андрее и Павле (о существовании сего последнего не было до сих пор известно). Тургенев пишет в Москву, что 26 января он видел Пушкина «на бале у графини Разумовской, накануне же провел с ним часть утра, видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости; мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся. Мы читали бумаги, кои готовил он для 5-й книжки своего журнала. Каждый вечер видел я его на балах спокойного и веселого»⁸. Другие показания свидетельствуют не то: кн. Е. Н. Мещерская (дочь Карамзина) писала в Москву, что Пушкин озабочивал ее своим лихорадочным состоянием и судорожным выражением лица в присутствии Дан-

теса⁹. О поединке Пушкина Тургенев узнал 27 января, т. е. в самый день его, на вечеринке у князя Алексея И.* Щербатова. Тургенев немедленно поехал к княгине Е. Н. Мещерской и от нее узнал, что дети Пушкина в 4 часа этого дня были у нее и Наталья Николаевна заезжала к ней взять их домой. От княгини Мещерской, жившей с матерью на Большой Морской, Тургенев уже поздною ночью поехал на Мойку, в дом князя Волконского¹⁰.

К раненому Пушкину прежде всех прибыли князь и княгиня Вяземские. Поздним вечером вскоре появился и Плетнев. Тургенев нашел у него князя Вяземского, Жуковского, доктора Шольца, а у его жены княгиню Вяземскую и Загряжскую. Пушкин пожелал оставаться только с Данзасом и продиктовал ему свои денежные долги. Вероятно, в эти же первые часы по приезде с Черной речки уничтожил он некоторые свои рукописи¹¹. Когда Шольц спросил, не желает ли он повидать своих друзей, он сказал, обращаясь к полкам с книгами: Прощайте, друзья!** На другой день Тургенев успел побывать у Даршиака***, который дал ему прочесть ноябрьское письмо Пушкина к Дантесу с признанием его благородства и с отказом драться. По словам графа Соллогуба («Р. Архив», 1865), письмо это было написано 21 ноября, след., почти за два месяца до рокового дня. Младший брат А. О. Смирновой (тогда жившей в чужих краях), Аркадий Осипович Россет рассказывал мне, что когда он сидел у Пушкиных за обеденным столом, Пушкину подали письмо от Дантеса, в котором он просил руки его старшей свояченицы. Прочитав письмо, Пушкин через стол передал его Екатерине Николаевне. Та вспыхнула и убежала к себе в комнату¹². Свадьба состоялась только после 6-го января (свадеб не бывает с 14 ноября по 7 января). Кто озаботился приданым? После этого, вероятно, дом Пушкина еще чаще прежнего посещался портнихами и торговцами, что, конечно, раздражало Пушкина при его занятиях. Не могли

* Это может быть описка: надо Алексея Г (Григорьевича). Дальше буквой С означен, вероятно, Александр Яковлевич Скарятин.

** Пушкин умирал у себя в кабинете на диване. Что делает Академия наук с его друзьями-книгами, нам неизвестно. (Библиотека Пушкина ныне находится в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР в Ленинграде.— *Сост.*.)

*** Виконт Даршиак, служивший во Французском посольстве, секундант Дантеса, пользовался уважением в петербургском обществе. Посол граф Барант после поединка поспешил послать его в Париж. Граф Соллогуб пишет, что он вскоре погиб насильственной смертью на охоте (подробности неизвестны)

же Александра и Наталья Николаевны не бывать у ново-брачной сестры своей, которая сделалась хозяйкою в доме у голландского посла на Невском проспекте*. Вся эта история до сих пор не ясна. В особенности досадны недомолвки в воспоминаниях графа Соллогуба, которого Пушкин звал в секунданты для своего поединка по первому его вызову и который в январе 1837 года уехал из Петербурга в Витебск. Биограф сличит его рассказ с известным письмом Жуковского и с этими письмами Тургенева, которые имеют большую ценность, так как Жуковский писал почти через две недели после события, а Тургенев набрасывал прямо на бумагу под впечатлением ежедневности¹³ и ежеминутности. Тут, конечно, принимала участие графиня Юлия Петровна Строганова, супруг которой гр. Григорий Александрович, по матери своей (Загряжской) двоюродный брат тещи Пушкина, Натальи Ивановны. Эта графиня была португалка родом и сошлась с графом Строгановым, когда тот был посланником в Испании и пользовался такою известностью своими успехами в полях Цитерейских, что у Байрона в «Дон-Жуане» мать хвастает перед сыном своею добродетелью и говорит, что ее не соблазнил даже и граф Строганов. Графиня в эти дни часто бывала в доме умирающего Пушкина и однажды раздражила княгиню Вяземскую своими опасениями относительно молодых людей и студентов, беспрестанно приходивших наведываться о раненом поэте (сын Вяземского, 17-летний князь Павел Петрович все время, пока Пушкин умирал, оставался в соседней комнате). Граф Строганов взял на себя хлопоты похорон и уломал престарелого митрополита Серафима, воспрещавшего церковные похороны якобы самоубийцы. А Пушкин (по свидетельству Жуковского в его большом письме в Москву к Сергею Львовичу) еще до получения письма Государева, выразил согласие исповедаться и причаститься на другой день утром, а когда получил письмо, то попросил тотчас же послать за священником, который потом отзывался, что себе желал бы такого душевного перед смертью настроения. На упрямого старца мог действовать и Филарет по настоянию своей поклонницы Елисаветы Михайловны Хитровой, про которую Тургенев пишет, что

* Эта старшая сестра скончалась во Франции (до 1844 г.), оставив сына и двух дочерей, из которых одна умерла в умопомешательстве, а другая вышла за Вандаля (брат его — известный историк).

утром 29-го января она вошла в кабинет, где умирал Пушкин, и стала на колени.

Прижитая в чужих краях дочь Строганова Идалия Григорьевна, супруга кавалергардского полковника Полетики, считавшаяся приятельницей Н. Н. Пушкиной, также, конечно, приезжала к ней в эти дни. Эта женщина, овдовев и выдав дочь свою за какого-то иностранца, жила до глубокой старости в Одессе, в доме брата своего графа Александра Григорьевича. В то же самое время, как рядом с их домом на Приморском бульваре княгиня Воронцова восхищалась стихами Пушкина и ежедневно их перечитывала, Идалия Григорьевна не скрывала своей ненависти к памяти Пушкина. Покойная Елена Петровна Милашевич (рожд. графиня Строганова, дочь великой княгини Марии Николаевны) по возвращении из Одессы, куда она ездила навестить престарелого деда, с негодованием рассказывала про эту его сестру, что она собиралась подъехать к памятнику Пушкина, чтобы плюнуть на него. Дантес был частым посетителем Полетики и у нее виделся с Натальей Николаевной, которая однажды приехала оттуда к княгине Вяземской вся в слезах и с негодованием рассказала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса¹⁴. Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излияниям невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с нею в карете, чем-то оскорбил ее*.

Труд ухода за Пушкиным в его предсмертных страданиях разделяла с княгиней Вяземской другая княгиня, совсем на нее непохожая, некогда московская подруга Натальи Николаевны, Екатерина Алексеевна, рожденная Малиновская, супруга лейб-гусара князя Ростислава Алексеевича Долгорукого, женщина необыкновенного ума и многосторонней образованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым (художественный кругозор которого считала она шире и выше Пушкинского). Стоя на коленях у дивана, она кормила морошкой томимого внутренним жаром страдальца¹⁵. Она слышала, как Пушкин, уже перед самою кончиною, говорил жене: «Porte mon deuit pendant deux au trois années. Tache qu'on t'oublie. Puis remarie-toi, mais pas avec un cheparan**». Она свято исполнила эти заветы: вскоре после похорон уехала к брату в Полот-

* Со слов княгини В. Ф. Вяземской.

** Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона.

няные заводы, прожила два лета в тесноте деревенского Михайловского дома, поселилась в Петербурге для обучения детей и на осьмом году вдовства вышла за человека хорошего¹⁶. Тесная дружба, соединяющая детей ее от обоих браков, и общее благоговение этих детей к ее памяти служат лучшим опровержением клевет, до сих пор на нее взводимых, и доказательством, что несправедливо иные звали ее «*âme de dentelles*» (кружевная душа), тогда как она была красавица не только лицом, а всем существом своим, рядилась же по приказанию мужа, который гордился красотой ее и радовался тому, что его невзрачностью оттенялся «чистейшей прелести чистейший образец», точно так же, как рядом с Вирсавией помещают Арапа. Пушкин до конца любил и берег ее как свое сокровище¹⁷.

В первом письме 28 января Тургенев пишет: «Геккерн ранен в руку, которую держал у пояса; это спасло его от подобной раны, какая у Пушкина. Пуля пробила ему руку, но не тронула кости, и рана не опасна. Отец его прислал заранее для него карету. Он и Пушкин приехали каждый в санях, и секундانت Геккерна не мог отыскать ни одного хирурга. Геккерн уступил свою карету Пушкину. Надлежало разрывать снег и ломать забор, чтобы подвести ее туда, где лежал Пушкин, не чувствуя, впрочем, опасности и сильной боли от раны и полагая сначала, что он ранен в ляжку. Дорогой в карете шутил с Данзасом. Его привезли домой. Жена и сестра жены Александрина были уже в беспокойстве, но только одна Александрина знала о письме к отцу-Геккерну». Показание замечательное. Умиравший Пушкин отдал княгине Вяземской нательный крест с цепочкой для передачи Александре Николаевне. Александра Николаевна была как бы хозяйкою в доме; она смотрела за детьми (старшей дочери было 5 лет, сыну старшему 4, младшему 2, а графине Меренберг еще 9 месяцев). В доме сестры своей Александра Николаевна оставалась до своего позднего брака с бароном Фризенгофом, от которого имела дочь-красавицу, вышедшую за принца Оттокара Ольденбургского¹⁸. Барон Фризенгоф, венгерский помещик и чиновник Австрийского посольства, первым браком женат был на Наталье Ивановне Соколовой, незаконной дочери того же И. А. Загряжского († 1807) от какой-то простолюдинки*. Эта вторая Наталья

* Эта невольная мачеха двух Наталей Ивановен, Александра Степановна была родом Алексеева, а не графиня Строганова, как утверждает А. П. Арапова в воспоминаниях о своей матери.

Ивановна была воспитана своею бездетною сестрою, графиней Де-Местр.

28 января благодетельно неугомонный Тургенев встретился с голландским посланником, который расспрашивал об умирающем с сильным участием и рассказал содержание и выражения письма Пушкина. «Невыносимо, но что было делать!» Конечно, тут он услышал от него такую подробность. Пушкин на минуту думал, что повалившийся Геккерн убит, и сказал: *Tiens! Je croyais que sa mort me ferait plaisir; à présent je erois presque que cela me fait de la peine!**

Как не вспомнить тут поединок Онегина с Ленским!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «В. БРЮСОВ. ЗНАЛ ЛИ ПУШКИН ПО-ИТАЛЬЯНСКИ?»

В дополнение укажем на гениальную даровитость Пушкина. П. В. Нащокин нам говаривал неоднократно, что если бы судьба повела Пушкина на поприще военное, он был бы знаменитым полководцем. К Пушкину отнести можно выражение М. П. Погодина о Хомякове: голова у него точно фонарь освещала всякий предмет, стоило ей приблизиться к нему. С. А. Соболевский рассказывал, что однажды Пушкин зашел к молодому классику С. С. Мальцову и застал его над Петронием. Мальцов затруднялся понять какое-то место. Пушкин прочел и тотчас же объяснил ему его недоразумение. Пушкину было не трудно усвоить себе до некоторой степени и язык итальянский не только для разговора, но и грамматически, и благозвучием его не мог он не восхищаться.

РУКОПИСИ ПУШКИНА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ «МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ» («ГОЛОС МОСКВЫ» № 108 И «РУССКИЙ АРХИВ» СЕГО ГОДА, СТР. 476)

Владелец рукописей, старший сын Пушкина Александр Александрович, зимою 1880 года вознамерился пожертвовать эти рукописи Румянцевскому Музею и согласился на просьбу С. А. Юрьева (который в то время был пред-

* Вот, я думал, что буду рад его смерти, а теперь мне кажется, что это мне почти что неприятно.

седателем Общества Любителей Русской словесности при Московском Университете) предварительно позволить ими воспользоваться для предстоявшей выставки во дни торжеств по поводу открытия памятника Пушкину. Общество поручило мне принять эти рукописи, для чего и ездил я в апреле 1880 года в Козлов, где тогда стоял Нарвский гусарский полк, коего командиром был Александр Александрович. Вместе с рукописями получил я и привез в Москву позволение напечатать в «Русском Архиве» то из рукописей, что еще не было обнародовано. Когда я начал это печатание, ко мне явился книготорговец Анский, наследник Салаева, который перекупил у петербургского книгопродавца Исакова право на издание сочинений Пушкина. Анский предъявил купчую крепость, коею предоставлено Исакову печатать и все дотоле неизданные произведения Пушкина. Таким образом мне пришлось входить в денежную сделку, и по скудости средств «Русского Архива» я должен был печатать только самое ценное. Оказалась неизданная целая глава «Капитанской дочки»¹ и, разумеется, многие издания ее перепечатали. Один только М. Н. Катков, узнав о моих уплатах, предложил мне за перепечатку в «Русском Вестнике» принять участие в платеже.

Торжеством в Обществе Любителей Русской словесности заведывал Л. И. Поливанов. Ему передано было мною большое количество рукописей Пушкина, и они были выставлены в ящиках под стеклом в одной из зал Московского Дворянского собрания. Но когда я должен был сдавать по описи все привезенное мною хранителю рукописей Румянцевского Музея А. Е. Викторову, оказалось, что Л. И. Поливанов не возвратил довольно много листов. Они, вероятно, находятся теперь у его наследников.

Несмотря на частые переезды Пушкин относился бережно к своим рукописям, но ему самому приходилось уничтожать их, и после 14 декабря, и вслед за смертным поединком. Г-н Ю. М. сообщает, что только вторая книга Дневника уцелела, благодаря тому, что находилась в спальне Натальи Николаевны, а за предыдущие годы взята была в III-е Отделение Государевой канцелярии². Едва ли это верно. Но тогдашний чиновник этой канцелярии Павел Иванович Миллер (памятный многим в Москве) мне показывал непосланное к Бенкендорфу подлинное письмо Пушкина, которое он взял себе на память в квартире Пушкина³.

Опекою над детьми Пушкина и достоянием их заведы-

вал двоюродный брат их бабушки гр. Г. А. Строганов, об одном из свойств которого помянул Байрон в «Дон Жуане». Ему ли было заботиться о рукописях Пушкина? Он поручил дело Тарасенкову-Отрешкову, который мог не отказывать просившим у него пушкинских автографов на память. Затем довольно много пушкинских рукописей очутилось в Париже у Онегина.

Ныне вполне оправдывается предсказание петербургской гадалщицы на кофе: *Du wirst der Abgoth deiner Nation werden* (ты будешь кумиром своего народа). Но ведь кумирслужение претило самому Пушкину, другу и проповеднику свободы духа.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ «РУССКОГО АРХИВА»

На бале у Ла-Ферроне все и даже сам Государь были в мундире и в ленте, один Пушкин был во фраке. Он проходил мимо Государя. Государь остановил и спросил его: кто ты такой? «Я Пушкин». — Я не знаю, кто ты такой? — «Я дворянин Пушкин». — Вздор! Если бы ты был дворянином, ты бы явился в дворянском мундире, ты видишь, все в мундирах, ты один во фраке.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ «РУССКОГО АРХИВА». 12 АПРЕЛЯ 1889 ГОДА

Три брата графа Строганова дожили до глубокой старости <...>. Отец их, скончавшийся тоже в глубокой старости, знаменитый дипломат и опекун детей А. С. Пушкина, получил европейскую известность и в полях Цитерейских: вдову, мать Дон Жуана, похваляющуюся перед сыном добродетелью, Байрон заставляет сказать, что и графу Строганову не удалось соблазнить ее.

Одним из плодов любви его была Идалия Григорьевна Полетика (говорят, от гречанки). Она жила с ним* в Одессе, в доме его на Приморском бульваре, и однажды, когда я спускался от него к выходной двери, слуга спросил меня на лестнице: — Разве к сестре не зайдете? — Я только видел ее, но не знал: ей было достаточно, что я печатал о Пушкине, чтобы не желать моего знакомства. Она ненавидела Пушкина. Нрава она резкого, или что

* С братом Александром Григорьевичем Строгановым.

французы называют *асагиâtre**. Муж ее некогда служил в кавалергардах. Это был наглец. Во время Польского похода 1831 года он живился на счет графа Д. Н. Шереметева и даже завладевал его вещами и самою походною палаткою. Приятелем ему был кавалергард, убийца Пушкина, Дантес. Пушкин же часто бывал в обществе кавалергард, и Т. В. Шлыкова, вспоминая Пушкина, говорила, что в театре встречала она его постоянно с кавалергардами. Покойная княгиня В. Ф. Вяземская обвиняла Идалию Григорьевну Полетику в том, что она сводила Дантеса с Натальей Николаевной, которая с ужасом рассказывала княгине Вяземской, что однажды она нарочно оставила ее у себя вдвоем с Дантесом и что ее спасла вбежавшая в комнату девочка, дочь Полетики.

Смешно и для госпожи Полетики позорно, что ныне, в глубокой старости, она не стыдится клясть Пушкина. Она говорит, что ее оскорбляет воздвигаемая в Одессе статуя Пушкина, что она намерена поехать и плюнуть на него, что это был изверг и т. д. Елена Григорьевна Шереметева, недавно навестившая в Одессе престарелого деда своего графа А. Г. Строганова, любя и хорошо зная поэзию Пушкина, была изумлена этими отзовами. Полетика заявляет большую нежность к памяти Натальи Николаевны. Она рассказывает, что однажды они ехали в карете и напротив сидел Пушкин. Он позволил себе взять ее за ногу, Наталья Николаевна пришла в ужас, а потом, по ее настоянию, Пушкин просил прощения у нее. Есть повод думать, что Пушкин, зная свойства г-жи Полетики, оскорблял ее и что она из чувства мести была сочинительницею анонимных писем, из-за которых произошел роковой поединок¹.

Граф А. Г. Строганов, вторя сестре (которая отчасти им командует), отзывается о Пушкине полупрезрительно, как о каком-то рифмоплете. Он говорит, что после поединка он ездил в дом раненого Пушкина, но увидел там такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда. Этот отец был двоюродным братом теще Пушкина, Наталье Ивановне, которая, вопреки своему внебрачному происхождению, была фрейлиною высочайшего двора. Вдова его дяди Наталья Кирилловна Загряжская не так относилась к Пушкину.

* сварливый, упрямый (фр.).

ДОПОЛНЕНИЯ, ПОПРАВКИ, ЗАМЕТКИ

В наши серые многозаботливые дни, когда прекрасный русский язык так обильно засоряется словами иностранного, когда светлая муза поэзии становится не только кривлякою, но иногда и непотребницею, любители и ценители высокого словесного искусства должны довольствоваться произведениями прошлой жизни и потому обращаются к изучению великих наших писателей, стяжавших русскому имени славу и в других государствах. В этом столь достопочтенном направлении русской науки особенно посчастливилось Пушкину. Мы говорим об издании «Пушкин и его современники», которое от времени до времени выходит при Императорской Академии наук, чему, как мы уверены, способствует то, что президентом Академии Августейший собрат Пушкина в области поэзии¹.

Из ценных исследований отмечаем в 14-м выпуске этого издания разыскания П. Е. Щеголева относительно биографии и текста Пушкина. Нам вспомнилось, что князь П. А. Вяземский журил нас, что мы в каждом произведении Пушкина ищем черт автобиографических, тогда как многое писал Пушкин вовсе забывая о себе лично. Этот упрек не относится к труду Щеголева. Его тщательные, мелочные исследования черновых рукописей поэта, которые сняты даже фотографически, привели, между прочим, к двум положительным, не подлежащим сомнению, выводам: Пушкин лишь в одном послании воспел княгиню Марью Аркадьевну Голицыну² и влюблен был (не мимоходом, а глубоко и искренне) в княгиню Марию Николаевну Волконскую, рожденную Раевскую, супругу декабриста.

Таким образом имя Пушкина связывается с именами Ломоносова и Суворова.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА», ИЗД. ИМПЕР. АКАДЕМИИ НАУК. ПЕРЕПИСКА ПОД РЕД. И С ПРИМЕЧ. В. И. САИТОВА». Т. 3. (1833—1837). Спб., 1911, 473 с.

Радуемся продолжающемуся успешному изучению Пушкина, которое в наши дни имеет значение бодрящее и отрезвляющее. Сделаны новые открытия в Париже в бумагах Н. И. Тургенева, которые переданы в нашу Академию наук его сыном Петром Николаевичем. Акаде-

мическое издание «Пушкин и его современники» с каждым выпуском становится содержательнее и важнее. Но в особенности следует приветствовать оконченный ныне труд В. И. Саитова, который в умении своем издавать исторические памятники нашей словесности превосходит даже покойного А. Ф. Бычкова. В этих трех томах переписки Пушкина наш поэт, наша отрада, святая искра, выбитая из груди России нашествием Европы, выразился вполне точно, как будто перед нами его рабочий стол и мы можем следить за его письменными занятиями. И в переписке своей, как в своих художественных произведениях, он необыкновенно привлекателен: такая быстрота ответов, такое тонкое умение приноровиться к характеру писавшего и сказать ему что-либо любезное и ободрительное.

Трудно оторваться от чтения писем его к супруге, Биограф сличит его показания с сохранившимися его Записками 1833—1835 г. Ответные письма если и появятся в свет, то лишь в очень далеком будущем; супруга, конечно, писала ему помногу, когда он уезжал в Москву, Болдино, Волжский край для собирания сведений о Пугачеве¹. Он сам, как видно, сознавал всю ценность своих супружеских поверений и в одном письме требует от Натальи Николаевны, чтобы она никому не давала списывать его письма. Она же очень ими дорожила и передала их младшей своей дочери на случай, когда ее дела потребуют особых трат. Этим самым она и уполномочила Наталью Александровну выручить за них денежную плату, и через посредство И. С. Тургенева она получила от «Вестника Европы» тысячу рублей².

Из переписки с друзьями очень драгоценны полуграмотные письма Нащокина. Это был, можно сказать, единственный человек, которому Пушкин вполне доверял. И к нему могут относиться стихи:

Кто клеветы про нас не сеет,
Кто нас заботливо лелеет,
Кому порок наш не беда,
Кто не изменит никогда.

Что Нащокин был человек души необыкновенной, свидетельствует то, что вдова его, которая пережила его на несколько десятков лет, не встречала у друзей и ценителей своего мужа отказа в помощи до самой своей кончины. Писем сестры не имеется, а письма ее супруга Павлищева крайне непривлекательны: он, хотя и сам писатель, видел

в Пушкине только доставителя ему денег и, живучи в Варшаве, приставал к нему до самой его кончины, так что последнее письмо Павлищева пришло, когда уже Пушкина не было на свете. Брат Лев писал тоже лишь о денежных делах своих. От матери не сохранилось ни одного письма, а от отца лишь одно: они оба предпочитали Александру Сергеевичу его брата. Как известно, с отцом бывали у Пушкина самые резкие столкновения еще до высылки поэта из Петербурга, о чем имеется рассказ И. В. Киреевского.

Нельзя не удивиться, что, вопреки пылкому своему нраву и всякого рода вспышкам, Пушкин умел быть отменно точен в занятиях словесностью и Русскою историей. Даже и по изданию в свет истории Пугачевского бунта он пополняет свои сведения о самозванце, и ему доставляются о нем новые показания. Лажечников, оцененный им, пишет ему целое письмо о Тредьяковском и Бироне³. Любопытно, что в этом томе так мало писем Плетнева; может быть, скромный любитель Муз не желал подвергать себя, как некогда, надзору и внушениям высшей власти за сношения с Пушкиным⁴.

Весною 1880 года, перед тем как открываться в Москве Пушкинскому памятнику, старший сын поэта и владелец его бумаг, в то время генерал-майор и доблестный командир Нарвского гусарского полка Александр Александрович Пушкин, будучи в Москве, выразил благое намерение принести рукописи отца в дар Румянцевскому музею с тем, чтобы общество любителей Российской словесности при Императорском Московском университете предварительно дало их на предстоявшую Пушкинскую выставку. Общество поручило мне (одному из старейших своих членов) принять этот драгоценный дар. В начале мая съездил я в Козлов, где тогда стоял Нарвский гусарский полк, и принял рукописи, причем получил позволение напечатать в «Русском Архиве» то, что найдется нового, и таким образом мне посчастливилось впервые огласить целую главу **Капитанской дочки** и несколько новых стихов и отрывков. Вместе с рукописями привез я в Москву и позднее передал Румянцевскому музею несколько писем разных лиц к Александру Сергеевичу. Но это лишь малая часть того, что ныне напечатано В. И. Саитовым. Мы уверены, что найдутся еще многие письма; так, например, Третье Отделение Собственной Его Величества Канцелярии задержало письма к Пушкину князя П. А. Вяземского, от которого я слышал, что это сделано

было для того, чтобы поискать следов сношений князя с декабристами. Разумеется, ничего не было найдено, и только в 1838 году, когда появилась за границей французская статья князя о пожаре Зимнего дворца, Государь стал к нему благоволять.

Смерть застала Пушкина в самый разгар его журнальной деятельности. В четвертой книжке «Современника» поместил он свою **Капитанскую дочку**, которая была обрешена цензурою. И все четыре книжки таковы, что стоило бы их почти целиком перепечатать. Пушкин широко раскидывал сеть своих издательских сношений; ад в душе по поводу длившихся с самого начала ноября 1836 года отношений к барону Геккерну и к Дантесу не помешал ему заботливо и трудолюбиво относиться к делу, от которого ожидал он большой прибыли. Но есть известие (в одном из отчетов Императорской Публичной библиотеки), что у пушкинского «Современника» не было и 200 подписчиков. Эта неудача грозила подкосить его. П. А. Плетнев сказывал мне, что в день кончины Пушкина в доме у него было всего 75 рублей, между тем как кроме четырех детей жила у него свояченица и расходы чрезмерно умножались. Квартира находилась в лучшей, дорогой части города, а без кареты и многотрудной прислуги обойтись было невозможно.

Желательно, чтобы появились скорее примечания В. И. Саитова к этим драгоценным томам Пушкинской переписки.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ИЗДАТЕЛЯ «РУССКОГО АРХИВА»

По кончине фельдмаршала Воронцова († 1856, 6-го ноября) его вдова, подобно многим другим вдовам, принялась разбирать его переписку, долго этим занималась и производила уничтожения. Тут же она разбирала и собственные свои бумаги. Попалась небольшая связка с письмами Пушкина, и княгиня их истребила; но домоправитель ее (впоследствии и секретарь) Григорий Иванович Тумачевский, помогавший ей в разборе бумаг, помнит в одном Пушкинском письме выражение: *Que fait votre lordand de mari?** (Что делает ваш неуклюжий супруг?) В глубокой старости княгиня Елисавета Ксаверьевна восхи-

щалась сочинениями Пушкина: ей прочитывали их почти каждый день, и такое чтение продолжалось целые годы. Это сказывала мне и жившая при ней до самой ее кончины (в Одессе в 1880 г.) Ельвина Ланге¹.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ «РУССКОГО АРХИВА»

Дом, где умер Пушкин, ныне, как в 1837 году, принадлежит князю Волконскому. Он находится на узком берегу Мойки, близ Певческого моста. Квартира Пушкина внизу, довольно богатая. Ход из-под ворот дома налево. Сначала небольшая лестница в несколько ступенек, ведущая направо от входа и заворачивающая налево (лестница продолжается на второй этаж). Ныне (август 1874 г.) тут жил граф Клейнмихель, женатый на внучке Карамзина, княжне Мещерской. Они платят 3 т. р. Из небольшой передней налево ход в кабинет, где страдал и умер поэт. Это большая комната в 5 окон, обращенных к Мойке, с узкими между окнами простенками, с камином в левом углу. Из нее еще одна дверь в гостиную с выступом на Мойку о 3 окна, а из гостиной две двери: одна прямо против кабинетной двери, в спальную, а другая против окон в столовую, из которой налево опять дверь в переднюю, обращенную окном на двор и имеющую, таким образом, 3 двери: 1) входную с лестницы, 2) против нее в столовую и 3) налево, против окна, в кабинет Пушкина. По узости простенков между окнами Пушкин должен был поместить свои шкапы вдоль кратчайших стен своего параллелограмма. Один шкаф или полки стояли у двери, и за ними на диване умер поэт¹.

Дом князя Юрия Владимировича Долгорукова в Москве посещали две сестры Ушаковы, старшая Елисавета и младшая Екатерина. Последняя была в полном смысле красавица: блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста среднего, густая коса нависла до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературою. Много было у нее женихов, но по молодости лет она не спешила замуж. Старшая, Елисавета, вышла за С. Д. Киселева.

Является в Москву А. С. Пушкин, видит Екатерину Николаевну Ушакову в Благородном собрании, влюбляется и знакомится. Завязывается тесная сердечная дружба и, наконец, после продолжительной переписки Екатерина

* Точнее: «Что делает ваш солдафон супруг?» (фр.)

Ушакова соглашается выйти за него замуж. В это время в Москве жила известная гадалщица, у которой некогда был или бывал даже Государь Александр Павлович. Пушкин не раз высказывал желание побывать у этой гадалщицы, но Е. Н. Ушакова постоянно отговаривала его. Однажды Пушкин пришел к Ушаковым и в разговоре сообщил, что он был у гадалщицы, которая предсказала ему, что он «умрет от своей жены». Хотя это сказано было как бы в шутку, как нелепое вранье гадалщицы, однако Е. Н. Ушакова взглянула на это предсказание заботливо и объявила Пушкину, что так как он не послушался ее и был у гадалщицы, то она сомневается в силе его любви к ней, а с другой стороны, предвещание хотя бы и несбыточное, все-таки заставило бы ее постоянно думать и опасаться за себя и за жизнь человека, которого она безгранично полюбит, если сделает его женою; поэтому она и решается отказать ему для него же самого. Дело разошлось. Пушкин впоследствии женился, она же оставалась в девицах. По смерти Пушкина она вышла замуж за вдовца Дмитрия Николаевича Наумова и имела дочь, которая выдана была за Дмитрия Николаевича Обрезкова. Дочь этой Обрезковой была за князем Голицыным, недавно умершим. Когда бывшая Екатерина Николаевна Ушакова умирала, приказала дочери подать шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. Несмотря на просьбы дочери, она никак не желала оставить их, говоря: «мы любили друг друга горячо, это было наша сердечная тайна; пусть она и умрет с нами»².

Воспоминания
современников
о Пушкине,
записанные
П.И. Бартевым

